



ISSN 1993-9477

XXI ВЕК **ВОЛГА** 3-4 2020
Литературно-художественный журнал

РАБОТЫ ХУДОЖНИКА ВАДИМА РУФАНОВА



Гостиница «Московская»



Саратовский художественный музей имени А.Н. Радищева



XXI ВЕК

ВОЛГА

3-4 2020

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амосин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей

3-4 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД

Николай АЛЕШКОВ. **Пречистый снег** 3

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Алексей КОВАЛЕВСКИЙ. **Своя правда** 9

СТАТЬИ

Галина ПОЛИТОВА. **«Это большое поручение...»**. 39

ЮБИЛЕЙ

Виктор ПОЛИТОВ. **Есть маленький хутор у Дона**... 42

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Виктор САЗЫКИН. **Крутоверть беспробудная** 45

СТАТЬИ

Вячеслав ЛЮТЫЙ. **Предназначение** 110

ПОЭТОГРАД

Рита ОДИНОКОВА. **В безмятежности апреля**. 114

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Нина ТУРИЦЫНА. **Смерть в крепости** 118

ПОЭТОГРАД

Игорь ПРЕСНЯКОВ. **Сад счастья**. 130

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТУДИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексей НИКИТИН. **Две медведицы** 136

В МИРЕ ИСКУССТВА

Путешествие по старому Саратову
(Интервью с художником Вадимом Руфановым). 140

ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС

Борис ФЕДОТОВ. **Равен жизни каждый день**... 145

СТАТЬИ

Анастасия МАЛЕВА. **О коми поэзии**. 150

ПЕРЕВОД

Альберт ВАНЕЕВ. **Лебединая дудка** 153

Елена АФАНАСЬЕВА. **Колодец святого слова** 158

Любовь АНУФРИЕВА. **Солнечная косынка**. 161

РЕЦЕНЗИИ

Мария ЗНОБИЩЕВА. **«Русской литературе — быть»** 166

Елизавета МАРТЫНОВА. **Время альманахов**. 167

ВОЛЖСКИЙ АРХИВ

Владимир РОССОШАНСКИЙ. **Учащиеся техникума** 170

Памяти Ольги Николаевны Гладышевой 190



**Николай
АЛЕШКОВ**

ПРЕЧИСТЫЙ СНЕГ

Дождь летящий, шелестящий,
тёплый, летний, настоящий,
как я буду без тебя
там, за пазухой у Бога?
Всех ведёт к нему дорога,
об утратах не скорбя.

Лес, река, родные дети...
Всё привык на этом свете
близко к сердцу принимать!
Царство Божие приемлю,
но люблю родную землю,
как свою родную мать...

Лето обернулось, уходя,
и теплом, и солнцем одарило.
Ты ещё вчера мне говорила,
чтоб укрыл от снега и дождя.

А сегодня... Знаю, что старик,
вот и брови сделались седыми...
Ты опять гуляешь с молодыми.
В небе – журавлей прощальный крик.

-
- Николай Петрович Алешков родился в 1945 году в селе Орловка Челнинского района Татарской АССР. Основная трудовая деятельность связана с журналистикой и литературной работой. В 1982 году окончил заочное отделение Литературного института имени А.М. Горького. В 1984 году принят в Союз писателей СССР. В настоящее время – главный редактор литературного журнала «Аргатак. Татарстан». Автор двенадцати книг стихов и одной книги публицистики, изданных в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Набережных Челнах. Лауреат республиканской литературной премии имени Г.Р. Державина (Казань, 2005) за книгу избранных стихотворений и поэм «Сын Петра и Мариши», Всероссийской литературной премии «Ладога» им. Александра Прокофьева (Санкт-Петербург, 2009) за книгу стихотворений «Свет небесный», Международной литературной премии им. Марины Цветаевой (Елабуга, 2016) и многих других. Заслуженный деятель искусств республики Татарстан, почётный гражданин города Набережные Челны. Член Союза российских писателей. Живёт в Набережных Челнах.

А белый, белый снег до боли очи ест...

Осип Мандельштам

Светлеет лик жены. Лучистых глаз истома
взволнует вдруг меня, как в памятном году...
А тихий белый снег летит на крышу дома,
на розы у крыльца, на яблони в саду.
И всё, что есть вокруг, взлелеяно руками,
которые – прости – мне грех не целовать.
А речка за окном – как дочка к маме Каме
бежит, не торопясь так рано зимовать.
Какой пречистый снег! Не будем ждать ненастья.
Калитку отворив, детей и внуков ждём.
Приехали уже! Смеются Лена с Настей,
их голосам в ответ поскрипывает дом.
Ах, дети – Божий дар и Божье наказание –
кто ангел, тот и плут, как всяк в своей поре!
И младший сын Сергей уж едет из Казани,
а старший сын Сергей хлопочет во дворе.
Рябинка у ворот от ветра не согнётся,
за домом у реки родник студёный жив.
А завтра внук Артур из армии вернётся
с медалями, небось, по чести отслужив...
Достаток в доме есть – чужого нам не надо.
А если что не так – Господь не приведи!
Оладушки готовы! Ты счастлива и рада.
На каждого из нас с улыбкой погляди!
Ты молишься за всех коленопреклоненно:
– Господь, спаси семью в наш ненадёжный век!
Жена, бабуля, мать – одна во всей вселенной,
твоя душа чиста, как этот тихий снег...
Ты только погляди: вот он летит над нами,
над памятью о тех, кого нельзя забыть
на Волге, на Оке, на Вятке и на Каме...
Усядемся за стол – ну как нас не любить?!

АВГУСТ. ЭТЮД

Яблоки – летние зяблики.
Сон превратится в сказку.
Лошади любят яблоки.
Женщины любят ласку.

Как же они грациозны
на заповедном лугу:
яблоки, лошади, сосны,
женщины, сено в стогу...

Диане Кан

Течёт река Волга
под россыпью Млечной.
Я буду жить долго,
я буду жить вечно.
А Волга впадает
в Каспийское море,
вдали пропадая
и Млечному вторя.
И катится в вечность
подобием Волги
вся звёздная млечность.
А я... в самоволке.
Сижу, будто выпил
вселенского зноя –
из вечности выпал
на время земное...

*Пора, мой друг, пора...***Александр Пушкин**

Что жизнь? Базар, вокзал,
а к старости – потери...
Я всё уже сказал –
в стихах, по крайней мере.
Я всё уже сказал.
И Кама, словно Лета,
мелеет на глазах
на грани тьмы и света.
И стелется к ногам
закатная дорожка,
к нездешним берегам
зовёт не понарошку...
Пора, мой друг, пора
потворствовать уходу!
Вот только доктора
не подпускают к броду.
А за спиною сын
с вишнёвыми глазами...
– Да, я шагну босым
к твоей, Серёжа, маме.
Там ждут меня родня
и самый дальний предок.
Ты в баньке, сын, меня
попарь-ка напоследок!

О ПУШКИНЕ

Сколько написано разных поэм!
Пушкин как тема даётся не всем.
Пушкин не тема! Нельзя объяснить
с ним неразрывную к истине нить.
Только потворствовать, только внимать,
в силу души и ума понимать...

ПО ДОРОГЕ В БОЛДИНО

Снег в июне. Небо в тучах.
Провисают провода.
То ли нас природа учит,
то ли близится беда.
Не она ль бежит по следу?
Будто впрямь – отмщенья зуд!
За ответом еду, еду –
рельсы к Пушкину везут...
Александр Сергеич, кто ты?
Сын гармонии? О, да!
Господа, откройте шпроты!
Верьте Блоку, господа!
Кто сказал: все песни спеты
и на сердце злая грусть?..
Водку пьют в купе поэты
и читают наизусть:
«Иль чума меня подцепит,
иль мороз окостенит,
иль мне в лоб шлагбаум влепит
непроворный инвалид?»
Этой жалобой дорожной
дуэлянт в десятку бил.
Ах, как простенько о сложном
Пушкин с миром говорил!
И про то, что век ужасный
и ужасные сердца...

Но предчувствия напрасны –
у дуэли нет конца.
Все цари навек уснули.
В будке дрыхнет инвалид.
А дантесовская пуля
всё летит, летит, летит...

ПАСХАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Бабушка с молитвы возвратилась,
внученьке гостинцы принесла:

– Бог подал!

Потом перекрестилась.

Собралась семья вокруг стола.

– Почему пасхальное яичко
всех других вкуснее в десять раз?..

А в стекло оконное синичка
тенькает. С иконы смотрит Спас.

– Я молилась, а душа-то пела,
слыша в благодати: «Аз воздам!»

– Бабушка у нас помолодела.

Дед, и ты ходил бы с нею в храм!

День апрельский праздничен и светел.

Праздничен и светел к Пасхе дом...

И, подумав, внучке дед ответил:

– Мы с тобою вместе в храм пойдём!

ОСЕННИЕ СТИХИ

Александр Нестругину

Спасибо, сторонка родная,
с тобой всё на свете стерплю!

А что за пределом – не знаю,

но землю, где вырос, люблю.

Люблю это мокрое поле

и эту туманную взвесь.

Была бы на то моя воля –

и душу оставил бы здесь...

Под мелким дождём морозящим

в лесочке за тёмной рекой

сыграть бы нечаянно в «ящик»

с оборванной этой строкой...

И вспомнить про счастье такое –

в миру оказаться никем,

чтоб вместе с текущей рекою

уйти в небеса насовсем!

А чем не финал для поэта?

И пусть зарастёт колея!

Найдут ли, отыщут ли – это

забота уже не моя.

Зато меж берёзок осенних –

откуда? из ангельских снов? –

мелькнут ненароком Есенин

и с грустной улыбкой Рубцов.
Под тихую музыку – шелест
дождя и летящей листвы –
коснётся языческий Велес
пропащей моей головы.

В ТУ ЖЕ ЗЕМЛЮ

Где б я ни был и где б ни мотался,
всем красотам чужим вопреки,
в мои ноздри и в кожу впитался
запах леса, лугов и реки.

Эта память ни с чем не сравнится:
травы скошены, сено в стогу!
Надо мной пролетала жар-птица
только здесь – на родном берегу.

Так уж вышло – я вырос на Каме,
у хороших людей на виду.
Ближе к отчему дому и к маме
в ту же землю навеки уйду.

**Редакция журнала «Волга–XXI век»
поздравляет главного редактора журнала «Аргмак»,
поэта Николая Петровича Алешкова с юбилеем!**



**Алексей
КОВАЛЕВСКИЙ**

СВОЯ ПРАВДА

Дневниковые заметки. 2014–2015

*

Приступим, помолясь.

– И поплевав работницы в ладони. А прибытку ища разве что морального – в этой стране и этом мире.

– Тогда с Богом.

*

В поэзии есть и очарование мысли, и очарование описательности, порождающей как настроение, так и мысль, пусть множественную, дробную, может, почти неуловимую. Но она всё равно мысль. Жаль, что часто она слишком уж беспрорывна и предугадываема. И приходится «наслаждаться» всего лишь настроением.

Ну и ладно, и то неплохо. Мир ведь не создан так, чтобы на каждом шагу давать нам откровения. Значит, и поэзия не самый худший инструмент для отображения этого мира, не самое плохое стило, которым он о себе нам рассказывает.

*

Попытался читать Витухновскую. Пара коротких – ничего; но дальше с упоением пишется – мелко, длинно, с вычурной экспрессивностью – нечто проходное и имеющее значение лишь для самой этой поэтессы. Да и то вряд ли.

Вошла в поток – и не остановиться.

*

Не люблю слишком облепленных плотью стихов. Костлявых, риторических – тоже.

Тютчев – его гений не в стилистике, а в философском напряжении, в поиске «ответов».

-
- Алексей Владимирович Ковалевский родился в 1955 году в посёлке Юрьевка Лутугинского района Луганской области. Учился в Северодонецком химико-механическом техникуме, через год перевёлся в Старобельский сельхозтехникум. В 1984 году окончил Литературный институт имени Горького. С 1978 года постоянно проживает в Харькове. Работал корреспондентом многотиражной газеты, редактором в книжном издательстве «Прапор» (Харьков). Пишет на русском и украинском языках. Член Национального союза журналистов Украины с 1986 года. Член Национального союза писателей Украины с 1992 года. Поэт, переводчик, литературный критик, эссеист. Автор многих поэтических сборников. Отдельные произведения переведены на украинский и немецкий языки. Лауреат областной премии им. А. Зубарева (1988, Харьков), всеукраинской им. В. Сосюры (1991, Киев), Международной премии фонда Воляников-Швабинских (2006, Нью-Йорк), муниципальной им. Б. Слуцкого (2010, Харьков).

*

– У Николая Зиновьева стихи с виду просты и доступны, как футбол. Поэтому в них легко «разбираются» все кому не лень. Прочёл несколько стихотворений, словно посмотрел несколько матчей, и ты уже готовый специалист, можешь включаться в болельщицкие разборки по поводу и этих стихов, и самой личности автора.

– Даже футбол в своих глубинах бездонен, а уж выдающийся поэт – тем более.

*

Там, за гранью, «сообщают источники», не только музыка, но и переливистые голоса стихов – голоса самой Вселенной, не опошленные людской ограниченностью. Временем, конъюнктурой. Игрой иллюзорного дня, его суетной, исчезающей малостью.

Так что ничего, стихи, не волнуйтесь, нигде вы не лишние.

*

Многих просто не пустили в литературу. Мягко и демократично. А они всё терзаются, недотёпы: что же с нами не так? неужто пишем хуже других?

*

Есть ли надежда, что, раскрутив своё имя, некоторые сегодняшние конъюнктурщики вернутся к живой, человеческой поэзии, оставят своё ёрническое, пустомельское ремесло, обслуживающее интересы либералов, причём худшую, наиболее подлую их часть?

Вряд ли. Это природная, а не благоприобретённая гнусность. Они себя не изменят.

*

Русские писатели, известные лишь в пределах того гетто, в которое их загнали. И среди них – живые ещё классики...

*

Афористичность скорее недостаток, чем достоинство в поэзии. По крайней мере – сужение её границ. Пример – сильный, но главным образом именно афористичностью, Зиновьев.

*

Зиновьев беднее, чем Ивантер, и краской, и звучанием слова, но объёмнее по мысли. Отдать кому-то предпочтение? Оба дороги.

*

Интонация – это сама твоя жизнь, производное твоих взаимоотношений с миром, наработанного духовного опыта, а не только «литературно-ритмических» озарений и проч. Озарение мимолетно, подлинная интонация, равно как и стиль, – это человек, пожалуй, весь человек, а не какая-то его часть. Так что мы вполне «впихиваемся» в нашу интонацию, не надо особо превозноситься или намекать на что-то большее, чем говоримое, написанное, на «вообще невыразимое». И невыразимое – тоже целиком в ней, родимой интонации.

*

О Примерове одна литтётка: «Даровитый поэт».

Одарённый, талантливый, выдающийся – почувствуйте разницу.

Так дойдёт и до более снисходительного, например: «Рубцов – способный поэт».

*

На глазах становится такой далёкой, что и не знаю, зачем за ней гонюсь – за русской, глубинно русской поэзией.

*

Жёстко-машинный слог, поверхностно-политруковское, а потому и не очень русское – в русле традиционных представлений – слово Струковой. Но амплитуда и способность к развитию огромны. Увы, лишь в содержательном опять-таки плане. Вон аж до обетованных, псалморождающих далей дошла – от русского национализма. На сегодняшний день. А что будет завтра?

*

Если в стихотворении нет события, хотя бы внешнего, не говоря уже о внутреннем, оно будет неудачным. И для поэта не дорогим, и читателю не интересным.

*

Мозги хорошего поэта должны быть устроены так, чтобы акцентироваться на главном, писать о главном и главными же словами, то есть не впадать в мелко- и пустословие и не лепить из этой непригодной глины стихотворение.

Но как часто бывает, что не получается, что всё не то, всё случайно, а упорствуют – лепят! И нечто вытанцовывается в итоге. Но – второсортное. Поскольку из второсортных посыла и материала.

*

Полноценным русским поэтом можешь быть, только живя в России и Россией. А если живёшь на Украине, которая к тому же сейчас в состоянии «гибридной» грызни с Россией... Нет, мы лишь пишем на русском, но ничего существенного создать не можем.

«Даже если ты такой талантливый и космополитичный, как Кабанов», – подтруниваю над собой. И над самим Кабановым – есть такой поэт в Киеве, если кто не знает.

*

Надо здесь возвращать все лучшие чувства – и там они обретут свою полноту.

*

– Харьковский поэт – звучит как «местечковый». Давно уже и прочно. Неуютно в такой географии.

*

Ориентация на оценку, на то, что скажет княгиня Марья Алексеевна, – что может быть грустнее в свободном, упоительном, вещеглагольном, орлинополётном поэтическом творчестве.

«Не думай о них!»

А оно думается, и мешает, мешает...

*

Успешных писателей, а уж тем более поэтов в порядочном олигархическом государстве должно быть гораздо меньше, чем самих олигархов. Иначе – какое же оно «порядочное»?

У нас в этом отношении всё о'кей: быстро и качественно выходим на мировые уровни.

*

Есть в литературе вещи не очень-то «совместные» – быть учителем, например, и поэтом. Актёром и поэтом.

Безапелляционный тон и туговатость у одних, бегание по ролям, скольжение по поверхности – у других..

Нет, увольте. От предубеждения не избавлюсь, какой бы ваш текст мне в руки ни попал.

*

Готов был к безвестности на родине – учительствовать там на каком-нибудь хуторе или лесничествовать, например. И писать стихи. Лишь бы эта безвестность была наполнена целым небом.

Но волею судьбы оказался в мегаполисе. Наиздавал вожделенных, хоть никому, кажется, и не нужных книжек, стал членом Союза писателей, лауреатом премий, пусть и смешно мелких, декоративных.

То есть известности как таковой нет. Можно даже издевательски подумывать, что это всё та же безвестность, которая могла быть там, в отеческих урёмах. Но та, предполагалось, должна быть сладка. А в этой – лишь фикция сладости. В той должно было быть небо. А в этой царствуют обидные, мазохистские, земные суррогаты.

Так что же лучше? Неужели... «идиотизм деревенской жизни» (по Владимиру Соколову)?

А не блажи-ка ты, пожалуй, братец, и живи тем, что есть, и там, где оказался.

*

– Погоди, а ведь Ивантер живёт в поэзии не своей жизнью, а заимствованной. Более завуалированно, чем иные, но в глубине – зависимо и скованно.

– Ну и что. Хорошие стихи могут произрастать и на такой почве.

*

Прожить вровень с веком у стихотворца не получается. Один – выше и шире века, другой – куцеват. Всё зависит от меры таланта. Харьковский поэт Левин – не самый выдающийся шестидесятник, но старался идти в ногу с историческим моментом, правда, давно отстал; а вот Шёлковый – из восьмидесятников, но всем существом своего дара, в том числе и дара переимчивости, застрял в серебряном веке русской поэзии, напитался творчеством Мандельштама, Тарковского; вообще избыточно книжен, культуро-, а не жизнецентричен; и всё-таки вышел на гораздо большие горизонты, нежели Левин.

Кажется, они и не симпатизируют друг другу. Не зря: один особо не понимает и не принимает другого, другой смотрит на мечущегося визави свысока. И, наверное, без сочувствия: мол, вот до чего доводит злоба дня, хоть левиньшестидесятники и считают эту злобу чуть ли не эпическим, мандельштамовским «веком-волкодавом».

*

Кстати, несходство Левина и Шёлкового ещё и в том, что, когда за стихи перестали платить, а это с 1991 года, то у Левина они стали хуже, а у Шёлкового, наоборот, лучше. Не в каждого коня корм – она, эта свобода творчества, да ещё и бесплатного.

*

Разница между Мандельштамом и Пастернаком?

Последний держит стихию поэзии в узде, управляет ею, вводит в необходимое для себя русло, а первый – сама эта стихия, весь без остатка; его как оформителя, записчика, художника, который на неё может влиять по ремесленной обратной связи, – нет. Такое, по крайней мере, у меня впечатление.

Иначе говоря, Пастернак – управляемая стихия поэзии, Мандельштам – бесконтрольная, вольная, словно дух: дышит где хочет и как хочет. Именно *как* – в первую очередь. Автора здесь искать не хочется, а вот в творчестве Пастернака автор – во взаимодействии с этой силой; он в ней ощутимо присутствует душой и телом, как говорится. Причём сдуть её пытается, как Иаков.

Трудно в отношении Пастернака применить слово «рациональный», но, по сравнению с Мандельштамом, он, да, таков; тот же, наоборот, – полная иррациональность.

Понимаю, как всё это спорно, как сложно выразить это в аналитических категориях. Поэтому говорю «с чувства», а для наглядности предельно развожу воображаемые мной крайности, на самом деле не такие уж и далёкие друг от друга...

*

Постмодернизм – революция, отрицающая если не всякий прогресс, то духовно-нравственный – точно.

*

«От ямщика до первого поэта мы все поём уныло», – сам Пушкин сказал. А меня с первых моих опытов без удержу корили, что они, эти опыты, слишком грустные. Даже мои школьные сверстники, в психологии отечественного творчества в общем-то не очень смыслящие. А уж армейские политуки и партийные скорпионы впоследствии и подавно учили бодрости, да так и не научили.

*

Природа как необъятная и неисчерпаемая вселенная перестаёт для литературы существовать. Мало того, что глобализуемся, так ещё и в одну сторону – в сторону социума, индивидуального человека, который живёт обеднённым, выхолощенным миром технологий и искажённых, искусственно усложняющихся потребностей.

*

Толстой писал, что все главные свои мысли он прочувствовал до пяти лет. Поразительно. И ещё поразительнее то, что это правда.

Как же надо беречь детей – и не думать, что они чего-то не понимают.

*

Издад неплохой поэт сотню экземпляров своей книжки. Что-то раздарил знакомым, что-то упросил принять в несколько библиотек (на съедение мышам). И всё, достаточно. Дальше включаются мистика, механизм самосохранения, разумеется, мнимого: поэт думает, что дело сделано, его стихи так или иначе витают в воздухе, они ушли в пространство, в люди, их не отметить, не уничтожить. Даром что по факту в «физическом мире» их прочитали едва ли полсотни человек. И в основном тут же забыли. То есть поэта в общем-то нет, но он фантазирует, что дух его живёт в народе, если не гораздо выше. А здесь, на земле, бродит ну разве что тень поэта, то,

что близорукая действительность разглядеть по-настоящему пока не может. Но ничего, надо подождать – толпа и чернь обязательно прозреют. И тогда всё станет на свои места, обретёт должную завершенность и признание.

Словом, кошмар ещё тот. И лечение вряд ли поможет.

*

Мир конкретный, предметный, осязаемый мал и питать творчество своими образами, причём чтобы они действительно были высокохудожественными, а не создавались по принципу «что вижу, о том и пою», может в ограниченных пределах. Поэтому и уходят многие в отвлечённость, книжность, творчество «от головы», которое с реальностью, её «вещными» опорами имеет далеко не самую кровную связь. Рубцовскому типу стихотворца стало проявляться всё труднее. Сам Рубцов перспектив «растянуть» своё творчество на многие тома, думаю, не видел. А вот противоположное направление бурлит, ничтоже сумняшеся, и о том, что тоже близится к своей исчерпанности, к растерянной остановке перед необъятностью любимого им морока, не помышляет.

*

Утопили всех в цунами информации. Целенаправленно используя современные технические возможности для девальвации ценностей, для расфокусирования, деградации любой, пусть и самой сильной личности. В той же поэзии появьсь, например, такое – кто заметит:

*Земные взоры Пушкина и Блока
Устремлены с надеждой в небеса,
А Лермонтова чёрные глаза
С небес на землю смотрят одиноко.*

Да и кто вообще сейчас пишет столь ёмко и выразительно?

Автор этого стихотворения – мой любимый с юности поэт Игорь Шкляревский. Многие его сейчас знают? В инете солидной подборки не найдёшь, не то что книжек, чтобы почитать в «он-лайн». Зато найдёшь чьё угодно графоманское, будто сорвавшееся с цепи, – захлёстывает.

*

– Всё реже встречается теперь слово «беллетристика». А каким ругательным и убийственным было в редакционных заключениях не такой уж далёкой поры!

Неужели вокруг сплошь высокая литература?

– Наоборот, в основном и есть беллетристика. И бранить её этим словом нет смысла. Читиво от того, что его называют читивом, в лучшую сторону не изменится.

*

Многие сейчас познали тайну рифмовки, удовольствие гладкописания, но не тайну поэзии. Не её мускулистый и радостный труд. Ни индивидуального стиля, ни новизны мировосприятия – бесконечная книжность, и хоть порой изобретательная, но – рутинная.

Имён не прибыло, точнее, они есть, однако – похожие друг на друга.

*

Постмодернизм – отчаяние цивилизации. Скептическое, ироническое, насмешливое отношение к жизни. Да что к жизни – к самому бытию, а может, и к Создателю.

История, родина, семья, традиция? Что вы! Мутите, как Эдичка, полисты-вайте внешне броского, но внутренне ползучего и ускользящего Захара – и не думайте, что всё это обман, быстро приближающиеся растерянность и тоска.

В ином советском фельетоне было больше подлинной жизни, её не наигранной, а кражистой энергии, чем в самом грубом или, наоборот, самом изошрённом постмодернистском произведении.

*

Обесмысливание поэзии избыточным, нарочито сложным смыслом...

Не так давно вышел в Харькове украино-немецкий сборник стихотворений разных авторов (есть там что-то и моё). И, читая некоторых немецких, я как раз и подумал снова и снова об этом самом обесмысливании.

На небольшом речевом отрезке ещё можно проследить ассоциативные связи, логику, но в целом стихотворение у немцев рассыпается, и впечатление сводится к тому, что перед тобой жонглировали пустотой. Да, есть самоценные образы, но они стираются потоком общей невыразительности. Да, ребус обретает флёр философичности и интеллектуальной игры, возбуждает воображение – но ребусом так и остаётся.

А вот наша часть, где представлен «сам Жадан», и прозрачнее, и как-то роднее.

Однако парадокс: закроешь книжку – и, взвешивая то и другое, неожиданно подумаешь: а ведь мы беднее европейцев! И чёрт знает, почему. Неужели только потому, что мало тумана можем напустить, что не способны подать себя с ресторанной сервировкой и пышностью, что наше «хуторянство», пусть и в самых раскрепощённых и продвинутых, остаётся всегда с нами.

*

Светлов ненавидел деревенские говоры в литературе. Кац у нас, в Харькове, не любил Тряпкина вслух, а Рубцова, вероятно, молча, чтобы особо не «афишироваться». Но у самих-то стихи – как перевод с иностранного. Сельвинский вот в некоторых случаях даёт фору любому кореннику по части говора, кладезного словечка. Жаль только, что стилизация у таких, как Сельвинский, вплоть до Ивантера, всё-таки очевидна: они понимают, что эти страсти и страдания для них неорганичны, и в подкладку к своим стихам, в не слишком видимый подтекст и надтекст, набивают всё больше тех извилистых чувств, которые, скорее, граничат чуть ли не с ненавистью и мстительностью к этим говорам. Ну и к их носителям соответственно.

Хотя, справедливости ради, надо сказать, что у Сельвинского подобных чёрных рефлексий почти нет – он чувствовал себя более уверенным хозяином в новой, завоёванной им стране, чем хозяева последующие. Которым добрый Брежнев и тот хвост прищемлял-таки изрядно.

*

Стихи в подбор, как прозу, пишут не только потому, что модно, но и чтобы завуалировать банальности: выстрой такое в столбик – все они вмиг на виду окажутся.

*

Рассказать о музыке – трудно. Ещё труднее – вдохнуть музыку в слова. Если в стихах она слышится не как ритм, а как что-то высшее и невыразимое – это очень хорошие стихи.

Умеете вы такие услышать?

*

Энергия заблуждения (по Толстому) многое двигает. В современном мире это проходит, помалу кончается. Так мне кажется. Наверное, становятся всё более карликовыми и неинтересными наши заблуждения, вот и энергии в них со спичечный коробок.

Однако читаешь «Войну и мир» – нет, там всё двигают мощь и энергия истины! Уж извините, Лев Николаевич, не прикладываете к великим вашим вещам вышеозначенная формула. Хотя и не для красного словца она вами, конечно, придумана – есть такое, ох и есть, к сожалению.

*

Свободной и могучей несогласной мысли на Западе почти нет, литература, в частности поэзия, растекается в хаотично льющихся ручьях метафоризма приблизительности, суррогата мысли. Невыразительностью страшуются от обвинений в прямоте и несогласии с определяющей жизнь общества и отдельного человека неправдой.

*

Стилистика времени. Если её ощущаешь, вписываешься в неё, ты успешен. И как человек, и как писатель.

На плаву сейчас действительно талантливые парни. Но талантливы они лишь к восприятию и воспроизведению стилистики именно этого времени. А оно в общекультурном историческом контексте кажется мне что-то совсем уж элементарным безвременьем.

*

Музыка может быть вообще совсем другой, чем та, которую мы слышим. Особенно извлекаемая из инструментов. А иногда и звучащая в душе и сердце сочинителя.

А стихи – чем хуже? Они тоже могут быть совсем другими, нежели те, которые мы когда-либо читали и которые вообще когда-либо сочинял смертный.

*

С самого начала подсознательно стихи были для меня не возможностью рассказывания о чём-то, а способом познания, неким мистическим усилием, включающим меня в процесс созерцательной и деятельной веры, духовной борьбы, преобразования, утверждения или отрицания. Всё остальное в поэзии мне до сих пор не шибко близко: если вижу, что у кого-то этого нет, то и хорошие стихи воспринимаю без энтузиазма, как бы под давлением общих норм.

Кузнецов, кажется, отличался именно таким пониманием поэзии, такой жизнью в ней. Тютчев, разумеется, Рубцов, Пастернак, многие другие. Могла быть в этом некоротком списке и Ахмадулина (читай далее: Иван Жданов и проч.), если бы не использовала стихи – средство познания – со слишком витиеватыми, химерическими целями, превращая их, строго говоря, в игру и ложь, вольное или невольное совлечение души, своей и читательской, на кривую дорожку. Дорожку, в лучшем случае, всё той же рассказывательности, баяния, облегчённого внутреннего делания, а не стремления к истине, которые больше от сытости и блаженства на грани блажи, а подлинную жажду утолить не могут.

*

Статьи сверстников, самые серьёзные и в самых серьёзных изданиях, чем дальше, тем критичнее воспринимаются. Возраст... А ведь так надо

было смотреть и в недавнем прошлом на всяких там патриархов, властителей дум.

Люди слабы и несовершенны. Гениев непочатый угол – как-то и не видно вокруг.

Да что статьи, и с литературно-художественными достижениями то же самое. Не впечатляют. Потому что почти насквозь знаешь, кто их делает и как, с каким потенциалом и организационными подоплёками. Скажу больше: разочаровываться в литературе в целом как в роде деятельности, как в способе духовных восхождений и самореализации с годами всё легче.

*

Гудят пустоты и понятийные слова в стихах Кузнецова; образ, метафора ему не любы, а символ, гол как сокол, парит в неясном небе, раздражает смотрящих с земли; и чем дальше уходит поэт – тем меньше, кажется, у него почитателей, тем виднее ходульность, неуклюжая пафосность многих его строф и стихотворений, привязанных не только к вечности, но и к своему времени, в том числе идеологически...

Вот так – одним выдохом, а надо было сказать и это.

*

Александр Ерёменко – полная противоположность Кузнецову. Пусть и представить их нельзя в каком-нибудь общем контексте, а всё-таки умствование – у одного ёрническое и площадное, у другого метафизически пафосное – роднит их тем, что выхолащивает стих, уводит в резонёрство, в художественный вакуум, в котором слово теряет свою естественность, свои живые тона и оттенки, подлинный лиризм.

Лиризма у них и не предусматривается особенностями таланта? Да, примерно всё так, а для Ерёменко – и совсем уж точно. Но стихи нельзя воспринимать вне их родового русла; оно же подобные камни, даже глыбищу Кузнецова, оставляет полусухими, водой своей омывает будто вскользь и нехотя. И факт этот весьма прискорбен. И неоспорим, кто бы какую поэтическую религию ни исповедовал.

*

Образцы поэзии трудно навсегда прогнать в тень. Однако нынешнему времени и это даётся успешнее, чем какому-либо другому.

*

В конце восьмидесятых привёз домой свою первую книжку. Не вскоре и только по залому какой-то странички понял, что читали. Но никто ни словом так и не обмолвился о прочитанном...

Зачем я это вспомнил? Обидно до сих пор?

Обидно. Но не за равнодушие к прочитанному. А за равнодушие вообще чуть ли не ко всему, что выходило за рамки того уклада, в котором они жили, вернее, в котором их заставляли жить, эксплуатируя физически и грабя духовно, умаляя интеллект в силу объективной невостребованности. Да и вообще в силу нежелательности развития этого самого интеллекта: кто знает, до чего они додумаются, их дело сторона – подчиняться и пахать, а с остальным справятся другие.

Мы видели, как справились. И видим, как справляются.

Так что же, разве всё это не обидно?

*

«Пропагандист, а не поэт». Многих это касается. Может, процентов девяноста из тех, кто пишет стихи. Если в самую сердцевину их писаний смотреть. Да и то: быть пропагандистом легче, чем природным поэтом. Форма вроде благородная, слово вроде художественное, а в подноготной – как минимум внутренняя твоя полемика, а как максимум – политический заказ, прямой или невидимо растворённый в воздухе. Но кто в этом сейчас по-настоящему разбирается, более того – кто имеет желание в этом по-настоящему разбираться? В ситуации всеобщей какофонии, информационной переполненности, утраты подлинности и первородных основ во всём и, конечно, в поэзии тоже, дышат воздухом какой есть, и только. Даже тема прямой, а не метафорической экологии благополучно исчезла. Чего же вы хотите, земляне?

*

Подрастающее поколение надо воспитывать в ненависти к социализму, поэтому Жигулин востребован российской школой, а об Исаеве в ней слыхом не слышали. Ну как не написать сочинение по «Бурундуку» – стихотворению о зверьке, которого всю зиму, сами голодные, подкармливали, как могли, в бараке зэки.

*Каждый сытым давненько не был,
Но до самых тёплых деньков
Мы кормили Тимошу хлебом
Из казённых своих пайков.*

*А весной, повздыхав о доле,
На делянке под птичий щёлк
Отпустили зверька на волю.
В этом мы понимали толк.*

Не декларативно, а «тонко» царапая юную душу, эта незамысловатая жигулинская вещь как нельзя лучше ложится в столь же незамысловатую тему урока: «Судьба человека в тоталитарном государстве». С заведомым, запланированным методистами креном в односторонность и передёргивания, а главное – в тотально-беспрекословные обобщения.

*

Одна немного пространная, но характерная цитата из Исаева. И к ней вопрос: мог ли поэт с такими «отсталыми» взглядами быть упоминаем в российской школе ещё пару лет назад?

«...Проходя после войны службу в Вене, я, солдат-победитель, в линялой, застиранной гимнастёрке, в кирзовых, растоптанных сапогах, нет-нет да и ловил на себе косые взгляды скрытого высокомерия тех самых «слишком европейцев», от дикого нутра которых в недалёком прошлом и пошёл фашизм. Пошёл и как чудовищная идеология, и как не менее чудовищная палаческая практика. Побеждённые, на виду заискивающие, они тем не менее в тёмных закоулках своего отравленного расизмом мозга числили нас, как и прежде, в азиатах. То есть в низшем, на их взгляд, разряде. Наше простодушие как признак наивысшего предрасположения к общению, к миру, к добру они по душевному невежеству своему, по нестерпимому индивидуализму относили не к достоинствам, а к недостаткам культуры, к слабости характера. Будучи побеждёнными, они всё равно в глубине души исповедова-

ли культ силы и вероломства. Справедливость и благородство были для них по-прежнему всё равно что пустой звук».

Но время идёт, конъюнктура меняется, глядишь – и Исаев будет востребован, а Жигулина задвинут. Грубо, разумеется, и несправедливо задвинут. А те методисты, что вчера говорили противоположное, легко перековавшись, опять разложат всё по нужным полочкам.

*

Тускло – ушли в тень живые классики. Да и не такие уж они классики, кажется: подцензурные меты на каждом слове. Не меньше это слово сковано, заморено и самими авторами, их бдительными внутренними редакторами.

А тот свет, который носят сейчас в своих факелах мазутные альтернативщики, кудлат и тёмн. Сумерки от него не раздвигаются.

*

Наверное, диковато быть актёром. Даже таким, как Высоцкий. Говорить что-то вроде: «Зажился ты на свободе, Копчёный!», перевоплощаясь именно в такого вот говорящего и разрушая себя. Настолько разрушая, что и не понять потом, где ты, а где твои актёрские трансформации. А с другой стороны, кто нашёл себя так уж акцентированно, неразмыто, стабильно? Кто знал и знает свое «я»? Актёры же хотя бы измерили для нас диапазон наших всевозможнейших самоидентификаций, показали, как пластична и даже текуча человеческая душа, какая это, наконец, игра – вся наша жизнь. Грустная картина, безрадостное кино получается.

*

Психологическая, философская, притчевая драма молодёжи не нужна, нудна, будто что-то лишнее в их накапливаемом и уже имеющемся личностном опыте. Выросли на компьютерных играх? В которые встроены (по договорённости с теми, кто так продвинул цивилизацию за пару десятилетий?) всякие фэнтезийные, звёздно-военные, инопланетные программы?

Всё будет, вероятно, отменено этим поколением. Гоголь, Толстой, Евангелие, нравственный закон внутри нас, который не позволяет с лёгкостью нажимать на гашетку и убивать пока лишь компьютерных персонажей, смотреть одни сражения и драки с немислимыми, восторгающими электронные сердца спецэффектами.

*

Всё-то мне думается, что те, кто легко запоминает строчки или целые стихотворения, воспринимают их на рациональном уровне. Если бы переживали эмоционально, с необъятным комплексом ассоциаций, то стояли бы перед стихом в растерянности, а не смотрели на «столбики слов» победительным взором! Не люблю таких самоуверенных ценителей, запросто цитирующих по памяти что угодно. Причём разнородное и разнокачественное.

*

Сначала обширная цитата о научной и творческой деятельности Евгения Лебедева (во время учёбы в Литинституте я слушал его действительно глубокие, в мировоззренческом и художественном отношении многое корректирующие лекции). И затем – короткий вывод. Вот эта цитата, авторство здесь не важно:

«...Готовился к работе над книгой о Пушкине, мучительно искал то единственное слово, в котором бы выразился глубокий внутренний пафос, стержень, смысл жизни и поэзии Пушкина, как слово «огонь» высветило дви-

жущую силу, пафос жизни и творчества Ломоносова, как слово «тризна» – тоскующую душу Боратынского, надломленную роковым поворотом событий в его судьбе. И не мог найти... Он хотел понять Пушкина, как понял Ломоносова и Боратынского, но не успел... И его книга о Пушкине осталась ненаписанной...»

Потому и не нашёл того стержневого слова, что начиная с Пушкина в русской литературе появляется новый тип писателя. Бытийная, философская составляющая в творчестве перестаёт быть доминантой, истины и духовные устремления дробятся, переходят из торжественного в будничные, ежедневно доступный «бытовой» ряд.

...Будто сами боги отвратили от соблазнов столь сосредоточенного на главных смыслах исследователя, чтобы он сохранил душу для новых, премежственных по отношению к своим наработкам самореализаций.

Где и когда они понадобятся? Это знают боги.

Евгений Лебедев умер на пятьдесят шестом году жизни: не выдержало сердце.

*

Князь Болконский перед крутящимся рядом смертоносным ядром не упал, чтобы хоть как-то попытаться спасти свою жизнь. Реноме не позволяло, гордость.

Такие представления были у людей о чести, о войне.

А сейчас исподтишка спецназовец хоть сотню положи, спящих там, допустим, перережь, отрави воду, химией задуши – честь ему и хвала. Не только по службе. Но и в сердцах большинства гражданского населения, если оно на стороне спецназовца.

*

– Поэтов, робко, тенью возникших в литературе в восьмидесятые, до сих пор на виду раз-два и обчёлся. Их долго держали в клещах инфантилизма, долго называли молодыми, не давая продвигаться. Сорок и пятьдесят – они всё ещё «в молодых»; так и на пенсию ушли, не названные зрелыми и не вышедшие из тени. Утраченное поколение? Но оно не само себя утратило, оно погибло под тушей раскормленных и не пуцавших его шестидесятников.

– Ничего, постмодернисты теперь и за нас поживут, и отомстят нашим могильщикам!

*

Кто я? Вечный философский вопрос. Неужели только то, что сделал, о чём думал, о чём мечтал? Например, конкретный я – это то, что мной написано, издано или отброшено в сторону, что можно осязать, воспринимать с листа и голоса, осмысливать, оценивать? А большее? То, что не фиксируемо. Не передаваемо. Ведь меня в этом большем – больше, чем в явленном. Как столяра больше, чем вместились в созданный им табурет.

Кто я?

*

Кузнецов – богатырство русской души, а Казанцев – её чистота. Когда я назвал Кузнецову Казанцева как одного из любимых моих поэтов, он поморщился. Ревность? Понимание того, что никогда так не сможет – и чисто, и порой не менее глубоко? Но мне оттого, что чисто, не замутнёно, оттого, что не вселенский вихрь, может, не нужный ни Богу, ни людям, – Казанцев становился уже тогда, в «застойное» время, ещё дороже.

*

– Фееричность Андруховича, блеск знаний и фантазии – кто будет это отрицать? Но основы размыты, дом стоит на песке, и не дом, а остов. И живут в нём иллюзорные персонажи, плавают человеко-рыбы под водой, незаметно и мягко поглотившей этот остов. Пытаются решать свои ирреальные, человеко-рыбьи проблемы и заодно втягивать широкого читателя в этот водный мир. Читатель втягивается – а как же: новизна, экзотика, калейдоскоп кораллов и всяких диковинных существ! Ну, не без того, и муть потопная, в которой кто-то неярко тонет, а кто-то ловит своё олигархическое, акулье счастье. А что, можно и на это посмотреть! Интересно же.

– Интересно. Но не более. Не Шолохов и не Толстой.

– О них забудь. Теперь андруховичи будут самой верхней планкой. Так требует Великое Ничто, все его начальства и силы, дух времени.

*

Есть писатели – писатели, а есть писатели – плясатели.

*

Русские стихи от так называемых «русскоязычных» мною часто отличаются по тяготению к высотам блага и безднам разрушения. По интуитивно ощущаемым пределам в том и другом случае качка «маятника» – от Бога к его антиподу.

Например, ветерок сатанизма, причём будто бы органичного, естественного, до обиходных мелочей, до бытовой рутины, чаще почувствуешь в «русскоязычных» стихах. В русских же – будет хождение «у бездны на краю», отчаянное в неё заглядывание, а вот растворённости в «люциферрианстве» никакой, тем более уж, извините, сознательной.

А именно сознательное порой так и сквозит, сколько и чем его ни прикройвай, в самой ткани многих «русскоязычных» стихотворений.

*

«Без него нельзя жить», – Толстой о Тютчеве. Ни о ком другом так близко, так глубоко. Кто ещё мог столь сокровенно и соответствующе истине оценить эту внешне скромную фигуру в литературе, в духовной жизни своего народа? Более того, для любого понимающего человека достаточно уже самих этих слов, чтобы они характеризовали, прежде всего, Толстого как гиганта. Гиганта в поиске ответов на основополагающие, вечные вопросы, гиганта в жажде ежедневно, ежечасно жить в тех измерениях, которые предлагает нам великая «тихая» лирика Тютчева.

*

– Струкова после радикального русского национализма смягчилась как-то внезапно, сделала крутой поворот к либерализму.

– Пару раз съездила в Израиль, побывала в святых местах – и этого оказалось достаточно, чтобы пересмотреть, казалось, незыблемые и даже кого-то пугающие убеждения?

*

Его стихи бывают как условие математической, физической и тому подобной задачи. Читаешь – не до поэзии, надо разобраться в этом условии, найти акценты и связи, ведущие к решению. Но дело в том, что это именно поэзия – и ответ в ней не предусмотрен. И автор сам это знает. И эту установку ни на йоту не отменяет. Предполагаются только масса ассоциаций, только временное утоление той части естества, которое в ответах не очень-то нуж-

дается, которому важны наполненность неисчерпаемой жизнью, азарт соприкосновения с миром, вашим с ним взаимным переплетением. Здесь любовь, а не задача, – осаживает автор! И всё-таки далеко не всегда умеет осадить. И перелистываешь страницу, читаешь другое стихотворение, но опять впечатление, будто погружаешься в условие новой задачи.

Скажите, можно считать такого автора поэтом? Ещё как можно! Речь ведь идёт о Бродском.

*

Клиповое мышление, повсеместно распространившееся, сужает базовую, фундаментальную часть мировосприятия и расширяет надстроечную, чуть оторванную от реальной почвы. Удобный способ манипулировать человеком! Уводить туда, где он обезличивается, причём думает в то же время, как индивидуально богат. Просто феерически богат! А на самом деле – безвозвратно затерян, погребён в калейдоскопе рваных впечатлений и рефлексий.

*

Постмодернисты ищут новые выразительные средства в ущерб глубине. Охранители держатся за глубину, не понимая, что старыми средствами она уже не выразима. Не воспринимается, выглядит чем-то искомым, но в таких архаических одеждах, что привлечь к себе внимание не может. У постмодернистов же текст как раз зазывен, привлекает, но именно внешней мишурой, за которой преимущественно ерундовость и пшик.

Разрыв между глубинным, бытийным и возможностями его художественного воплощения – проблема не просто охранителей, но и всего нашего времени. Надо её суметь осознать и решить, если хотим выжить, иметь животворящее продолжение, а не скукоживаться и оставаться бесплодными.

Относится не только к литературе.

*

Его могли и не пустить в большую литературу, он сам где-то признаётся, какие влиятельные люди не смогли оценить его по достоинству, даже палки в колёса набравшего ход «паровоза» вставляли. Но теперь-то смотрит не маленькой картой, а вальетом, возглавляет журнал, даже метит в короли и тузы. Теперь тоже решает судьбы – кого печатать, кого не пущать, но вот беда: читать-то почти нечего – ни в его книгах, ни в его журнале.

Уж он-то не позволит о себе и братии так написать, как Давид Самойлов:

*Вот и всё. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса.*

*Тянем, тянем слово залежалое,
Говорим и вяло, и темно.
Как нас чувствуют и как нас жалуют!
Нет у их. И всё разрешено.*

*

Рубцов мог сидеть, уставившись в одну точку, по несколько часов подряд. И это были творческие чаще всего, а не депрессивные состояния, как может подумать кто-нибудь особо «доброжелательный» к поэту и русской поэзии.

Стихи у Рубцова, очень многие, рождались в голове, будто в устном, внутренне проговариваемом виде, и только потом записывались.

Смог бы, например, Евтушенко так? Вряд ли. Сразу – к бумаге, к нетерпеливому слову.

Это совсем другое отношение к жизни, тем более к такой её «малости», как поэзия, а что уж говорить о чём-то большем? О мироустройстве, вере, видении Бога, о благодати и справедливости. О людях – кто они? Стадо, которое надо гнать, скажем, к глобальному миропорядку и воцарению Антихриста, или каждый человек – это всё-таки неисповедимый космос, одно из самопроявлений Творца, зеркало, в котором он, Творец, может увидеть многое и, увидев, направить выше, в ту часть духовного пространства, где правят совсем не тёмные силы.

Нет, не мешайте Рубцову, не мешайте настоящей русской поэзии, пусть они подольше смотрят «в одну точку».

*

Бесхозному, как Михаил Анищенко, приходится идти вразнос, чтобы если уж игнорируют редакторы, скованные темниками и форматами, то хотя бы непродубеждённые читатели, прежде всего в сети, заметили и воздали.

*

Хорошо, мы лузеры. А где сразу оказался Кузнецов при «демократической» власти? Там, где и мы сейчас. Почему его так легко обошли ветрогоны? Потому что именно они нужны этой власти – вместо правды и поэзии.

*

Одновременно быть поэтом и прозаиком трудно. А чтобы настоящими на том и другом поприщах – совсем невозможно. Что-то уж одно. Если же совмещаешь, а иные делают это настойчиво, до насилия – значит, чего-то недопонимаешь и в поэзии, и в прозе.

*

Связь стиха с чем-то высшим ощутимее, чем прозы. Как ни излагай в ней хоть самую сокровенную суть.

*

Окрыляющая радость творчества. А пишешь ведь в стол. А потом – на свалку. Сколько примеров вокруг: уходит писатель – и как не было, и написанное никому не нужно. Даже в книжках изданное.

*

Лучшие стихи Рубцова состоят из единственно возможных слов, а стихи многих других поэтов – из слов случайных. Вынутых из хаоса, а не божественной гармонии.

*

Почти со всеми оценками Бродского – касательно Булгакова, Ахматовой, Евтушенко и многих других – я, странное дело, согласен, чувствую с ним родство; а вот его увлечение, самозабвенную подчинённость американской и английской поэзии понять не могу. Вижу при этом, что именно она сделала его творческой личностью величайшего размаха (вкупе с природным даром, разумеется), а отечественная литература – лишь во вторую очередь. Спорно? Но не это для меня сейчас важно, я о другом, более личном. О том, как разбегаются в некой узловатой точке космополитизм и национально-ментальная

зашоренность, питерский урбанизм Бродского и моя, допустим, узкая, слобожанская лиричность.

Жаль себя, что тут скажешь. Сочувствую и тем, кто безапелляционно судит о Бродском как о поэте, всего лишь непомерно раздутом мировой антисоветской и русофобской пропагандой. Всё это здорово, но давайте для начала осознаем свою ограниченность, друзья, – мысленно говорю им и себе.

*

У Кабанова и Рафеенко вкуса поболее, чем у их украиноязычных сродников по стилистике. Тем не менее, даже они, родня, кстати, по ценностям и олигархической власти, вынуждены в своей стране реализовываться как эмигранты.

Ситуация с русскоязычной литературой в Украине и впрямь удручающая: господдержки она не получала, а теперь, вероятно, и вовсе будет в загоне – как один из спусковых крючков воображаемого «патриотами» сепаратизма.

*

Печатает издательство откровенную графоманию – надо лишать лицензии. Должны быть квалифицированные редакторы, должны быть их ответственные заключения о рукописях, должны быть рецензенты со стороны, заинтересованные только в истине, должны быть независимые эксперты в тех учреждениях, которые выносят последние вердикты и лицензий лишают. И безумный поток графомании прекратится. И библиотеки от сора очистятся. И общество в массе своей вернётся к подлинной литературе, нация снова станет читающей. А там глядишь – и по-настоящему культурной. Скажут: но это дорога назад, это уже было. А сегодняшняя дорога – разве вперёд?

*

– Для кого пишешь?

– В идеале хотелось бы для Бога. И для Рогово. Разумеется, рад был бы и другим читателям.

– Нет, при таком подходе других будет горстка.

*

Хороший врач терминами не сыплет. И хороший писатель пишет на живом, родном языке. А не на латинском.

*

Немало стихотворений, причём лучших, Шевченко написал как бы мимоходом, сидя за мольбертом или гравюрой. Даже разговаривая с друзьями.

Да и по себе знаю: когда легче относишься к этому страшному, неблагоприятному и ничем другим не заменимому вдохновенному ремеслу – стихам, получается неожиданно ярче, раскрепощённое, сильнее.

*

– Ясность мысли и языка – талант Анищенко в этом отношении перво-статейный. А вот скатывания от ясности в легковесность поэт порой не замечал.

– Да что там! Одно чтение стихов коровам... Мальчишеством обесценил, маргинализировал значительную часть своего творчества.

*

Авангард как упадническая литература.

*

«Главное – это величие замысла». И вторая самохарактеристика: «У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений, у меня есть только нервы». Оба высказывания – Бродского. И в обоих он громадина. Хотя за второе хватаются узколобые и ликующе облачают, пляшут, как на костях. Не понимая, что на своих-то костях и пляшут.

*

Кузнецова почти не переиздают, Бродского – сколько угодно. Так востребована русская идея (Кузнецов – одно из её воплощений) не то что в мире, но и в самой России. А ведь Рейн, друг Бродского и коллега Кузнецова по Литинституту, ставит этих поэтов рядом, на одну доску по мировой значимости. Вот вам и справедливость, вот вам и земное посмертное воздаяние.

*

– Проза с пространными описаниями и не очень-то нагруженными диалогами изживает себя в небывало уплотнившемся информационном пространстве. Нужен сжатый художественный продукт. И формы его ищутся, вызревают. Интересно, что это будет.

– Отсутствие литературы.

*

Перевернулось подсознание, несветлыми сделались сны – в них еду, бегу, иду в Рогово, но то в Старобельске облом, всё срывается, дальше никак, то в Новопскове. То вот уже и дом наш вижу, рукой подать, сотня, полсотни метров, а что-то неизменно случается непредвидимое и уже стойко ожидаемое – и, нет, не могу дойти!

*Снится, что до родины
Бегу не добегу,
До куста смородины
В голубом снегу.*

Написал ещё в армии, сорок лет назад, полностью можно прочесть в сборнике «Ген свободы». И вот уже шестнадцать лет, как сбылось. Только отнюдь не лирично, а жёстко, слышишь?

К кому это я обращаюсь? Он знает. И они знают.

*

«Рейн – еврейский Есенин». Красиво, даже роскошно звучит. Мне нравится. И попутно, по другой составляющей, даже восторгает: умеют же и несочетаемое сочетать себе на пользу!

*

Три года уже, как нет Анищенко. Ивантер был его другом. Много помог. И я постепенно понимаю, что прежде всего за эту помощь я стал внимательнее вчитываться, а потом и ценить стихи Ивантера. Такая вот немного ангажированная, благодарная получилась эстетика, искривлённые, а не объективные критерии. Впрочем, сам Анищенко числил Ивантера среди лучших современных поэтов.

«Не из благодарности ли за помощь?» – иногда вертится у меня мысль, но я её отгоняю.

*

– Что с того, если бы Рубцов поездил по америкам-европам?
– Как что? Это только ухудшило бы, исковеркало, иссушило его стихи.
Ну вдруг он возьми да и предайся «глубине» впечатлений от этих поездок.

*

Почему нет серьёзной и честной литературной критики? Потому что нет гражданского мужества у критиков. Даже заикнувшись, они поневоле должны выражать свою общественную позицию. А прямотдушная, совестливая позиция лояльной к существующему порядку вещей быть не может. Танцевать же вокруг назначенных в светочи гороховых чучел и вовсе не пристало. Вот и молчат наши серьёзные, но не мужественные критики, вот и нет у нас правдивого слова о литературе.

*

– Важно, чтобы не было любви – к родине, людям, чтобы не было благоговения – перед бытием и Создателем, а царил депрессняк. Такого литератора поддержат, лишь старайтесь, ребята. И ребята лезут из кожи. Как змеи при линьке.

– Змеям и стараться не надо. Это их естество. Только из-под каких мёртвых корневищ их так много вывалилось?

*

В больших количествах однотипная поэзия, как у Зиновьева, вещь тоже не вполне выносимая.

Хотя считалось же «бургомистрами» и самим Эренбургом: есть пять-шесть хороших вещей на всю книжку – и добре. А тут десятки и десятки.

Непредсказуемых и, к сожалению, одновременно уже понятных, угадываемых заранее. Драма большого поэта и его стилистико-содержательных предпочтений, ставших цепями?

Но утешимся: разнообразной чаще бывает всякая мелкота.

*

Литературе научить нельзя. Только каким-нибудь тонкостям ремесла. Но зачем они тебе, если у тебя нет первостепенного таланта, если ты талант, допустим, средней руки? Они станут лишь твоим несчастьем, видимостью, фикцией посвящённости и призванности. Средним талантом, даже помноженным на ремесло, ничего серьёзного в творчестве не добиться. А если первостепенный талант у тебя есть, то о тайнах литературы он знает гораздо больше, чем можно научить, а уча – испортить.

Отсюда один из выводов: Литинститут можно и даже полезно ликвидировать, пусть не множит несчастья. Несколько процентов успешности, которые он продуцирует, не стоят сотен изломанных судеб, тысяч блужданий по чужим тропам. Достаточно филфаксов или вообще самообразования, если кому-то приспичит обогатиться теорией.

*

Сравнивают «Пирамиду» и «Мастера и Маргариту». У Леонова – ангел, у Булгакова – дьявол; там трудный растянутый текст, тут – яркое динамичное повествование. Кто виноват, что «Пирамида» не востребована широким читателем – ангел? Кто помог «Мастеру и Маргарите» стать мировым бестселлером – дьявол? Полноте. Леониду Максимовичу надо было как минимум считаться со стилистикой изменяющегося времени. Но как? Себя по заказу не переделаешь. А ему ещё в двадцатые вменяли в вину дворянскую архаику

стиля. Справедливо вменяли. Но он дотянул этот стиль до лихих девяностых. Не слишком ли?

*

Силы, терпение, таланты даются нам вровень с тем временем, в котором выпадает жить. И порой кажется, что другое время мы, может, и не сдюжили бы вынести.

*

Равный убил Мандельштама? Нет. Более-менее равный только столкнул его во мглу животного низа. И уже этот низ, безличный, дышащий миазмами запредельного зла, сожрал поэта, даже не задумываясь, кто перед ним.

*

- Лирика появилась из страха смерти.
- А может – из любви?
- А любовь, ты думаешь, из чего? Из того же страха.

*

Общее качество литературы зависит от тех, кто занимает в ней командные высоты. Так было, есть и будет.

*

В трактовках филологов то и дело вылезают идеологические ходули, всякие философские и психологические клише, читать противно, тем более когда анализируемый текст многошумен, как лес, и к ходулям меньше всего сводим.

*

Витийство – а оно преобладает даже в очень хорошей поэзии (вся Ахмадулина из витийств состоит) – иных приводит в никуда, а у Зиновьева оглённость, непритязательность слова плюс какое-то непоколебимое «ничтоже сумняшеся» дают ошеломительный результат.

Так муза насмехается над чрезмерно кудреватými и возносит простых как правда.

*

«Всерьёз не писать, всерьёз не думать, всерьёз не жить».

А что, по-постмодернистски оно ведь и вправду гораздо легче воспринимать этот усложнившийся и сходящий с ума мир.

Защитная реакция – вот он что, этот постмодернизм.

Хотя для кого-то и идеология. Очень прибыльная.

*

Минор советская власть не любила. Но за сквозную ноту покоя и показного всепрощения печатала Жигулина, не вменяла в вину тихую грусть и светлую печаль. Однако из-под контроля, само собой, не выпускала. Чтобы бывший политзэк вдруг не начал зарываться, напоминала о себе и своих возможностях разными методами.

Именно в таком ключе мы комментировали приход Жигулина с загнутой рукой на очередной семинар в Литинституте.

«Случайный» прохожий метил по голове трубой, завёрнутой в газету, но Анатолий Владимирович подставил руку. Добивать или посылнее увечить «воспитатели» не стали – сочли, что для закрепления урока на текущем этапе этого достаточно.

*

– Когда душа смазана, амбивалентна, невыразительна, то и стихи такие же. Сначала определились в ценностях, наработай убеждения, а потом уже пиши.

– Что? Агитки?

*

Неизвестный поэт и неизвестный солдат – есть что-то общее в судьбе?

*

А ведь о поэзии уже забыли – что она такое. Или есть ещё где-то мальчик в селе, который открывает объятия навстречу берёзе и клёну, слышит чистую музыку тайны и слова? Душа которого ещё не переформатирована под последующее порабощение и долгую посмертную казнь.

*

Раньше поэты слушали природу, сосен шум, сейчас, как все, слушают мёртвоговорящий зомбящик. Да и поэты ли это?

*

Предварить эти записки можно было бы словами: «Клиповому сознанию современника посвящаю». Да как-то вычурно будет.

*

С нашего курса после разрушительных девяностых литературой не прервали заниматься единицы. Отчаюги. У остальных победило чувство целесообразности: зачем тратить усилия впустую, когда речь идёт о выживании и надо класть себя на добывание насущного. Даже плохонький музыкант в подворотне играет не бесплатно. А тут не то что гонораров – за свой счёт надо издаваться, сети распространения книг никакой, гоняться за копеечной премией унижительно и нет смысла – всё равно отдадут прикормленным и лживым.

*

– А инопланетяне создают музыку, пишут стихи? Нет? Тогда какие они боги?

– Именно потому и боги.

*

– Писать стихи – даже самые пафосно мужественные, гражданские или постмодернистски крутые, матерные – культивировать в себе и в обществе инфантилизм.

– Так и про веру можно сказать. Но что в ней плохого?

*

Сколько многозначительности у Тарковского. Хотя бы в том же «Солярисе». Как хотелось тогда впитывать её и разгадывать. И как наивна она, как не работает сейчас.

*

Что-то затягивается у меня этот период – не пишутся стихи. И писать их не хочется. И становится даже странно, что так долго ими жил. Можно ведь и без них.

Так, наверное, уходит одно за другим что-то важное, пока не уйдёт и сама жизнь. И где-то поймёшь, что можно и без неё.

*

Бродский о Кушнер: «Грызун словарного запаса». Каково? Кто скажет короче и точнее?

*

Можно было бы читателю и без «Поднятой целины» прожить. А вот без «Тихого Дона» – вряд ли. Глыба в литературе, в истории. Бушующее море в ноосфере.

*

Чтобы стать поэтом, нужна любовь. А ненависть – штука третьестепенная. Более того, её может и не быть. Как нет, вероятно, у высшего творческого начала.

*

– Он – поэт, и деловые разговоры богачей вряд ли его привлекают. А если и привлекают, то лишь затем, абы щёлкнуть по носу какого-нибудь слишком заносчивого.

– Не заблуждайся. К бедным у него такое же отношение. Он ведь не копейки считает в карманах, а нечто другое – в наших душах.

*

Искусство как игра, а не откровение, тем более – мистическое. Облегчённый подход? Но как раз при таком подходе достигаются сегодня более весомые художественные результаты. Не верите? Спросите у авангардистов, чем они покорили мир и вас самих. Ответят: «Да, именно сим победиши».

*

Странно, что проза требует мыслей и мыслей, а вот мыслям и мыслям не нужны ни проза, ни тем более стихи.

*

Лариса Васильева организовала встречу Кузнецова со студентами в актовом зале Литинститута. Оратор из поэта был не ахти, но кто хотел слышать – услышал многое. Нам с Сергеем Куцем хватило. Выходили мы из зала в сосредоточенном и приподнятом молчании. А вот Грицко Чубай в группке украинцев позади нарочито громко повторял:

– Какой некультурный поэт!

Вкус Чубая, как я понимаю, воспитывала прежде всего восточноевропейская, даже не традиционно украинская литература. Ну и – понятное неприятие литературы русской. Считаю этот вкус до сих пор слишком эклектичным. И читать мне в таких стихах практически нечего. Даже если это не Чубай, а более собранный и талантливый мой земляк из-под Луганска Василь Голобородько.

*

– Всегда удивлялся тем, кто отдаёт предпочтение новостям, политике, вообще всякой всячине, но не литературе и не статьям о ней. Теперь начинаю удивляться и себе. Новый номер ЛГ или ЛР – и что? Пролистну за несколько минут – и ни на чём не остановлюсь всерьёз.

– Потому что там стало нечего читать.

*

Художник ищет образ, мысль, а не истину. Воспринимает мир дробно, а не синтезировано. Искусённых художников много, «наивный» Толстой – один.

*

Чутко как идёт Толстой, нигде не сбивается на мелочи. На то, что слишком отдалено от души человека. Что для неё ничтожно и пусто.

*

Ужасающая ситуация для Гоголя: ни за что и никогда не смог бы передать то же содержание, но на украинском языке. И речь не о возможностях этого языка, потенциально они огромны, а об узости его бытования и невольном в этой связи упадке.

*

– Цветаева – это Маяковский, только очень женского рода. Женского до истеричности, как едко подметил когда-то Кузнецов.

*

Преувеличенность жизни в смертный час.

Множество у Цветаевой таких посылов, импульсов, от которых вздрагиваешь, от которых многое переворачивается. Но хватает и проходной, хоть и темпераментной описательности. Выговориться даже гениальной женщине – это не значит написать ёмкое, классически грандиозное и законченное произведение.

*

Бунин писал о людях другой культуры. Даже для нашего поколения она выглядит как архаизм. А что будет завтра, если уже сегодняшние молодые писатели оторвались от неё напрочь. И не по внутреннему убеждению, а по внешнему принуждению: такова конъюнктура на рынке литературного труда, что Бунина – за борт. Причём конъюнктура, регулируемая как раз держателями этого рынка. Здесь ведь так же, как и с морковкой: вчера она стоила три гривны, сегодня – восемнадцать. И попробуй доищись правды, почему оно так. Созвонились пацаны, стакнулись братцы-кролики – и решили: быть по сему.

*

Не надо простоты и ясности, а главное – включённости во внешние, общественные события и настроения. Только герметичный, закупоренный личный мир.

Прежде всего такие «произведения» возводятся штатными обозревателями в ранг лучших на либеральных сайтах. В крепкую узду взят Пегас, музы танцуют на панели.

*

Витринные писатели. Предназначенные прежде всего для западного потребителя. Ну и для своих шопоголиков.

*

В предисловии к этим дневниковым записям следовало бы провести простую, но, по-моему, универсально ёмкую мысль о том, как человек ходит по кругу – от почвенничества к либеральным ценностям и обратно. И о том, что других путей у него, собственно, и нет. И быть не может. Ведь если снять шоры, то увидим, что именно это происходит и с великими – Пушкиным и Гоголем, Толстым и Достоевским, Франко и Лесей. И даже – Шевченко. Который из крепостных и знает почвенничество изнутри, как никто.

*

Прасолова не сразу понял и принял как «подлинного поэта» даже Кожин. Что-то и глубокое, и накатанно-скользящее в этих стихах. Но даже косвенные штампы дышат неожиданно оригинальной, мускулистой и многогранной силой. Станный и притягательный парадокс.

А вот в жизни поэта как-то быстро и нагло сломали, он был неприкаян, получил срок, потом покончил с собой. Но и тут, как по мне, сила его больше, чем, скажем, у Рубцова и Кузнецова. Она от воронежских чернозёмных пластов, тяжёлых и вязких, а не от цветов и сосен, как у первого, и не от мифов и былин, как у второго.

Если проще, в ней гораздо больше реала, чем виртуальности.

*

А опубликовал, поднял из безвестности Прасолова Твардовский, когда тот сидел в тюрьме и оттуда прислал свои стихи. Конечно, тут была и прозорливость Твардовского, но в немалой степени публикация стала жестом в пику советской Фемиде, с удовольствием посадившей поэта на три года за мелкие проступки, – по мнению современных юристов, Прасолов заслуживал только условного небольшого срока. Как бы ни было, но поэт вырвался из провинциального мрака к широкому и ясному читательскому простору – навсегда. Хоть потом, правда, и повесился – от каких-то новых беспросветностей родной чернозёмной воронежской глубинки. В возрасте сорока с небольшим. А сегодня ему было бы восемьдесят пять. И что бы он написал, проживи такую огромную разницу, как бы, в частности, отразил наше время? И каким взглядом посмотрел бы отсюда на вечность? Неужели с отчаяньем признал бы, что оттуда, даже из «ужасного» оттуда она казалась просторней и благосклонней к человеку?

*

Уже пошли академические статьи об Анищенко, в основном, как видно, аспирантские. Но спасибо тому, кто дал им толчок. Пусть в филологической говорильне слово поэта пока неуклюже глянцеуется, даже немного нивелируется, поскольку о достоинствах – напыщенно-официозно, а на недостатки у прилежных зрения не хватает. Но это лучше, чем загнанность в тень, а то и забвение.

*

Самовыражение и литература – очень далёкие друг от друга вещи. А самовыражение и политика, даже хозяйственная деятельность или бизнес – разве нет? Но у нас все всё умеют – и ничего путного не получается. Всеобщий загул, разгул, потоп самонадеянного, а то и агрессивного любительства. Тонем, даже не замечая, что тонем. А в Ноевы ковчег нас не берут: их в обрез и они не резиновые. Да и отбор туда строгий, как в космонавты. Вот вы, мужчина, сможете пройти такой отбор? Только не дышите доктору в лицо перегаром и никотином.

*

Он странный писатель. Пишет так, будто ничего в сердце глубоко не впускает. Удивительно, но получается востребованное читиво.

*

– Общество стало американским. Ни Сосюра, ни Рубцов ему не нужны.
– Тому, кто думает о копейке, не до муз. А это и сытый, и голодный, то есть все. Эх, «какая музыка была»!

*

Кстати, вот оно, это стихотворение Межирова:

*Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая пограла.*

*Какая музыка во всём,
Всем и для всех – не по ранжиру.
Осилим... Выстоим... Спасём...
Ах, не до жиру – быть бы живу...*

*Солдатам голову кружа,
Трёхрядка под накатом брёвен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.*

*И через всю страну струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.*

*Стенали яростно, навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке – инвалид,
И Шостакович – в Ленинграде.*

А ещё – если бы вы только слышали живой неповторимый голос Межирова, когда он читал эти или другие свои стихи! Ввысь и ввысь рвущуюся интонацию, лихорадочную и одновременно захватывающе гармоничную. Интонацию самой поэзии.

*

В романтическом напоре, в страстности голоса Межирова было не меньше правды, чем у темпераментного Исаева. Но я не завидую N, который учился у Межирова. Общие подходы там царили узкие – конечно, не афишировано: «свой – не свой», «нас зажимают», «мы должны быть едины, как кулак, и противостоять почвенникам, пока не загоним их в угол».

Загнали. Ты хоть понимаешь это, N? Понимает. Но будет сочувствовать вам немножко картавым голосом. Таки не зря Межиров отбирал его в свой семинар. А меня Исаев – в свой.

...Вот уж дурацкий гонор – и здесь он прорывается, в разговоре о плачевных итогах для «исаевцев».

– Не бойсь, эти итоги промежуточные, ещё не вечер. Вон даже N на некоторых российских почвеннических страницах промелькнул. Всех влечёт это небо.

– Хорошо, если по чистому чувству, а не ради коварной конвергенции. Эту ловушку мы не раз проходили и знаем, чем дело в ней заканчивается. Съедают нас там за милую душу.

*

До встревоженности давно не писал стихов – целый месяц. И вдруг что-то сложилось, будто вспомнило обо мне. Смерть отца царапает и когтит изнутри, многое другое, о чём, собственно, и пишу в этом дневнике.

*Детство и не думало о тризне,
Юность приходила – на века.
Странно, чтохватило малой жизни,
Чтобы эта высохла река.*

*Высохла? Я думаю о море!
И к нему, конечно, доберусь.
За меня и камень Бога молит,
И слезой подёрнутая Русь.*

Отрывисто, самонадеянно? Но для вхождения в прежнее русло, может, и хватит – лишь бы не отпугнуть вот это, почти врасплох заглянувшее в душу.

*

Распад ударения в трёхсложных метрах... Надо бы это знать. Но сторонился, чтобы не внести рациональность, расчёт, механистичность в тот вдох и выдох, которые непредсказуемо дарует поэзия. Бросаться в неё, как в море, и параллельно оскорблять её судорожным раздумьем о метре и тропе – лучше утонуть, не выныривая.

*

Тайна слова. Она у Ивантера есть. И, казалось бы, не столько мистического, сколько подробно жизненного, порой очень будничного свойства. Здесь не шаманский транс с целью выхода в астрал, а проникновение в глубины зримого, вещественного бытия. И в соответствующие пласты речи. «Забота» этих стихов подчёркнуто повседневна и насущна, будто хлеб на столе и, что поделать, патрон в затворе. Но именно над всем этим распространяется, будто рассветное небо, пространство небудничной, в том числе мистической, духовности.

*

По-настоящему трудно сейчас писателям, формировавшимся в семидесятые–восьмидесятые. На них у государства надежды всего ничего – не смогут верить в миражи, рисуемые олигархатом, видеть оазисы там, где гуляют самум и барханы, где нет пригоршни обыкновенной воды – одна сплошная и бесконечная Сахара.

О кастальских же ключах для этого потерянного поколения и речи нет.

*

Клим Самгин как человек будущего. Хлипкий, мелкий герой в море губительно бушующих российских идей и страстей. Что-то вроде сегодняшнего европейца, который малодушествует и старается сохранять лицо, подыгрывает России и боится её как огня.

*

Иных писателей похоронили заживо, и при этом могильщики, как призраки, выходят из темноты, ободряюще похлопывают тени несчастных по плечу и говорят: «Ничего, всё образуется, всё будет хорошо».

*

Хаотичное и эклектичное читательское сознание. Такие же и писатели для него трудятся. Других, может, и у самого провидения в запасе уже нет, а я всё даю подсказки: надо искать по трущобам и запертым крепкими хозяевами подвалам.

*

Клим Самгин – это тот, кто победил революцию, сам того не желая. И в пятом, и в восемнадцатом, и в тридцатые, и в пятьдесят шестом, и в девяностые. Просто так далеко Горький его не повёл, да и зачем – без того всё ясно. Политически же ангажированный Нобелевский комитет был не очень прозорлив и не понял, какую роскошную подпорку «гнилому» буржуазному обществу притащил Горький в земную юдоль своим романом. И пролетел номинант из «коммунистической» России как фанера над Стокгольмом. Эх, холёные дяди, чужие места вы занимали.

*

Прозаик любит людей больше, чем поэт. Вести своих героев сквозь массу ситуаций, обстоятельств, переживаний, раздумий – это надо быть альтруистом, тягловой лошадей. А поэт, да если он ещё какой-нибудь суггестивный лирик, – отпетый, законченный эгоист. Не верьте этому наезднику Пегаса, так же, как не верит Бог и любит прозаиков – они ближе ему по духу.

*

Пишут по-разному: кто вяжет на спицах в кресле-качалке, а кто выбегает на холм в грозу и блеск молний, ругается со стихиями, плачет, ликует, порывается лететь, падает ниц в грязь и траву. Бросает вызов кому-то и чему-то, может, и самому себе.

*

Как много выветрилось из стихов – почти нигде хорошего русского языка и глубинного духа русской поэзии. Может, по жменьке осталось у почвенников, особенно из глубинки. Но у них тоже своя беда: нет класса, нет школы, изрядно раздёрганы непонятными им залётными завертями и веяниями.

*

Ахматова прозрачнее и насыщеннее, чем Андрухович или Забужко. Зато эти кудрявее и экзотичнее, а для многих (здесь и за рубежом) тем и любезны, что не скажут по-ахматовски:

*Нет! И не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл –
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.*

И вообще, столь определённо сейчас выражаться не принято. Не модно, не модерно. А может, всё гораздо проще – не по силёнкам быть такими сосредоточенными и цельными, как Ахматова? Может, слишком растекаются кляксы душ – не собрать в кровавый сгусток, чтобы писать сильно и внятно?

*

– Шестидесят – это дата. Много книг, много неплохих произведений. Какое у вас главное чувство сегодня как у писателя?

– Униженности. Растоптанности.

*

– Отсечь лирическое начало – и тоже будешь атеист.

– Необязательно отсекал. И без того такое накатывает, что тебе и не снилось.

*

Быков застолбил книгу в серии ЖЗЛ – аналитическое повествование о Распутине, заблудившемся в паре сосен примитивного, человеконенавистнического советского времени, как явствует из косвенных анонсов. Изощрённейший, раскрепощённейший журналюга либерально-махрового пошиба называет писателя жертвой и певцом распада, и так убедительно, так будто бы непредубеждённо, что, только поднапрягшись, видишь: ни великой любви к людям, к жизни, к небу, ни могучей славянской, русской, сибирской души Быков в своём препарируемом антагонисте не чувствует нисколько. Не дано.

*

Недопозтов хватало всегда, но чтобы стиль улицы и подворотни становился у них доминирующим и победно шествовал странами и континентами – этого, кажется, ещё не было. Даже в пещерные времена.

*

Нет чистого слова, родниковых творений хоть в поэзии, хоть в прозе. Вот хвалят Личутина за чудесный исконный язык. Но как этот язык аляповато выглядит на фоне Распутина или Астафьева и уж тем более недосыгаемого Рубцова. А ведь дальше Рубцова идти надо. Однако от него лишь откатываются, как от крутого берега – хоть поморы вроде Личутина, хоть кореновские кубанцы – имею в виду уже и Зиновьева. Упадок, упадок.

*

Критически судить о выдающихся произведениях – это лишь вытряхивать напоказ тараканов из своей головы. Иногда хочу сказать что-то непохвальное о «Марусе Чурай» Лины Костенко, но взгляну шире, более стереоскопично на кажущуюся «соринку» – перегруженность там бытописанием, навязчивую афористичность или что другое – нет, всё работает, всё отмечено высоким талантом. Руками такую вещь не слепить.

*

– Литературные варяги? Не надо преувеличивать их значение. Писателя подчиняет, растворяет в себе, полностью им управляет тот язык, на котором он пишет.

– Не скажи. Диной Рубиной сильно не поуправляешь. Распутин или Белова из неё не выкроишь и не сошьёшь.

*

Если Толстой не был уверен, что, уходя на охоту, не застрелится где-нибудь в лесу или в логу, то разве он не богооставленник? Уже написаны «Война и мир», он титан, каких в мире единицы – и такая пропасть неверия! И он всё время будет преодолевать её. До конца жизни. И не поймёт успокоительно и однозначно, что же там, за пределом.

Можно сколько угодно размышлять и полемизировать о непротивлении злу насилем, о любых других будто бы спасительных штуках, а берёшь ружьё, идёшь на охоту – и не знаешь, вернёшься ли.

Когда уж и гении живут с таким кошмаром в душе, то где нам, смертным, мнить о себе, веря во что-то более существенное, чем страх, уповая на что-то более милосердное, чем то, что видим и осознаём своим обыкновенным разумом.

*

Дворянин, судя по Толстому, ближе к отчаянию, вселенскому одиночеству и нигилизму, нежели простолудин – судя, скажем, по мне. Много

ведать и чувствовать – вещь убийственная. И много иметь – столь же недешеполезно. К чему Ясная Поляна и много крепостных? Лучше двушка-трамвайчик в «хрущобе» и скромная писанина в стол. С тайными идиотскими надеждами на лучшее.

*

То, что попало под власть мысли и слова, уже принадлежит человеку. Может, не навсегда, а временно, поскольку эта борьба на линии соприкосновения двух начал происходит с переменным успехом.

Нам неизвестно даже, до конца ли Творец пронизывает своей мыслью все пространства, не приходится ли и ему завоёвывать их шаг за шагом.

*

«Извечный спор правды и поэзии, документального и художественного», – уже и так вот принижают поэзию: противопоставляя её правде. Хотя поэзия и является высшей правдой. Она бог над плоской «документалистической» мира.

*

– Стихи не сочиняются – берутся из энергоинформационного поля планеты. Почти в готовом виде. И, явленные, обогащённые прочтениями в здешнем измерении, снова возвращаются в ноосферу, напитывая её всё новыми живительными силами.

– Прагматики этим и пользуются – футболеят поэта за облака, пусть там и живёт, не опускаясь на землю и не мешая серьёзным людям делать их гешефт.

*

Правка Шолоховым «Тихого Дона» – вот школа и для писателя, и для редактора. Это что-то невообразимое.

*

Если мата нет в стихах, они на определённый читательский контингент не действуют.

*

– Что ни возьми – «Соловецкую чайку», «Кострожоги», «Бурундук», «Жизнь! Нечаянная радость...» – суховато, уступает открытости и «наиву» рубцовского, хотя бы и такого:

*С утра носились,
Сенокосили,
Отсенокосили, пора!
В костёр устало
Дров подбросили
И помолчали у костра.*

Какой-то неуловимый поворот настроения, какая-то магическая интонационная подсветка – и ты во власти этих стихов. И понемногу понимаешь, почему Рубцов недостижим и единственен.

– Посиди он в «ГУЛАГе» – никакого Рубцова бы не было. Неизвестно, поднялся бы хоть до плеча Жигулину. Кстати, сейчас Жигулин обрастает всё более объёмными смыслами, становится ближе современности, а Рубцов устареваает, уходит в прошлое, причём акцентированно советское.

– Мы говорим о поэзии, а не о временах.

*

– Недавно я прочитал статью о трансмодерне, – делится бескручинно молодой служитель муз, – и понял, что пишу именно в этом стиле. Каково?

– Ничего особенного. Идеи действительно сначала носятся в воздухе, находя своих бессознательных проводников, и только потом становятся массовым бедствием.

*

Дневник – не такое уж и свободное движение мысли, чувства. В русле слова им вообще тесно, а тем более в таком узком и каменистом, как дневник. Он, разумеется, не документалистика, но и не поэзия, и не роман-эпопея.

*

Свобода зависит не от формы. Свобода зависит от содержания.

*

– Борис Херсонский? Изощённо, однако чересчур описательно. И в глубинном поэтическом смысле – фикция, ни о чём. А для русского – так ещё и путь в никуда. В безродное, космически обесточенное пространство.

*

Мастера художественного свиста. Ух, какие раскидистые рулады на политических ток-шоу можно от них услышать! А дела вот чегой-то не видать. Дело и свист – разные вещи.

*

Я трудился в издательстве, постоянно при этом подрабатывал, тоже в основном редактированием; была и третья пахота – самая главная и самая бесплатная – собственное творчество, не отпускающее ни днём ни ночью, не дающее передышка. Оно, пожалуй, по-настоящему и наполняло смыслом эту жизнь, не давало тяготиться ею, добавляло дерзновений и азарта. Собственно говоря, если есть творчество или если ты, допустим, как монах, постоянно держишь в сердце Бога – сюда стоит приходить.

– Да-да, и стоит жить, пока не исчерпаешь всю эту «хотелку», – отвечает кто-то из не очень хороших парней, прячущихся во мне самом же.

*

– Я пишу, а доносят до читателя пусть другие.

– Донесут, не бойсь. Но не до читателя, а туда, куда надо.

*

Рэперская культура сначала бочком, бочком, а теперь танцует в поэзии, как пьяный ухарь на похоронах.

*

Круто у Пушкина: «...их должно резать или стричь». Так и делают. Но у того отчаяние, а эти как здоровое руководство к действию приняли – стригут и режут, режут и стригут. «К чему стадам дары свободы?»

*

Снижена планка – и на уровне мастерства, и на уровне содержательности. Но если относиться снисходительно, то это вроде и не графомания, а литература. Некая «свободно» понятая её ипостась.

*

Поэзия надрыва, неприкаянности, пропащести. А какая, тем не менее, парадоксально бодрая, жизнеутверждающая, восклицательная:

*Я люблю судьбу свою,
Я бегу от помрачений!
Суну морду в полынью
И напьюсь,
Как зверь вечерний!*

Наркотическое, болеутоляющее лирическое начало в каких-то жутких обстоятельствах – и экзистенциальных, и трансцендентных. Загадка русской души. Мистический, непобедимый, надмирный свет и затаённое здешнее отчаяние. Рубцов.

*

– Валентина Распутина отрубили от литературы вполне буквально – проломил голову. Ещё до перестройки. Несколько тяжелейших операций, боли на всю оставшуюся жизнь. А непосвящённые, в том числе и я, думали, почему это он сдаёт в творчестве. Особенно – в постсоветские годы, когда его нового слова ждали миллионы. Да потому, что заблаговременно был отключён от полноценной работы.

*

Настойчиво развивалось исконное, по-настоящему глубинное и сокровенное в русской поэзии – и в самом концентрированном виде наконец явило себя в Есенине и Рубцове. Неужели продолжения не будет? Неужто исчерпалось это направление? И дальше – только размазывание каши по тарелке? Взрослыми чистоглазыми детьми, затолканными в психушку.

– А дальше будет? И если да – то что?

– Что-то да будет. Не может быть так, чтобы ничего не было, говорят в народе.

Февраль 2014 – декабрь 2015



Галина
ПОЛИТОВА

«ЭТО БОЛЬШОЕ ПОРУЧЕНИЕ...»

К 85-летию со дня рождения Виктора Политова

21 апреля 2020 года исполнилось бы 85 лет со дня рождения поэта, прозаика и талантливого донского рыбака, члена Союза писателей Союза ССР с 1981 года Виктора Ивановича Политова.

Родился он в семье потомственных казаков Обдонья Волгоградской области. Дед по матери – Устинов Иван Андреевич – крестьянин, дед по отцу – Фёдор Яковлевич Политов – рыбак-профессионал.

По мнению немецкого учёного Ганса Ф.К. Гюнтера, казаки – это не беглые со всей России. Если вычленить среди родовых казаков единый расовый тип, то это потомки сарматов. Их ближайшие родственники – украинцы, хорваты, сербы, словенцы, черногорцы, южные баварцы, австрийцы Тироля, а также осетины. Всё это люди динарской расы, которой свойственны общие психологические черты: способные и жизнерадостные люди с чувством юмора. Им присущи прямота, а также особое чувство чести и любви к родному краю, гордости за него, соблюдение традиций. Хорошие актёры и коммерсанты. Все они имеют особый музыкальный дар. Это самый музыкальный народ из всех: от Паганини, Шопена, Верди до Моцарта и Вагнера. Казаки привозили себе жён со всех военных походов по югу Европы, угадывая родство.

Такое наследство у Виктора Политова. Мать его, Дарья, на которую он похож внешне, была шоколадно-смугла, красива, с огромными светлыми блестящими глазами, за что её «дражнили глазанкой». Отец – черноволос, лобаст, нос картошкой. Глаза жёсткие, пронзительные, память незаурядная – вот это наследство получил Виктор от отца. Тот был достаточно образован, любил покрасоваться начитанностью, поблистать на сцене.

В доме деда Устинова поклонялись лопате, мотыге, граблям, но не книгам и авторучке. Профессию свата, Фёдора Яковлевича Политова, рыбака-профессионала, считали бездельем, хотя, в отличие от Устиновых, тот имел два дома: один на хуторе Точилкине Кумылженского района, где оба рода проживали, а другой – дом в окружной казачьей станице Усть-Медведицкой (теперь – Серафимович).

Отец Виктора, Иван Фёдорович – и первый комсомолец на хуторе, и печать у него сельсоветская – грамотен. Увидел, что разоряют таких трудяг, как его тесть, понял всё, сдал печать, порвал комсомольский билет, подхватил свою красавицу Даньку

и рванул на Донбасс. Туда бегали казаки, а «хохлы» от своих бед – на Дон. Родственники...

Так что родили Виктора не на родной земле предков – Донщине, а на Донбассе, в станице Хрустальной, что его очень огорчало. Удирал он оттуда к дедам на Дон. Виктору, кроме Дона, родной земли не было. Сюда он возвращался из всех своих странствий и побегов.

Непутёво складывалось детство у Политова. А тут и война пришла на Дон. Встретил её он семилетним на собственном дворе. Видел столько зла, горя, лишений и смертей, что душа его могла запечься в жестокости. Но, как писал о нём Яша Удин: *«К счастью, он воспользовался единственной в такой ситуации отдушиной: целью и смыслом жизни стало творчество, и тем самым сохранил душу в чистоте и светлости».*

Вот как он сам оценивал состояние души своей:

«Душа у меня, что ль, ненормальная. Или правда искалеченная. Мне всё больно. Я до того люблю наш мир, наши звёзды, и наши озёра, и Дон, и всё вокруг, что мне больно, мне постоянно больно, когда я остаюсь один где-нибудь в лесу, или на лугу, или на берегу озера или Дона, или вот в этом хуторском саду. Нет, одному мне вообще нельзя оставаться. И как люди не понимают, что нельзя оставлять человека одного. Что когда человеку не с кем разделить все эти звёзды, и лунные ночи, и разные, всякие, дождливые ли, солнечные, тихие или буйные дни, когда он вынужден всю эту боль нести в себе один – это почти невозможно...»

Так и родится поэт или писатель, деля свою душу с чуткими читателями, себе подобными.

Уже при мне первые свои стихи о войне и Сталинграде Виктор сшил из листков в маленькую рукописную книжечку и отправил в Союз писателей, в Москву, Константину Симонову. Симонов очень внимательно прочёл всё. И построчно своей авторучкой с чёрными чернилами отмечал плюсы или минусы, а многое было с восклицательными знаками. В конце добавлял, что давно не пишет стихов, потому не считает себя вправе критиковать. Дал Виктору собственный домашний адрес. Но к Симонову Политов ехать не дерзнул...

В 1969 году нам пришлось переехать в Саратов. В городе никаких производств не было, где можно было заработать больше ста рублей, а росла дочь, росли потребности и у самих. Проездом с Дона в Саратов, в Волгограде Виктор зашёл к земляку Ивану Данилову, тот, провожая Виктора на поезд, на вокзале купил маленькую брошюрку издательства «Огонёк». «На, – говорит, – почитай, как надо писать!» Политов взгляделся... Виктор Астафьев... «Ясным ли днём». Имя автора было ему незнакомо. Впоследствии Виктор прочитал всё астафьевское, что нашёл, и понял: «Это же моё!» И, преодолев робость, в январе 1972 года сразу с письмом послал Астафьеву повесть о рыбаках. Так началась их пятнадцатилетняя переписка, которая решила судьбу Политова.

Ответ вдохновил: *«Прочёл с удовольствием. Талантливо, местами очень, хотя и есть налёт некоей романтической дешёвизны... Сократите повесть страниц до пятидесяти, будет очень славно, динамично и драматично. А образности, внутренней самоборьбы, хорошего языка и даже пластичности в вещи уже достаточно...»*

Год спустя, 10 января 1973 г.: *«Дорогой Витя! После тяжёлой и продолжительной болезни я первый раз за столом (считай, за писательским станком!)... когда уж мог читать, но не мог работать, прочитал ВСЕ скопившиеся у меня рукописи, в том числе и твою повесть.(...) Способности*

твои несомненны... Повесть интересна, достоверна, порой больших музыкальных высот достигает и крепко берёт за душу. (...) Вот это и есть высшее мастерство, когда говорят одно, а ты ищешь совсем другое и понимаешь горе ещё острее...»

В 1973 году Астафьев знакомит Политова заочно со своим другом – фронтовиком Евгением Ивановичем Носовым.

В 1974 году Носов написал Политову: *«Дорогой Виктор! Спасибо за книжечку стихов. (Это маленькая первая книжка, изданная в Волгограде.) Я её прочитал сразу же, как вскрыл конверт. А потом уж читал своим друзьям. Тебе знакомо это, когда что-то тебя задевает, волнует – всегда хочется поделиться с кем-нибудь. Уже по стихам чувствуешь, что в тебе бьётся самобытное сердце талантливого русского человека. Почему «уже»? Потому что для меня стихи – это вроде предбанника. Сама же баня – это могучая, как твой Дон, проза... А сегодня утром дочитал твою повесть, и у меня праздничное от этого настроение. Много минут истинного наслаждения получил я от чтения этой вещицы. Вот прочитал, и жалко отправлять рукопись в журнал, жаль с ней расставаться...»*

Как бы выжил в литературе Политов без таких опекунов? *«Ваши крестник»* – подписывает Виктор письма к Евгению Ивановичу Носову.

В 1988 году уже часто болеющий Носов радуется приобретению Виктором 200-летнего куреня на хуторе Берёзки, своего угла и куска земли. И учит, как сделать коптильню для рыбы.

А в открытке в ответ на поздравление Политова пишет: *«А книжка выйдет – пришли. Я твои книги чту, как хороших друзей. Сейчас такие открытые строчки, несмотря на гласность, редки, как и хорошие люди. Так что ты не сетуй и не ленись, а давай пиши. Это не тебе нужно, это нужно миллионам немых, которым БОГОМ не дано за себя сказать. Так вот ты говоришь за них – они тебе поручили. Это большое поручение! Исполни его... Обнимаю. Е. Носов».*

Уже нет всех троих. Первым ушёл старший, Виктор Астафьев, в 2001 году. Я поделилась с его женой Марьей Семёновной Астафьевой половиной писем Астафьева к Политову для музея. Эти письма – та же художественная литература. Вторым – Евгений Иванович Носов в 2002 году. Письма Носова к Политову – радением сына Носова, Евгения, и Евгении Дмитриевны Спасской – входят в пятитомник Евгения Ивановича, а также в две огромные книги переписки Носова со многими, многими.

Последним ушёл Виктор Политов. Носову в этом году исполнилось бы 95 лет, Политову – 85, а души их продолжают свой труд, завещанный от Бога, как писал Евгений Иванович Носов.



**Виктор
ПОЛИТОВ**



ЕСТЬ МАЛЕНЬКИЙ ХУТОР У ДОНА...

ГРУСТЬ

Вхожу в вечернюю прохладу,
К лесным озёрам выхожу
И затаённо грустным взглядом
За нашей юностью слежу.

Она прошла здесь осторожно,
Легко раздвинула кусты
И скрылась в трепете тревожном
Лесов осенних и пустых.

Туманом озеро дымится,
И неподвижно спит камыш...
Вспоминанья словно птицы
Плывут в безоблачную тишь.

Какие зори здесь бывали!..
И чудится: сейчас вот, вдруг,
Вновь огласятся лес и дали
Далёким детством нашим, друг.

Но грустно здесь. Заря на плёсы
Малиной спелой прилегла.
Не стонут песней сенокосы,
И не кричат перепела.

И стог, никем не разворошен,
Стоит, как необжитый дом...
Бывает грусть такой хорошей,
Что расстанешься с ней с трудом.

Настои трав. Серебряный туман.
И тишина задумчивого леса.
Зачем пришёл сюда я, хулиган,
Ведь здесь совсем не слышно птичьих песен.
Пускай луна струится сквозь кусты,
Как жёлтый хмель, ко мне стекая в душу,
В моих глазах, холодных и пустых,
Уже ничто покоя не нарушит.
А осень спит холодным, чутким сном,
И хорошо вдыхать мне запах сена.
Пускай совсем, совсем я не Есенин,
Но знаю я об этом обо всём...
Настои трав. Серебряный туман.
И тишина задумчивого леса.

Люди, люди – лебеди без крыльев.
И летать не каждому дано,
А меня охотники давно
На заре на утренней подбили.

И, роняя кровь, летел я ввысь,
Чтоб ещё полётом насладиться.
Всё равно душа осталась птицей,
Только больше крылья не срослись.

И когда алеет горизонт,
Я зари той самой отклик слышу.
Если б мне лететь тогда повыше!
Но в судьбе не каждому везёт.

Трудно с переломанным крылом,
Хочется туда, в простор небесный.
На земле для всех хватает места.
Что ж мы рвёмся к солнцу напролом?!

Люди, люди – лебеди без крыльев.
И летать не каждому дано,
А меня охотники давно
На заре на утренней подбили.

Есть маленький хутор у Дона
С папахами чаканных крыш.
Там окна глазком затаённо
Глядятся в вечернюю тишь.

И падают сумраки в омут,
И верба грустит у плетня.
Там песней казачки застонут,
За душу хватая меня.

А выйдет ли та, я не знаю,
Накинув пуховый платок,
И жгуче окинет глазами,
Струящими синий поток.

И вскинет томительно руки,
И к сердцу прильнёт, горяча.
На всю мою ревность и муки
Не станет никак отвечать.

Не выйдет она...
И не надо...
Так что же ты, сердце, стучишь?
Безмолвна чужая левада,
Бездумна вечерняя тишь.



**Виктор
САЗЫКИН**

КРУТОВЕРТЬ БЕСПРОБУДНАЯ

Главы из романа

ПРОЛОГ

Даже по прошествии многих лет я так и не разгадал, что произошло со мной. Имею в виду даже не те поразительные бредовые видения, о которых речь будет в моём повествовании, а сам факт выпадения из времени. Впрочем, о подобных «чудесах»: НЛО, пришельцы, иные миры и иные планеты, обитаемые, дружелюбные и недружелюбные – сейчас об этом говорят все кому не лень. Но одно дело – говорить, а другое – пережить самому. Я там был. Мне кажется, я точно там был. А воображение – это всего лишь подсказка.

Так и вижу: апрель, 1995 год.

Ангел Света, девятый по чину, стоит на склоне Боевой горы – самом высоком в городе месте, где некогда располагалась сторожевая крепость, а теперь раскинулся городской парк со всеми атрибутами современности. Среди пролысин усыхающей столетней дубравы, иссечённой асфальтовыми дорожками, гигантскими пауками растопырились механические аттракционы и вполне обжились частные ларёчки с увеселительными заведениями и нефункционирующей танцевальной площадкой («для тех, кому за тридцать»). Тут и там пригорюнились кассовые будки в виде декоративных скворечен; посетителей, увы, раз-два и обчёлся: не до игрищ и не до зрелищ – не дай бог жить в эпоху перемен!

Застывшим пунктиром сбегает вниз с горы сломанная канатная дорога... Внизу мелькают редкие прохожие. А ведь совсем недавно жизнь ещё кипела: громыхали заводы, гудели поезда...

-
- Виктор Алексеевич Сазыкин родился в 1956 году в селе Кривозерье Пензенской области. В 1978 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт. Литературным творчеством начал заниматься в середине 80-х годов. Участник Всесоюзного совещания молодых литераторов в Москве (1989). Учился на Высших литературных курсах при Литературном институте имени М. Горького. Публиковался в газете «Литературная Россия», журналах «Сура» (г. Пенза), «Странник» (г. Саранск), «РуЛит» (Башкирия), альманахе «ЛитЭра», а также в сетевых изданиях. Автор книг прозы «Возмездие за веру» (1990), «Тень-жена» (1995), «В белых тогах, как боги...» (2000), «Лилии белые» (2004), «Ангел-расстрига» (2006). Лауреат международного литературного фестиваля «Славянские традиции-2010». Член Союза писателей России. Живёт в Пензе.

Ангелу доподлинно была известна история Сурграда. Славный провинциальный городишко! Отсюда немало вышло известных писателей и поэтов. «Ох, уж эти мне поэты! – думал он с лёгкой иронией на прекрасном лице. – Жизнь всё ухудшается и ухудшается, а поэтов, странное дело, становится всё больше и больше: в кого ни кинь – поэт. Правда, настоящих стало мало, демон Харут, пожалуй, прав...»

По долгу службы Ангел неоднократно посещал этот городок, а теперь вот – по прямому указанию Пресветлой Госпожи: надо спасти одного горе-мыку, за которым, впрочем, он приглядывал и раньше. Но почему Госпожа приказала вызволить именно этого горе-литератора? Значит, нашла что-то ценное в нём? Ангел в который раз умозрительно просмотрел досье на подопечного и подивился никчёмности его жизни. М-да... ничего не скажешь – бе-до-ла-га! Тем не менее в иных поступках, в некоторых неумелых строках его было что-то и симпатичное. Наверное, Госпожа, известная своей любовью к поэтам и писателям, потому-то и заступилась за сердешного. Что ж, наше дело – исполнять.

Ангел расправил невидимые волшебные крылья, и две покуривающие неподалёку студентки, очевидно, сбежавшие с лекций ближайшего института, не успели и глазом моргнуть, как молодой светлокудрый мужчина в хорошем демисезонном пальто и кипенно-белом шарфе, но какой-то всё-таки странный, миг исчез с их глаз. Студентки недоуменно переглянулись, сдержанно хихикнули: глюки, что ли? Это, наверное, от травки, подумали обе.

Издали, со стороны храма Жён-мироносиц, слышался редкий благовест. Шла последняя неделя Великого поста. Страстная.

А я, грешный, загулял. Да и горе у меня было.

Глава 1

НЕ БУДИТЕ МЁРТВЫХ!

Расположившись по-домашнему на вечернем погосте, я немного выпил и какое-то время сидел задумавшись возле остывающей свежесцветастой могилы. На городских кладбищах венки-обновочки по перестроечному обыновению вымазывают краской, на сельских, слава Богу, до этого не дошло. «М-да... нет спроса – нет и мародёров», – бродили у меня усмешливые мысли. Сине-холодный накрапывал вечер. Кое-где среди могильных кустов клочками белели остатки ноздрястого снега. Зря, конечно, упустил я попутку. Но ничего, другая пойдёт. «Вот сейчас посидим тут немного, и обязательно сегодня же надо добраться до города и отыскать Раю», – думал я и был уверен, что Рая, жена, у тётки Таи. А где же ещё? Не у брата же своего, бандюгана?

И ещё у меня мелькала мысль, что завтра уже Пасха. Именно завтра. Хотя до Пасхи было целых три или четыре дня. Но вот же втемяшилось: завтра, и баста!

Накануне я пришёл домой (где снимали квартиру) и ни с того ни с сего закатил скандал. Поводом был неприятный ор сиамского кота, в сущности, ещё котёнка, которого подарили нам знакомые со словами: «Он принесёт вам счастье». Вот и принёс. Котёнок вообще-то озорной, забавный. Пятилетний сын Славик мог играть с ним часами, да и Рая иногда баловалась как девчонка: привяжет фантик к ниточке и дразнит. Даже я порой включался в эту игру. И всё бы хорошо, но у подрастающего сиамца появилась дурная привычка подолгу истошно орать. Хмельной рукой я и вышвырнул его во двор,

а Рая по-дурацки обидел. Котёнок, кстати, куда-то запропастился. А бедная Рая – она растерялась, заплакала. Но её слёзы только распалили меня, чего раньше со мной не бывало. Жена торопливо собрала сына и ушла. Я не удерживал и не пошёл искать их. Пометался, пометался по хате... Вдруг втемяшилась давняя злокозненная идея: сжечь оставшийся тираж книги – книги, с изданием которой я так намучился и которая оказалась никому не нужна...

Долго жёг, но всё-таки сжёг до последней страницы. Вернулся домой (была уже ночь), брякнулся на постель и мгновенно уснул. Но наутро, протрезвев, тотчас поспешил к тётке Тае, полагая, что Рая со Славиком там. Мысленно я просил у неё прощения и воображал, что вот мы уже помирились... Однако, пока шёл, умонастроение переменялось: как будто кто-то другой ехидно стал нашёптывать мне, что хорошая жена от мужа не убегаёт. Причём так навязчиво эта подлая мысль засвербела в мозгу, что душа в конце концов взбрыкнулась и откликнулась оскорблённым самолюбием, и я раздумал идти мириться – сама придёт, если надо. Завернул в ближайшую распивочную. Затем пошёл в редакцию. Написал какую-то ещё загодя придуманную туфту на криминально-торговую тему и вдобавок настроичил статейку: будто в моём родном селе, в Чернозелье, группа молодых людей (пареньки и девушки лет по шестнадцати) недавно видели НЛО – неопознанный летающий объект, который необъяснимым образом навёл на них ужас, и они разбежались кто куда.

О факте этом – да, именно о факте, если это не была массовая галлюцинация! – мне рассказывал мой двоюродный братец, и я подсмеивался над ним: «И ты тоже убежал, бросив свою девушку?» «Да ты не представляешь, какой ужас!» – выпучив глаза, оправдывался он. Я ему не совсем поверил, но пообещал написать в газету. И вот теперь с юморком описал услышанное, показал редактору Стасику Липкину, тот, не поняв юмор, живо одобрил (вкус к таинственному он перенял от своей предшественницы Риммы Хайруловой) и пообещал поставить в номер, а я остаток дня волюнил, изнывая от тоски и скуки.

Вечером при мысли, что дома никого нет, идти туда ужасно расхотелось, и ноги сами понесли меня к тётке Тае. Но чем ближе подходил к её дому, тем настойчивее тот же вчерашний голос внушал мне: хорошая жена, что бы ни случилось, от мужа не уйдёт, с мужем будет до конца! Я опять приостановился и, мучительно пораздумав, идти или не идти, решил освежить мозги кружкой пива. Свернул в недавно открывшийся кабачок-подвальчик, где было сумрачно и немногочленно.

Скоро ко мне подсел какой-то отставной майор, от которого, как выяснилось, тоже ушла жена, но ушла к бизнесмену-любовнику. Майор пьяно скорбел, что у него теперь нет нагана, иначе бы он застрелил гада. «Ты хоть морду ему набил?» – спросил сочувственно я. Отставной презрительно оглядел себя и развалистым жестом рук дал понять, что не вышел экстерьером супротив соперника, умыкнувшего у него жену, но будь у него боевое оружие – укокошил бы!

Зато у майора были деньги, которые мы и просвистели. «Помирись! – суровым тоном говорил мне майор, узнав про семейные нелады мои. – Если баба не изменила – мирись! – И, громыхнув кулаком по столу, крикнул на всю пивную: – Я те прика-а-а-зываю!»

И вместе мы пошли мириться с моей женой к тётке Тае. Но дорогой в темноте растерялись.

Очнулся я – ба! – на квартире у приятеля – художника Ферাপонтова, он же священник отец Семён. Сан он принял года три назад. Но скоро что-

то не заладилось у него с правящим епископом. Впрочем, по слухам и некоторым откровенностям самого Ферапонтова при случайных наших встречах, было ясно: с недавних пор Владыка недоволен скандальным поведением молодого священника, да и само творчество художника-авангардиста, религиозно-дерзкое по своей сути, вызывает у Его Пресвященства явное раздражение, если не сказать более. Словом, отец Семён впал в немилость и теперь, лишившись постоянного прихода, скитается, подменяя батюшек-коллег, по захудалым приходам епархии. Сегодня оказался дома. Я не виделся с ним давно – чуть ли не с год. Раньше, до пострига, мы близко дружили. Нередко я бывал у Ферапонтовых дома. А потом что-то и у нас не пошло... И вот надо – угораздило!

Ещё недавно молодой и жизнерадостный, Ферапонтов сильно изменился: зарос волоснёй, раздался в плечах и поясице, заматерел и заугромел – таким я его видел и при последней нашей встрече на улице, когда уже пошёл слух про его опалу. Но сегодня, на удивление, он был в добродушном настроении. Матушка Лариса торопливо собиралась на работу в больницу. Увидев, что я проснулся (она ко мне всегда очень хорошо относилась), сначала пожурила-постыдила:

– Всю ночь бестолковничал, спать не давал. То домой рвётся: «Куда, куда?! – Держим тебя. – В милицию же попадёшь!», то заладит одно и то же: «Я виноват перед ней только в одном: что не сделал её счастливой». Полчаска пройдёт, встаёт – и опять: ах, он не сделал свою Раечку счастливой! Бедная Раечка!

Затем сочувственно спросила: правда ли, что Рая ушла от меня?

– Хорошая жена от хорошего мужа не уйдёт, – с похмельной усмешкой ответил я, вспомнив навязчивую вчерашнюю мысль.

– Ну конечно, – бойко вскинулась опять матушка, – все жёны у вас плохие – одни вы хорошие! – И с тем же осуждением бросила взгляд на своего супруга, попа Семёна: – Доведёшь меня, я от тебя тоже уйду!

– Ты уж давно собираешься, – пробурчал (хотя и не без иронии) отец Семён. – Вот они тебе, бесы, на том свете язык-то прижгут за такое.

– Ой, достал ты меня со своими бесами! – с какой-то даже весёлостью ответила матушка. Потом несколько мягче: – Опохмели его. Кагор-то у тебя остался?

Я потягивал церковное вино, понемногу приходил в себя от вчерашнего и позавчерашнего непотребства.

Решился спросить, не без интереса, про скандальную картину отца Семёна «Не оставь души моей во аде!»: где она?

– Изъяли, – хмуро ответил Ферапонтов и больше не стал пояснять, настроение, похоже, у него испортилось.

Чтобы как-то загладить неприятное, я попросил показать новые работы. Отец Семён неохотно повёл меня в свою комнату-мастерскую, выставил несколько картин. Скупое, чтобы не переборщить, я похвалил почти все, но одна, как бы нарочито корявая, несколько мультяшная, и в самом деле понравилась... каким-то наивно-мрачноватым юморком: бесы, воровато оглядываясь, делают невидимый подкоп под восстанавливающийся храм; храм растёт-растёт, но всё более накрывается в бездну.

– И что сия аллегория означает? – спросил я с насторожённой улыбкой.

Комментировать отец Семён отказался:

– Кому надо, поймут. Наше дело – прокукарекать, а там хоть не рассветай.

В душе я не согласился, но промолчал. Обратил внимание ещё на одну картину, не прорисованную, но крайне любопытную: ночь; крохотная крестьянская избёнка, переполненная спящими домочадцами – кто на печке, кто на полу на соломе, кто на тёмных полатях; а в закуточке – отрок лет десяти стоит на коленях с огарочком свечи в руке и молится; лицо некрасивое, скуластое, но необычайно вдохновенное, светлое то ли от свечи, то ли от жаркой, недетской или, наоборот, как раз совершенно детской, то есть самой искренней молитвы.

– Кто это? – спросил я.

Отец Семён назвал имя местночтимого святого и неохотно добавил, что на этой картине он старца отроком изобразил.

– Говорят, ему ещё в детстве дано было Свет видеть. – И отец Семён мечтательно вздохнул.

Я похвалил картину. Возвратились за стол. Допили кагор.

В редакцию идти решительно не хотелось. И не пойду – ну их к чёрту! Подумал, не занять ли у отца Семёна денег, чтоб не с пустыми руками возвращаться домой. Но постеснялся, зная, что если у батюшки постоянного прихода нет, то и в карманах, обыкновенно, шаром покати. «Эх, жизнь, ё-моё!» – глядя на Ферापонтова, подумал я с сочувствием и заторопился домой в надежде, вдруг Рая вчера вернулась, а меня нет – что подумает? У женщин в таком случае одно на уме...

Пока шёл, придумывал объяснения. А чего, собственно, придумывать? Как было, так и расскажу. Неужели Рая не поверит мне?! Конечно же поверит. Главное – повиниться. А Рая поймёт и простит. «Дурашка ты мой, – скажет, – ну куда ты без меня? И я без тебя – уже не я». И всё у нас будет хорошо. Я найду себе другую работу – к чёрту газету! А роман про Чернозелье я всё равно напишу. И всё равно стану настоящим писателем! Главное, чтобы Рая со Славиком были рядом. Рая, Раечка, Раюшечка моя!.. И я уже ласкал жену в своём воображении.

Но дома её не оказалось. Зато хозяйка, живущая через стенку, принесла телеграмму: умер крёстный, мой дядя. Эта весть не была неожиданной, смерть Георгия Ивановича ожидалась, но вызвала в душе щемящую печаль и каким-то образом неприятно связалась с уходом Раи. И когда первой мыслью было сейчас же найти её, чтобы вместе ехать на похороны (крёстный, как и все мои родственники, любил Раю), я вдруг, наоборот, решил не искать жену, не сообщать ей и ехать один – почему, я и сам себе не смог бы объяснить. Но так и сделал.

На вопрос матери и других родственников, почему не приехала Рая (так не принято, потому что муж и жена должны горе и радость встречать вместе), я отвечал, что заболела, простудилась... Но все эти дни только и думал о ней и каялся, что не сообщил, не нашёл, не взял с собой – ах, какой дурак!

И вообще в те дни у меня было какое-то предощущение и своей смерти, отчего сердце в иную минуту охватывал хотя и лёгкий, но ознобистый страх: вот что-то случится со мной внезапное, и никогда-никогда больше не увижу ни Раю, ни сына, ни мать, ни родных, ни друзей... Я старался гнать прочь это пугающее чувство, тем не менее оно жило, оно таилось во мне – это чувство смерти, чувство вечной разлуки.

А ещё, когда принял телеграмму о крёстном Георгии, последнем из отцовых братьев, я подумал с тягучей печалью, что теперь безвозвратно откалывается и улетает в пропасть небытия целый пласт рода.

Думал и сейчас, сидя возле могилы. Но уже с какой-то печальной иронией, чуть смахивающей на невинное кощунство. И, между прочим, мелькало в уме, что завтра – Пасха, хотя был то ли четверг, то ли пятница.

– Ну же, вставай, крёстный, – произнёс я вслух с глупой усмешкой, – вставай, вставай, выпьем напоследок за завтрашнее воскресение из мертвых, хе-хе!..

И, засмеявшись, оборвался, почувствовал себя страшно уставшим, одиноким. Опять задумался и как бы немного забылся...

Внезапно испуганно очнулся. Уже вечерняя синева сгустилась до сизой фиолетовости, до влажной черносливной мглы. Потянуло холодной сыростью. И вдруг показалось, будто могильный холм медленно-медленно оседает: так оседает одеяло, когда непроизвольно выпрямляются колени у спящего... Какая-то тень колыхнулась...

– Кхе-кхе-кхе, – послышалось рядом, слева, сбоку.

Я оглянулся: о, ужас – крёстный!

– Кхе-кхе... Испугался? – спросил, кхекая, тот (о Боже, воскресший!). – Сыро там, сыро, – просипел. – На ферме, бывало, в коровнике, и то суше. Бывало, залудишь бутылёк, прилягешь в уголке на свеженькую соломку – и те сам чёрт не брат... кхе-кхе-кхе... А таперича вот... О-хо-хо-хохонюшки, плохо жить Афонюшке, – притворно-плаксивым речитативом запел мертвец, – плохо жить Афонюшке на чужой сторонюшке. – И, умолкнув, негнущимися худыми пальцами выжидательно прикрыл голубовато-фосфорические губы. – Да ты не бойся, – минуту спустя ободрительно сказал «крёстный», – сам же меня звал. – Папиросного цвета лицо, какое было у Георгия в гробу до похорон, подозрительно оживилось улыбкой. – Ну, спасибо за приглашение, крестник, кхе-кхе... Вот зараза, совсем простудился, кхе-кхе... Поищи-ка на могилах посудину какую-нито. Или постой, не надо. Давай из горлышка по очереди. Ну-ка... – Он дотронулся до бутылки длинной костистой дланью.

Когда-то у него была очень сильная рука, и редко кто из сельских мужиков и парней мог на спор потянуть его. И вот теперь от той мужицкой силы остался только жёлто-пепельный след... Но эта восковая рука наводила ужас на меня, хотелось вскочить и бежать сломя голову. Однако ж как зачарованный я смотрел на неё: вот рука взяла из моих рук бутылку, роботоподобно поднесла ко рту; раздвинулись пепельно-зеленоватые уста, запрокинулась совсем оплешивевшая голова, которую я стриг совсем-совсем недавно, дёрнулся небольшой кадык, поверх которого торчком стояли недовыбранные при омовении седые волоски... Мертвец сделал крупный, неторопливый глоток и так же медленно подал бутылку обратно, жутко поморщился и замедленно, по-собачьи передёрнулся.

– Сам-то чего не пьёшь? – спросил покойник, кивнув на возвращённую бутылку.

Мертвящий гипноз мало-помалу отпускал меня, и страх, как обезболивающая заморозка, истаявал. Ноздри, например, учуяли раздражающий запах нафталина, исходящий от пиджака. Запах этот почему-то пробудил любопытство и странное бесстрашие: мне захотелось кое о чём спросить...

– Пей, пей, чего сидишь? – добродушно говорил сотрапезник. – Выпей да иди, не булгачь зря, а то ведь мне на мытарства скоро, подготовиться надо: ну, шпаргалки для ответов, ну, мыта по карманам рассовать. А там ещё и неизвестно, куда попадёшь, в ад или рай...

Какое совпадение! Об этом-то я и хотел спросить.

– Крёстный, а мытарства в самом деле есть?

– Есть, есть, племяш, кхе-хе-хе, – то ли закашлялся, то ли засмеялся тот. – Пей да иди. Чё зря калякать об этом? Как-нибудь потом, потом... – Вяло махнул рукой. – Иди, иди. Да свечку за меня не забудь поставь. У меня грехов о-го-го сколько! – И мертвец грустно-грустно задумался.

Я машинально приложился к бутылке, но поперхнулся при мысли, что к горлышку только что прикасались губы мертвеца, тоже закашлялся, на глазах выступили слёзы, и в голове как-то всё помутилось...

Очнулся с ощущением, что прошёл какой-то промежуток времени: минута, две... Или час?.. Кругом было тихо. Тонкой цыганской серьгой проступала на небе луна. Я сидел в странном оцепенении. Вдруг слышу – но уже не сбоку, а напротив:

– Эй, крестник? Племянник? Поднимайся, чего расселся, покоя не даёшь. Уж какой день всё тут торчишь. Совесть поимей. Да и семья тебя заждалась. Иди, иди отсель. А вон как раз и машина едет, кхе-хе-хе...

Кольхнулась тень, и холм на моих глазах опять выпукло огорбатился, будто и не опускался. И опять тишиной покрыло всё.

Я огляделся – рядом никого. Что за чёрт?! Что со мной? Приснилось, что ли? Или померещилось? Однако надо спешить. Сколько же я сидел здесь? Замёрз как собака (меня и вправду зябко трясло). И вообще, зачем я здесь?.. Улепётывать, улепётывать скорей отсюда! Вон и правда, кажется, машина.

У меня мелькала мысль, что ещё не поздно, что если попутка возьмёт, я, может быть, даже успею на последний автобус из райцентра в Сурград, а не успею, переночую у родственников. Но лучше успеть: мне почему-то нестерпимо хотелось увидеть Раю и сына.

Подъехавшая машина плавно остановилась возле меня. Открылась дверка. Мужчина за рулём, несмотря на то, что ехал из Чернозелья, оказался незнакомым. И очень какой-то хмурной.

– Куда? – только и спросил он.

Я ответил:

– в Сурград.

– Довезу, – мрачно сказал водитель, и я обрадовался про себя: повезло, не на перекладных мыкаться: вжик – и через пару часов на месте.

Глава 2

ВСТРЕЧА С ГУМАНОИДАМИ, ОКАЗАВШИМИСЯ ЧЁРТ ЗНАЕТ КЕМ

Уже мчались сквозь темень по междугороднему шоссе Москва–Самара, и водитель-молчун походил на сурового астронавта. Пару раз заплетающим языком я попытался завести с ним разговор, но тот не повёл даже ухом. Странный какой-то. Ну и чёрт с ним! Да и не до него. Я пытался думать о Рае. Но пьяно-пльвучий туман накрывал сознание, веки стягивались. Незаметно я задремал. И снилось... Да сон ли это был?!

Снилось, будто еду я не на «Жигулях» с молчуном-водителем, а на автобусе. Еду, конечно, в город. И будто уже ночь. Холодная, весенняя ночь последней недели Великого поста. Но будто завтра уже Пасха. («Опять эта Пасха привязалась», – сквозь мутное сознание мелькнула остаточной трезвая мысль.) Вот уже и городские огни показались. Улицы. Светофоры. Вокзал. Я вылез из автобуса и почему-то безрадостный, понурый пошёл к тётке

Тае. Там Рая и сын. Но что же мне так грустно? Отчего такая тоска? Ах, да! Сегодня же схоронили крёстного Георгия...

Но вдруг что-то насторожило: безлюдье улиц, что ли, или этот свет какой-то неживой... Я приостановился... И тут – что за чёрт?! – вижу: ударил сверху фосфорический конус-прожектор – и онемели руки и ноги у меня, и всё существо парализовалось: почти неслышно жужжа и как бы вращаясь волчком, села в пяти-шести шагах от меня... «летающая тарелка»! Насторожённо замерла, лишь звук жужжания от неё продолжался. И вот одновременно распахнулись крылышками две дверцы и выпрыгнули изнутри два самых заправских чудо-гуманоида в гермошлемах и облегающем трико. «Неужели и вправду НЛО? – успел подумать я, не веря, однако, в действительность происходящего. И вдруг пронзила мысль: – Чёрт, да это же черти! Да не может быть!»

– Ваши документы! – строгим, несколько с гнусцой, но вполне человеческим голосом потребовал один из чудо-пришельцев.

На меня же нашёл столбняк.

– Живо документики! – с блатным наскоком подскочил другой, поменьше и покорее.

Что-то было в нём от шпаны. Есть такие уличные хулиганы, которые во все времена портят нервы прохожим, особенно в ночное время, когда некому заступиться. Как правило, по одному эти гиены никогда не нападают, а обязательно кодлой, стаей.

– Кто это там попался? – басовитый рык сверху.

Невольно, по привычке, я приготовился драться: а хоть бы кто они – я просто так не дамся!

– И рыпаться не смей! – предчувствуя моё намерение, строго предупредил первый.

И, как ни странно, я послушался. Каким-то образом я вдруг оказался в самой «тарелке», как бы на заднем сиденье. Оба чудо-молодца – по бокам.

– Ну-ка, что за документ? – впереди сидящий «гуманоид», огромный, без шеи, похожий, на вепря, но и чем-то на тюленя, стал разглядывать мой билет. – Ба! – воскликнул он, неуклюже боком повернувшись ко мне. – Да это целый писатель! Вот так улов! – И тотчас скомандовал: – На базу, ребята!

«Тарелка» взвилась, точно подпрыгнула, но тут сердце ухнуло, как оборвалось, и я догадался: мы стремительно полетели уже не вверх, а куда-то вниз, как в детстве с горки или как в отроческом сне с падением. Наконец остановились, но в «тарелке» ещё некоторое время что-то бешено кружилось-вращалось, и это каким-то образом передавалось мне, потому, когда вышли через нижний люк, меня покачивало, но я быстро пришёл в себя. Прийти-то пришёл, но по-прежнему казалось, что всё мне это как будто снится. И в то же время – уж больно всё реально...

У мрачных стрельчатых ворот, освещаемых мутным фонарём, стоял стражник с алебардой (ну, точно спектакль какой-то!). Он козырнул вепрю и открыл калитку слева. И меня повели по узким смрадным сходам. Стены справа, казалось, дышали жаром, стены слева – мрачным холодом. Смутно-смутно стало доходить до моего сознания, что это не сон, что я и вправду попал куда-то. Но куда?! Неужели в ад? Но как же так, думал я с недоумением?

И действительно: в полутёмной приёмной, куда меня привели, развалившись на кресле и поигрывая связкой ключей, сидел хмурной бес с ослиными ушами, очевидно, дежурный.

– Гляди-ка, Болотуй, кого я выловил! – довольно загромыхал вепрь-патрульный и, кинув дежурному мой писательский билет, что-то корот-

ко на непонятном языке пояснил ему, кивая на меня. Потом кряжисто сел в обширное кресло и закинул ноги-копыта на стол, добавив: – Доложи Харуту, пусть потешится.

Дежурный небрежно, с некоторым недоверием взял билет – и глаза его угольно загорелись.

– Вот это фрукт, тра-та-та-та (матерно)! – Вскочил он и с какой-то алчностью стал оглядывать меня, забегая то сзади, то спереди, то с боков. И вдруг с восторгом заорал: – Руки вверх, демократ бумажный!

Вывернул ловко карманы, снял часы, обручальное кольцо; обнаружив под рубашкой алюминиевый крестик на самодельной цепочке, радостно и брезгливо затрясся и так-таки снял.

– Та-а-ак, геть сюда! – приказал одному подчинённому. – Срочно разбудить Харута Марутыча! – И, присев за стол, с задором сказал: – А теперь составим протокольчик, дорогой профессор.

У меня от всего этого начала прибалывать голова и появилось чувство, будто я нахожусь против воли в театре абсурда и должен играть какую-то роль, которую совершенно не хочется играть...

– Отпустите меня, – сказал я, морщась и растирая висок.

– Чё-о?! – оттопырив ухо, удивился дежурный.

– Отпустите меня ради бога, – повторил я.

При этих словах прошёл гул, и всё помещение странным образом сотряслось, и все в смятении повскакивали с мест, а я неуверенно потянулся к столу взять свои вещи.

– Не смей! – в диком возбуждении завопил дежурный. – Ты что, не понял, член-корреспондент, где находишься?!

Гневно дыша, уселся опять на своё место дежурный, когда гул стих, а я стоял не то чтобы в страхе, а в какой-то несусветной растерянности: да не может быть, чтобы в аду!

– Может, может, – очевидно, угадал мои мысли Болотуй. – В аду ты! Понял? В а-а-ду-у! А там, – потыкал когтем в пол, – геенна огненная, а ещё ниже – тар-тара-ры, тра-та-та-та! Туда мы тебя и определим. А про Него, – дрожащим пальцем указал ввысь, – вообще не смей! Тут тебе не там, а там тебе не тут. Понял?

– Как? Разве я умер?

Я недоверчиво оглядел себя: ничего подобного! Однако в мыслях промелькнуло, что ведь недавно я как бы и предчувствовал скорую смерть свою. Но ведь этого не может быть! Вот я в той же одежде, в которой был и на похоронах дядьки Георгия...

– И дядька твой у нас, – добавил бес-телепат. – Не то что у нас в прямом смысле, но в косвенном мы его крючками с *мытарств* всё равно доставим: вино пил – раз, – загнул указательный коготь, – по бабам шастал – два, в не столь отдалённых местах бывал за кое-что – три. Словом, никуда не денется, не по этим, так по другим статьям срок пришлём до самой гузки.

– Кэп, где там у вас видеопрокол из чёрного ящика? – спросил дежурный. – Надо удостоверить клиента, что тело его сейчас находится в морге, а душа у нас.

Вепрь сделал знак одному патрульному, и тот живо откуда-то принёс чёрный чемоданчик. Кэп, как назвал его дежурный, отыскал в кармане ключ, открыл, вынул крошечную магнитную ленту, передал дежурному. Тот вставил в видеоманитофон, и на экране телевизора показались смутные кадры с изображением мёртвых обнажённых тел, наверное, и вправду в морге.

– Вон твоё, – указал дежурный на одно мелькнувшее на экране вроде как и вправду мёртвое тело, прикрытое простынёй до подбородка, но я добром не разглядел его. – Так что понял, профессор-демократ, где ты? На дороге тебя подобрали, – добавил дежурный, выключив видик и опять принимаясь за протокол.

– Я не демократ, – как можно спокойнее сказал я (морг и тела всё же произвели на меня впечатление). – И, кстати, не профессор. Я просто... писатель.

Писателем, однако, я назвал себя неуверенно, потому что не привык называться так: почему-то стыдился.

– Не пререкайся, – не отвлекаясь от протокола, заметил дежурный. – Не демократ он... Знаем мы вашего брата. Скажи ещё, что не коммунист. Фамилия, имя, отчество?

Я назвал. И добавил, что и не коммунист я, и никогда им не был даже в мыслях.

– Не кривляйся, – опять спокойно заметил бес. – И за коммунистов с тебя спросим, если найдём нужным. Коммунисты – они тоже разные бывают: одни наши, другие не наши. За всё спросим. И за мыслишки твои спросим. Когда родился, когда женился и всё прочее в подробностях – живо отвечай! И не врать – понял? Ложь строго наказуема. Это тебе не на том свете лажу сочинять. К тому же через два, максимум три дня все данные о тебе мы получим сполна: от зачатия во грехах и до сегодняшнего момента-инцидента. Понял? А в течение этих двух суток мы имеем право держать тебя здесь.

И я приобмяк. Но что-то настораживало... Например, эти вещи мои на столе: часы, кольцо, крестик, писательский билет...

– А они нематериальные, – перехватил мой взгляд дежурный, явно обладавший пси-способностями. – Это их копии, тени.

Тут откуда-то из-под земли, то есть из-под пола или чёрт знает откуда, послышался раздирающий душу многоголосый стон-крик: «Братия! Братия! Останемся ли мы навсегда здесь? Нет! Нет! О горе, братия! Какое страшное таинство смерти!»

Амоньч, услышав вопль из-под пола, грубо приказал своим подчинённым:

– Чего стоите? Ну-ка, идите, всыпьте этим горлопанам, чтоб заткнулись! Спокойно отдохнуть нельзя. Не караулка, а чёрт-те что. – И вновь прикрыл белёдые веки.

Молодцы патрульные живо свистнули ещё пару других из игравших за перегородкой в карты и, рассекая воздух самодельными кистенями, бросились со всех копыт в подземелье утюжить грешников.

– Так, – вернулся дежурный ко мне, – по всем приметам выходит, ты шовинист.

– С чего это вы взяли? – изумился я.

– Потому что вижу, что ты не любишь инородцев.

– Каких инородцев? – опять не понял я.

– Да всяких.

– Да у меня и друзья – татары, мордва... и знакомых полным-полно...

– А враги? Ведь врагов надо любить?

– Да нет врагов...

– Ага! Рассуждаем логически: если врагов нет, значит, и любить некого, в высшем смысле то есть, как говорит Харут Марутыч. А если любить некого, значит, и не любишь. Выходит, красно-коричневый...

– Да при чём здесь красно-коричневый? – удивлённый несуразной логикой беса совсем растерялся я. Но тот, казалось, и не услышал моё возражение.

– Так и за-пи-шем, – сказал по слогам, выводя пером на свитке, – красно-ко-рич-не-вый, не лю-бит родину и прочих.

– А родина при чём?

– Ну как «при чём»? Ведь не любишь родину-то? У меня же глаз намётанный, – бес издевательски скособенился и вскинул выпученный глазище на меня.

– Неправда! Я люблю!..

Мне почему-то подумалось, что бес, говоря про родину, имеет в виду моё родное Чернозелье, и я немного засомневался..

– Ну не стыдись, не стыдись, – подбодрил дежурный, – валяй колись: не любишь ведь, а?

– Просто мне больно видеть, как они там... чернозельцы, – выдавил я, уточняя, – некрасиво живут и мучаются..

– Ох, ох, ох! Какие мы эстетически скорбящие, какие мы гуманные... – передразнил бес, взял мой писательский билет и с явным глумлением стал разглядывать. – Ну как же, мы же писателя, нам же без скорбей нельзя: пресно.

Внезапно глумление на его роже исчезло, а появилась какая-то при-страстная заинтересованность насчёт билета: так и этак он повертел его в руках, понюхал, попробовал уголочек красной корочки на зуб. Недоуменно поскрёб затылок и, воскликнув «тра-та-та-та», вылупил на меня свои страшные гляделки:

– Да он у тебя недействительный!

– Почему это? – растерялся я.

И даже вепрь приоткрыл щёлочку одного глаза. И все вмиг насторожились.

– Вот же золотым по красному, – злорадно ткнул дежурный на надпись на корочке, – «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР», – прочитал он. – Ах, ты – член моржового, тра-та-та-та, Союза! А Союза-то, СССР-то нету! Упразднили. Значит, и билет тю-тю!

Амоньч ухватил меня ручищами-ластами за грудки и стал трясти как грушу:

– Ах ты диверсант! Ах ты фальшивщик времён застоя! Говори, з-з-за-раза, кто такой, не то вытрясу всего до донышка!

– Да какой я диверсант! – испуганно засопровтивлялся я что есть силы. – Оставьте меня в покое!.. Я суда... я адвоката требую!..

– Адвоката? – слышался сквозь позевоту чей-то негромкий голос. – Кто тут адвоката требует? Ну-ка, покажите мне его?

В приёмной адской кутузки появился новый персонаж.

Глава 3

ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ. ЗАБАВЫ В НИИ

«Личный адвокат и личный врач, – любил говорить Виталий Владленович Бердиченко, – вот отличительные признаки цивилизованного человека от дикаря. В Европе это уже давно норма». Редактор «Новой молодёжной газеты» вообще обожал выражения типа «европейская культура», «европейский уровень», «европейский стандарт» и тому подобное. Меня в своё время

познакомил с ним Никита Сыроедов, когда Виталий Владленович редактировал ещё старую «Молодёжку» (так «по-уличному» называлась областная комсомольско-партийная газета).

У меня, вчерашнего студента-расстриги, была справка о незаконченном высшем образовании и шабашнический опыт в строительных делах, поэтому после неудачных начинаний в родном колхозе в Сурграде я сразу устроился бригадиром участка в одной строительной организации (работ в стране ещё было по горло, будущей безработицей и не пахло). Организация эта вскоре станет первым в области строительным кооперативом, затем акционерным обществом, а когда начнётся приватизация, верхушка акционеров по блату отхватит такие жирные куски из госимущества, что недавняя невзрачная строительная конторка превратится чуть не в монополиста по строительству жилья во всей губернии.

Но к тому времени меня там уже не будет: не удержусь и полгода по причине, что возглавлял организацию близкий родственник первого секретаря обкома, впоследствии ставший генеральным директором, и ему сразу не понравились мои статьи (я, как только из Чернозелья переехал в Сурград, сразу же стал внештатным корреспондентом молодёжной газеты), где со всей силой молодого прорвавшегося таланта пошёл клеймить недостатки партийно-командной системы конца восьмидесятых. Разумеется, газетный материал в то время ещё цензурировался, но то, что называлось критикой, дозволенной провозглашённым плюрализмом, уже сильно припахивало крамолой, и я, не скрывавшийся за псевдонимом (имя моё замелькало в каждом номере), скоро под благовидным предлогом был уволен из строительной конторы прокоммунистически настроенным директором. Это только подстегнуло меня к дальнейшей борьбе с зашатавшейся советской системой. Правда, редактор «Молодёжки», с которой я сотрудничал, осторожный антикоммунист Виталий Бердиченко почему-то не спешил брать в штат талантливое, как говорили обо мне, и темпераментного журналиста, хотя знал, что я уволен с основной работы и материально бедствую.

И тут один из бывших сокурсников, маленький, но уже начальник, по своим связям помог мне устроиться в НИИ и получить место в общежитии. Да так удачно – комнату на двоих, но фактически на одного, так как сожитель скоро женился, но из общежития не выписывался в надежде получить квартиру (ещё давали бесплатно), поэтому никого ко мне не подсеяли.

К тому времени у меня уже окрепла и писательская силёнка. Патриархи местной литературы скоро заметили во мне искру божью, стали хвалить мои рассказы... Правда, не нравилось им, что я как журналист воюю с их режимом, но меня это только раззадоривало, тем более уже не чувствовалось в них былой уверенности.

О, молодость, ты скоротечна, как глупость! Пролетят твои годы – пырь! – как воробьи из-под застрехи.

Словом, мне уже было за двадцать, и в душе зрел непонятный нарыв.

Работа чертёжником-копировальщиком в НИИ, где я торчал второй год, стала тоже неимоверно осточертевать. Ежедневное однообразие угнетало: проходная, КБ, кульман, копировальный стол, дурацкие, никому не нужные, как я полагал, чертежи и целые проекты (раз в год приедет какая-то высокая комиссия из Москвы, начальство, по разговорам, устроит ей банкет, подпишут какие-то документы, отчёты, акты, получают новый план – и опять за старое) – надоело! И чувствовал я: не моё это. Мне хотелось писать. Профессионально. И публицистику, и стихи, и художественную прозу. Но Бердиченко по-прежнему упорно не хотел брать меня в штат, а местные патри-

архи грозились не пустить в Союз писателей. И я заметался: что делать? как жить и на что существовать? к кому прибиться? К счастью, редактор другой газеты, «Сурградская правда», с которой я тоже сотрудничал, намекнул, что скоро освободится место заведующего литературной частью и меня обязательно примут, а это сулило наладить более близкие отношения и с местной писательской организацией. Я весь наполнился нетерпением.

Глава 4

КОМОЛЫЙ ХЛЮСТ И ДЕМАГОГИЯ НА СВОБОДНЫЕ ТЕМЫ

– Адвоката? Кто тут требует адвоката?

В предбанник inferнальной кутузки, где оказался я, до конца так и не осознавая, что это – спектакль или реальность (в смысле иная реальность), вошёл несколько заспанный курносенький щёголь в костюме гуманоида цвета лилового баклажана, довольно-таки высокий, изящно обезьянистый.

– В чём дело, господа? Что здесь за катавасия? – забрюзжал он. – Меня поднимают среди ночи, я встаю, иду и вижу, – повёл он изящной когтистой лапой, – чёрт знает что! Бардак-с, господа! В чём дело, спрашиваю?

– Сэр!.. Простите, господин полковник, – выскочил ему навстречу дежурный, хлопнув себя кончиками вытянутой ладони по лбу и по ляжке, точно хотел пуститься вприсядку, но, очевидно, таким манером отдавая честь, – пишущего гада выловили, по вашей части будет, поэтому и вызвали.

– Пишущего гада? Неужели?! Похвально, похвально...

Присев на кресло дежурного, он, по всей видимости, довольный, потёр розовые обезьяньи ладони и заговорил после некоторого обдумывания:

– Ну, наконец-то вы, господа, вняли моим наставлениям. Если помните, коллеги, я всегда внушал вам: да оставьте вы девятую девять овец этого безмыслного стада и доставьте мне хоть одного соблазнённого праведника. Понимаю, понимаю, что праведниками нынче и не пахнет, не то что в былые времена. В наше время, можно сказать, днем с огнём даже плюгавенького праведника не сыщешь. В таком случае соблазните мне хотя бы какого-нибудь борзописца, обличающего, пусть даже мысленно, так сказать, общественные устои. А раз устои, то это уже по нашему ведомству, это уже наша забота, тут уж, разумеется, нам не до сна. Так, кого изволили задержать? – спросил полковник.

– Как есть борзописца, Харут Марутыч, – угодливо повторил дежурный. – Но документ у него, тра-та-та-та, вызывает законное сомнение.

– Так, где он? – делая вид, что не замечает меня (а я стоял буквально перед ним), обвёл глазами помещение комолый.

– Вот он, марака, перед вашим высокобесочеством, тра-та-та-та.

– Не самовыражайтесь, сержант, – сделал замечание комолый Болотую и внимательно оглядел наконец меня. Отпялил разочарованно губу. – Что за криветка такая? Г-мы... Вообще-то умные люди книжки не пишут. Пишут мудрые и несчастные. Но, судя по всему, мудростью тут не пахнет, значит, из несчастных. Наверное, примитивный соцреалист...

Тем временем я огляделся по сторонам. Вся приёмная была разделена на три части. В средней, где, собственно, я и находился, – стол, стулья, шкаф, сейф и так далее – словом, самая обыкновенная дежурка (помню по армии). Разве что залапанный компьютер на козлоногой подставке гово-

рил за то, что здесь немного пахнет цивилизацией, хотя и компьютер тоже явно допотопный. М-да... какой же это ад?

Впрочем, на стене, над креслом дежурного, в котором теперь сидел правовед, а Болотуй несколько подобострастно, то есть чуть-чуть принаклонившись, стоял сбоку, на гвоздике на волоске висел в чёрной, точно траурной рамке портрет бафомета в профиль: козлиная полумесяцем вниз борода и крутой рог на голове, наподобие бычьего фалла. Портрет висел подозрительно шатко и всякий раз подрагивал, когда за перегородкой раздавался дружный хохот игроков или же откуда-то снизу доносился жуткий вопль. Под портретом полустёрто читалось что-то насчёт льда, огня, рук и ног – похоже, какая-то назидательная остратка.

Правую часть приёмной от средней отделяла нелепой формы решётка, за которой на низенькой, продолговатой и вроде как раскалённой плите, точно на завалинке, скукожившись и молчаливо корёжась, видимо, от боли, сидели четыре женщины: одна совсем молодая (я где-то видел её); другая немного постарше, но тоже ещё молодая, красивая, нагловатая; третья средних лет, с тупо-злым выражением лица; четвёртая совсем старушка. Мучились они, надо сказать, не издавая ни звука, точно уста у них были запечатаны (женщины вообще нередко терпеливее мужчин). Красивая девица, правда, иногда знаками что-то показывала охранникам, и какой-нибудь чертёнок неохотно отрывался от карт, поднимал с пола окурки, шёл к решётке и бросал ей, как зверице. Она ловко ловила, благодарно скалила молодые, с волчьей желтизной зубки, отрывала ноготками фильтр, точно голову цыплёнку, прикуривала от «раскалённой» плиты (удивительно, одежда на сидящих почему-то не загоралась – наверное, всё-таки инсценировка), жадно затягивалась раз, другой и третий, потом передавала соседке; та, затянувшись пару раз, передавала дальше, и последняя, курнув разочек, посылала окурочек кому-то ещё, невидимому. Не курила лишь старушка, втихомолочку всё вздыхала.

– Ну-с, – повернулся ко мне полковник, окончив разговор на своём языке с дежурным, и опять с довольным видом потёр лапы, – давненько, давненько я не встречался с вашим братом в натуральном, так сказать, виде. То есть не то чтобы давненько, а, знаете, всё какая-то мелочь пузатая попадает. Собственно, и вы-то, судя по всему, не из крупных, – сказал, вновь оценивающе оглядывая меня. – Хотя силёнка вроде чувствуется. – И приторно вздохнул: – Настоящие, мощно пишущие личности, увы, перевелись. А без личностей нашему брату-профессионалу скучно. Ах, были, были когда-то славные времена!.. Помню как сейчас: Париж, эпоха Возрождения, встречи с этим поджаристым хлыщом... Истинный, истинный француз, я бы сказал, отпетый француз – уж этого у них, французости ихней, не отнимешь, не то что у наших. Ах, Париж! – правовед мечтательно потянулся, выгнув с хрустом сцепленные обезьяньи пальцы.

– Ах, славный был город, славные были люди, славный был поэт, этот французик! С кем только не якшался: воры, бродяги, разного рода-сброда босяки-клошары, ну и, разумеется, прости... простите, проститутки, куртизанки, все эти кружевницы, колбасницы, булочницы, все эти Алиски, Жаннетки, Бланши...

*Ах, эти дамы прошлых нег,
Лукава слава и забава.
И лишь влюбленный мыслит здраво.
Но где же прошлогодний снег!*

Харут Марутыч, продекламировав стихи, тихо засмеялся.

– Я ведь во Франции, – продолжал он, – в качестве молодого резидента очутился, практику при тамошних пиитах проходил, а затем дипломную работу защищал: «Возрождение как вырождение». Знаете, презабавно внушать соблазнительные идеи в виде поэтических образов! Этак пристроишься за левым плечиком подопечного и голоском Музы нашёптываешь этакое... Поэты – они ведь жуть как любят, чтобы малышка лепетала им что-нибудь вдохновенное. А у меня подопечным был... как его?.. – защёлкал он пальцами. – Вот чёрт, память стала изменять... Ну, как его?.. А, да ладно! – махнул лапой. – Словом, и практика, и дипломная работа прошли на «отлично». Но кто кого соблазнял, право, однозначно не скажу – я ли его, он ли меня, не знаю, не знаю, поэзия – штука обоюдоострая.

И Харут Марутыч опять весело засмеялся и даже хлопнул себя по ляжке.

– Но покуролесили мы с этим французом, доложу вам, по полной программе! И я к нему так привязался, что, когда его прикокнул какой-то люмпен или уж он сам умер по доброй воле, в точности не помню, и тамошние ребята душу из него крюками изымали и по кругам чистилища тащили... У них же там чистилище, всё чин чинарём, чтоб покойник чистенький к последнему сроку явился, не как у нас – в чём попало. Там, брат, своя метакультура и, доложу вам, на высшем уровне. Я было хотел сперва его к нам переправить, но оказывается (я же неопытный был), по межинфернальным договорённостям, где попался, там тебе и суд, там и срок тяни. Ну вот, когда его душонка весело препровождалась по кругам-то, а я как свидетель шёл, я, знаете, взял грех на душу и кое-что из его походов и творений утаил. Ох, уж эта привязанность! Эта чёртова влюблённость в поэзию и поэтов! Боком она нам, поклонникам, выходит, ой, боком! Чуть диплом мне не зарубили. Кстати, прошу прощения, я, кажется, не представился. – И комольи бес ловко подтолкнул локоток дежурного на краю стола: – Представьте меня, сержант.

– Харут Марутович Халибов, – воскликнул дежурный, – тайный советник, правовед, защитник, полковник... и без пяти минут генерал!

– Ну-с, продолжим, – фальшиво улыбнулся мне Харут Марутыч. – Итак, на чём мы остановились? На поэтах... О, я люблю поэтов! Да, да, люблю и тем горжусь! Помню нашего отечественного... Нет, нет, не Пушкина, – торопливо отмахнулся. – Вот с кем не довелось, с тем не довелось. А уж он бы у меня не так кончил! Уж я бы ни за что не позволил его хранителю под ручку-то подтолкнуть, когда он в белобрысого-то целился, уж я бы все силы приложил, чтобы укокошить того прощельгу. И тогда бы дорогой ваш Александр Сергеевич точно был бы нашим дорогим. Он же и так-то слыл грешником первой гильдии: все эти дамские ножки, этот списочек, все эти пикантные подробности в эпистолах. А ранние стишата чего стоят! А все эти друзья-заговорщики, этот слушок про масонство; сюда добавить цыган, гадалок, карты, без которых жизнь ему была ни в жизнь. Нет, я бы его закогтил и ни за что не выпустил! И вообще удивляюсь, как ему удалось выскользнуть? Гений, гений! За это и люблю. Гений – он во всём гений, даже в таком деле, как не попасть в наше ведомство. Чёрт, о ком же я хотел рассказать?.. Вот проклятый склероз! О Лермонтове? Увы, увы, слышать, естественно, слышал о его проделках и поэтические шедевры сомнительного характера почитывал, но лично знать не имел чести и тоже очень сожалею. С его духовным наставником, из наших, будучи резидентом в тамошних краях, естественно, встречался на конспиративной квартире и кое-какие пикантные подробности биографического плана он мне, разумеется, передавал о вышеупомянутом

господине поэте, но лично – увы, увы... Правда, по просьбе нашего учёного совета я, как опытный уже в духовных диверсиях подобного рода, постарался основательно внушить мысль некому профессору, когда тот писал книгу о поэте, что-де во всём виновата среда, что она-де, пошлая, заела Лермонтова, превратив его в лишнего, никудышного человечка. А лишних куда девать? К нам их, голубчиков, сюда их, субчиков, а мы уж тут разберёмся, кто есть ху. Верно? Однако, смотри ты, отрубил память, – потёр залысины правоведа и опять ласково погладил притаившегося меж рожек жучка. – Про кого же я хотел рассказать вам?.. Вспомнил! Об этом, как его?.. – опять защёлкал пальцами Харут Марутыч. – Да ну имя ещё такое неразгаданное... Но, доложу вам, ухарь был! Выжигал! Брандахлыст! Стихи писал исключительно в долговых ямах. Ну, разумеется, и я тому способствовал. Но опять же исключительно из любви к поэзии. Бывало, засадят его, непутёвого, а я, вместо того чтобы радоваться – моя же работа! – сижу и сочувствую ему как дурак. Иной раз, конечно, и рифмочку какую-нибудь свеженькую подскажу...

Беда с этими поэтами: каждый норовит не в яму, так в тюрьму, не в тюрьму, так в злачное место. О, сколько перебивало в непотребных местах нашего брата! Знаете, я ведь тоже себя к пиитам причисляю, и стихи мои в качестве народных – про тюрьмы, лагеря, пересылки, про остроги, про Колыму, крытки, закрытки, кичманы, централы и тому подобные заведения – пачками по Руси-матушке гуляют. Но я не тщеславный и за авторство не борюсь, как иные. А как я на «Луку» некого анонима вдохновлял, знали бы вы! А потом ещё подпустил слушок, что автор – небезызвестный нам отечественный кумир. То-то соблазн в умах! Ведь нас, поклонников – а я себя прежде всего к поклонникам причисляю – мёдом не корми, дай измызгать любимого поэта и приписать ему такое, от чего он всю жизнь не отмоеся. А поскольку поэты бессмертны, вот и выходит, что клеймо наше на него – паки и паки. А, каково? Прелесть, просто прелесть! Вообще говоря, русский поэт широк, ой широк, я бы сузил. Но вот беда: ведь всё это дела минувших дней, на самом же деле нет уже того размаха... А порой так хочется подломить какую-нибудь душонку покрепче, поядрёней, подломить так, чтоб аж за душу взяло! Тем самым доказать коллегам, что мы хоть и правоведа-штабисты, но порох в пороховницах ещё есть, есть, и для нас это – как два пальца... оттяпать. Верно?

Так вот, молодой человек, приоткрываю маленькие секреты. Все эти тюрьмы, зоны, лагеря – всё это наши филиалы. Сейчас – да вы, наверное, это знаете – во всей документации «филиалы» заменяются на «совместные предприятия». Но я противник этого: деловой и религиозный синкретизм разрушает индивидуальный стиль, а значит, и поэзию веры и работы. Но какая же работа и какая вера без поэзии? Даже атеизм рядился в художественные одежды, хотя и достаточно безвкусные. А я, между прочим, воспитан на классике, имейте в виду. О чём же я говорил?.. Ну да, о тюрьмах. Так вот, дома сумасшедших... фу, как грубо! Дома умалишённых... нет, тоже не совсем эстетическое определение. Во! – дома скорби. Все эти дома скорби, все эти психушки, все эти жёлтые дома, открытые и закрытые, для элиты и престонародья, все эти вчерашние и будущие АТП – всё это было, есть и будет нашим. Совместно с вашим. А пока пейте, пока пьётся. Но число спившихся не должно превышать критическую массу, иначе – бац! – и демографический взрыв в нашем царстве-государстве. И шепну вам на ушко: дело идёт к тому. Это же чёрт-те что начнётся – светопреставление! Ах, как народишко-то быстренько развратился – просто у-тю-тю! Я не далее как наемни в парламенте (у нас ведь тоже теперь парламент и всё такое про-

чье, как и у вас, и я, знаете, тоже член какой-то там фракции или комиссии, уж не помню) вопрос поднимал насчёт детей. Оставьте, говорю, хотя бы деток в покое. Я имел в виду все эти детдома, интернаты, спецприёмники, зоны малолетних... Оставьте, говорю! Ведь это тоже наши филиалы. Про солдатские казармы уж помалкиваю – там давно наш режим, наши порядки и наш вездесущий дух. Оставьте, говорю! Дети – наше будущее, загубим последних детей, с кем работать нашим детям? Безработица, бессмыслица, бесцельность существования – вот что ожидает грядущее поколение. А им, заседателям, хоть травушка не расти, хоть потоп, хоть комета – знай себе смеются-посмеиваются. Не утверждаю, но сдаётся мне, что уже появились штатные смехуны-парламентарии, пересмешники-скоморохи, и за это им неплохо платят. А тут рвёшься, рвёшься из последних сухожилий, нервы себе психуют – а толку? Нет, брошу всё к чёртовой матери, организую новую фракцию или комиссию и прокачу кое-кого на вороных! Или вообще выйду из состава этой шарашки. Я надеюсь, вы меня понимаете, коллега? – обращался правовед ко мне, хотя я ничего не понимал, о чём молот бесятина. – Я по глазам вижу, что претлично понимаете...

...Ну вот, пропётся он, бывало, проиграется в пух и прах, что твой какой-нибудь Митька Карамазов или сам их папаша... Бывало, скучно ему в яме-то сидеть, особенно в первые дни, после похмелья-то, сами понимаете, головка бо-бо, душа не на месте, угрызения совести, ну вы знаете это состояние. А я тут как тут, с гитарой под полой и в образе какой-нибудь околоветской вертихвостки-поклонницы: «Аполлонушка, дружок мой, сбцайте «Венгерочку». Он, конечно, поломается, мол, не до гитары, не до романсов. А уж как начнёт – не остановишь:

*Басан, басан, басана
Басаната, басаната,
Ты другому отдана,
Без возврата, для разврата!*

Поёт, а у меня все поджилки от сладости трясутся и сердце заходится, из груди выпрыгнуть хочет! И вот уж я готов все дьявольские инструкции пинком под зад и, взявши опять грех на душу, вызволить его из этой чёртовой ямы. И единственно, что удерживало, – это опять же любовь к поэзии: ведь вне ямы он не написал бы ничего. Истинно, истинно вам говорю: бытие определяет... поэзию. К тому же буйный он был, Аполлонушка-то. Бывало, играет, играет, вдруг – бац! – гитару вдребезги и рубаху на груди – раз! – и располовинит! Русская натура. Оно хотя поэтам и позволительно вольничать-то, но когда уж слишком – приходится принимать меры. А как вы хотите? Не церемониться же, верно?

Я молчал.

– Вообще скажу вам, молодой человек, – говорил Харут Марутыч, – я частенько ссорился с коллегами по поводу того или иного известного поэта. Помню одну замечательнейшую личность. Прекрасной души человек! Но... Как вы, говорю, смеете спаивать величайшего советского поэта! Да без его героя фашистская гадина раздавила бы Россию как муху-цокотуху. А нам, господа, без России нельзя. Без России скучно. Ум, изощрённость, талант приложить негде. Ну, подадимся, к примеру, в Африку. Что за работа без интереса, без страсти? Ну да чёрт с ней, с Африкой. Ну, допустим, освоим Америку. Спрашивается: а чего её, чувырлу, осваивать, когда она давным-давно уже освоена? Ну, подновили душок её гугеноты и прочие рас-

кольнички. А к чему прикатилась? Клейма негде поставить. Иные тамошние высококвалифицированные наши спецы без работы годами маются, с отчаянья к нам сюда рвутся, чтоб талант свой проявить. Правда, им там пособия о-го-го какие платят, лишь бы удержать. То есть работы там полным-полно, соблазней не хочю, но ведь соблазнять-то чью-либо душу с душой хочется, и чтоб душа-грешница что есть духу греху сопротивлялась. Разве наше дело без души делается? Это же всё равно что любить, извините, за умеренную плату, удовлетворяя с ленцой похоть телесную. Зато любить, ублажая сладострастье душевное, – о, это смак! Ведь чем любопытен нашему ведомству сеньор великий Дон Жуан? Не тем, что он тысячу соблазнил. Да хоть бы две, три, десять. Что в этом великого? Ишь, невидаль какая – охмурить вдову в расцвете сил и хотений – да нет ничего проще! Но соблазнить её в склепе, у надгробия покойного муженька – это, доложу вам, высочайшее сладострастье для души. За это мы ему готовы и две, и три, и все десять тысяч соблазнённых простить, а за эту, за донну Анну, уж извините, вцепимся и ни за какие коврижки не отдадим.

Ну а тут уже наша сфера искусства, тут истинным мастерам раздолье. Мы вот, к примеру, храмов опять по всей Руси-матушке понаставим, а ходить в них пусть одни старушенции ходят, и то одна из тысячи. Прелесть, просто прелесть! Или так: пусть все кому не лень мнят себя крещёными, а мы незаметно, хи-хи-хи, расхристим-опростим их до язычников и сектантов, обучим всяким там харизматическим штучкам и прочее, прочее. А главное – подмена. Например, вместо среды объявим постным, рыбным днём четверг и тот же четверг вместо Пятницы Параскевы сделаем днём торговым. Впрочем, эту методику мы уже отработали в совковские времена, хи-хи-хи. Теперь там, у вас, молодой человек, посты соблюдаются, а мы вам – метод оздоровительного голодания подсуем. Прелесть, просто прелесть! Главное – никто ничего не поймёт, а на небесах возмущение, в аду ликование, в человецех разлад.

Или вот: молодожёны в церкви пусть повенчаются – сейчас это очень модно, а из церкви валяйте прямиком в какую-нибудь священную рощицу пить шампанское – прекрасно! А уж торжество в загсе – это, извините за нескромность, чисто моё изобретение, хотя иные и уличают в плагиате. Но мы не гордые, не тщеславные и за авторские права судиться не собираемся. Правам моим, как драгоценным винам, придёт черёд!

А вот ещё один прелестный курьёз: этак ненавязчиво, исподволь мы теперь внушаем, что русский и православный – просто курам смех: архаизм, атавизм, допотопщина. Уж лучше запишись хотя бы для блезиру в кришнаиты, но только помалкивай, что ты православный. А лучше и слово «русский» не употребляй вообще, не то ведь могут заподозрить, будто вы норовите туда, куда забегают одни негодяи. А кому же хочется прослыть негодяем? Разве что какому духовному мазохисту, то есть опять же русскому. Но тут уж ничего не поделаешь: сколько волка ни корми, он всё равно в лес удерёт. Остаётся плюнуть и продолжать своё. Боюсь, так и с Рассеюшкой получится. Сколько её ни соблазней, каким изошрённостям ни учи, ан нет: отвернулись на минутку, а она отряхнулась и – опять целомудренница. Или за нос нас водит? Чёрт её знает, кто кого соблазняет: мы её или она нас? Парадокс на парадоксе и парадоксом погоняй.

Недавно, например, случилось мне инкогнито присутствовать в одной пьяненькой компашке. Представьте, речь зашла о Нём – ну, вы понимаете, о Ком. Заявляет один: я, говорит, в Него не верую, и Он меня за это простит, я даже попаду в рай, потому что не лицемерю, когда говорю, что Его нет. Нет, вы почувствуете нелепость: в Него не верю, но Он мне простит?! Нет, право, такое

заявить может только русский. Услышите вы это в Америке? Дудки! Вот тем и прелестна русская душа. Потому я патриот. Мне Америку ни за какие шиши не надо. А уж ихних писателей и на дых не хочу. Книжки ещё почитываю, насилюя себя, чтобы интеллектуальную форму, так сказать, поддерживать, а в автобиографии и не заглядываю – скукотища. Так ведь?

Я не отвечал, поскольку ответ явно не требовался.

– Эх, вспоминаю наш отечественный Парнас – Переделкино! – спрятав волшебным образом маникюрные приспособления, опять мечтательно потянулся Харут Марутыч. – Писательские дачи. Гении и литературные бонзы, скромность и самый буйный разврат – ох уж это мне Переделкино! В какие только переделки и передряги не попадал я там! Однажды по заданию вселился в детского писателя... Вот чёрт, опять забыл фамилию!.. на языке вертится, а в рот не попадает... Да вы его знаете: герой, рубака, бабник! В гражданскую мальчишкой эскадронил... Ну?.. Да внук у него ещё на буржуина-плохиша похож... Ну так вот, бывало, вселюсь в него, шашку наголо – и пошли выкамаривать по Переделкино! Ну, думаю, сейчас всё Переделкино переделаем. Да что там Переделкино! Внучок-то его чуть было всю Россию-матушку не уделал, вместе с этим... с рыжим, имя у него ещё такое, собачье... Уж в нашем-то ведомстве и то забеспокоились: воровство, бандитизм, проституция, катастрофическая смертность, самоубийства! Грешники к нам гужом текут. А наш континуум, извините, не резиновый, хотя и достаточно духовно объёмный. Спрашивается, сколько же можно пичкать сюда всяких и не-всяких, как селёдку в бочку? Кстати, простите, пожалуйста, – обратился ко мне не на шутку разговоровившийся шестикрылый полковник, обратился исключительно вежливо, – я дико извиняюсь, вы действительно литератор или хотите пострадать в качестве оного? Если «да», то, извиняюсь, в каком жанре изволили работать?

– Почему «изволил»? – встряхнулся я и немного засомневался насчёт прошедшего времени. – Я и до сих пор работаю. Просто мало печатаюсь... Хотя недавно издал новую книгу... – и запнулся, поймав себя на мысли: почему это я оправдываюсь?

Тут очнулся от дремоты бес-дежурный и, о чём-то вспомнив, взял мой писательский билет, зевнул во всю пасть, небрежно ткнув когтем в золотые буквы, что-то сказал на своём языке сквозь позевоту шестикрылому полковнику, сказал и ехидно улыбнулся.

– Ага, – кивнул тот в ответ, – значит, ещё не пришёл в себя. Ничего, будь спокоен, сейчас приведём в чувство и выведем на чистую воду. А что касается СССР... Ну, милый мой, нашего ведомства это мало касается. Писатель – он и в Африке писатель. А свой он или зарубежный, из прошлого или из настоящего – какая нам разница? Главный критерий – качество и количество греховности его писанины, идей и деяний. Скажите, любезный, – обратился ко мне полковник, – вы к нам по каким наклонностям: подрывали основы государства? разваливали армию? дискредитировали госслужбу своим творчеством?..

Я растерялся.

– Харут Марутыч, – вставил Болотуй, – я вижу по глазам, он злой и гордый и небось религию охаивал.

– Не-не-правда! – заикаясь и торопясь, сказал я.

– Ишь ты, тра-та-та-та, неправда! Правда, правда. Все монахи у тебя с голубизной, а монашки сплошь розовенькие, попы – скопидомы, растлители прихожанок, особенно молоденьких и разведённых, и, конечно, все сплошь тайные агенты КГБ. Так ведь?

– Это наговор! – выпалил я и отчего-то здорово забеспокоился, хотя, сколько помнил себя, ни про попов, ни про монашек ничего такого не писал; читать читал, а чтоб писать, извините... Разве что про фольклорную Олёну из разграбленного монастыря, любовницу Саввы-атамана... Но ведь это я только мечтал написать.

– Мечтать, конечно, не вредно, – то ли угадав мои мысли, то ли в связи с какими-то своими мыслями задумчиво сказал Харут Марутыч. – Но мечты разжигают желания, а желания раскаляют страсти, и в конечном счёте можно оказаться на раскалённой плите, – кивнул он в сторону женщин за решёткой.

Невольно я встретился с кроткими глазами молодой зачуханной девицы – и всё содрогнулось во мне: неужели это она, та самая?!.. Я неотрывно глядел на Варю: это была она! Но точно ли?.. Да точно, точно она. Это же я с ней изменил Рае так бездумно в районной гостинице. О, Рая, Раечка – рай моей души!.. И вина хлынула в сердце – и сердце заняло тоской и тотчас метнулось в воспоминание.

Глава 5

РАЯ, ТРУСИКИ И ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Кому не знакомо увольнение по собственному желанию, когда работа – как заноза под ногтем! О, это будто гора с плеч, будто прах с ног, точно крылья распустились за спиной, дотоле связанные сыромятным ремнём! Тем более что вам всего-то... Сколько было тогда мне? Ах да, всего-то за двадцать. Ну, в эти годы весь мир лежит у ваших ног – воля, одним словом!

Начальница КБ заявление мне подписала с какой-то отсекающей злостью, одним махом, без всяких расспросов, но с условием месячной отработки в подшефном совхозе. Но как был рад я, что подшефное село Чернявка, куда должен был ехать я в «ссылку», находилось неподалёку от моего родного Чернозелья. И вот же не думал я, что там, в Чернявке, всего-то в десяти километрах от родного дома, оказывается, меня поджидала судьба – Рая, Раечка, Раюша!.. Но чтобы встретиться с ней, мне предопределено было сделать крюк через Сурград, НИИ, увольнение и «ссылку».

До Чернявки добирался автобусом и попуткой. Настроение было превосходное. Я путешественник по натуре.

На последнем перекутке в кузов машины я взобрался вместе с одной симпатичной девчушкой. Нет, слово «симпатичная» не совсем подходило ей, если охарактеризовать первое впечатление. Разумеется, она сразу приглянулась мне: вся такая аккуратненькая, лёгкая, так бы и подхватил на руки, как пёрышко... В том-то и дело, что она не просто понравилась, а сразу очаровала меня.

Я только что сошёл с междугороднего автобуса на просёлок, примыкающий к автотрассе, а девушка уже стояла здесь в ожидании какой-нибудь попутки. На ней было светло-голубое платье, беленькие туфельки, точно ехала не в деревню, а спешила на свидание или собралась в кинотеатр. Рядом – большая застёгнутая на молнию сумка, с какими обычно ездят из города в село и обратно. Обратно, как правило, набитая до отказа продуктами, но и эта почему-то полная. Похоже, на каникулы, подумал я про девушку, городская школьница, наверное.

Только подошёл к попутчице, как с шоссе на просёлок свернула грузовая машина. Девушка тотчас замахала рукой: возьмите, мол! Но в кабине свобод-

ных мест явно не было, а в кузов не всегда сажают, и машина проскочила мимо. Но, проехав метров пятьдесят, тормознула, и шофёр дал знак: садитесь быстрее!

Девушка схватила свою громадную сумку и, избочась – тяжёлая, очевидно, откинув для равновесия другую руку широко в сторону, этаким смешным птенчиком, выпавшим из гнезда, почему-то с прихромом (оказывается, она ушибла ногу, поэтому и прихрамывала) побежала к машине, оглянувшись на меня с укором и детски озабоченным выражением лица, дескать, видите же, как мне тяжело... Именно это выражение любовно и хлестнуло меня по сердцу: уже в тот миг я знал, что теперь всегда её буду любить вот за этот милый, сердитый укор, который я как будто уже где-то видел...

Я тотчас догнал смешного кособокого «птенчика», на ходу подхватил её сумку, действительно тяжёлую, и мы быстро добежали до машины.

– Я сейчас залезу, а вы мне подадите, – распорядилась она, торопливо сняла туфельки и сердито забросила в кузов: – Все ноги стёрла, ну их!

Она попыталась дотянуться до края борта. Борт, однако, был высокий, наращенный сверху в две доски, и ей никак не удавалось дотянуться. Смотреть на неё было смешно и интересно – упорный и раздосадованный ребёнок, у которого никак не получается. Но всё же она вцепилась за выступ на борту, встала босо на ступицу колеса, поднялась повыше, пыхтя и закусив губку, ухватилась наконец за самый верх борта... Но силёнок подтянуться не хватало. Платьце, и без того короткое, высоко подалось вверх, заголяя хорошенькие ножки до беленьких трусиков.

– Господи, да что же такое! – хныкнула она и опять оглянулась с сердитой просьбой на меня: ну, чего смотришь, помоги же.

Я обхватил её небольшие, но ладные бёдра и легко подтолкнул вверх. Она вскочила одной, потом другой ножкой на колесо.

– Ну, скоро вы там? – крикнул из кабины шофёр.

– Держи сумку, невеста! – крикнул я ей и сам махом, в два счёта очутился в кузове.

Поехали. Держась одной рукой за передний борт, она другой торопливо оправляла платьце, смущённо косясь на меня. Оказалось, она тоже в Чернявку.

– А откуда же ты едешь, Дюймовочка?

– Конечно же, из Сурграда, – немного горделиво ответила она, отдышавшись.

– И к кому же?

– А вот вы к кому? Я-то домой, к маме.

– А мы в ссылку, – притворно вздохнул я.

– В какую ссылку? – не поняла она шутку. – За что?

– Как написано в приказе: за разврат, за пьянку, за дебош – целый букет уголовно-бытовых статей.

– Вы шутник, я по глазам вижу, – улыбнулась девушка. – Ну правда, к кому вы?

Я чуть приобнял её за талию и заговорщически шепнул сквозь шум и ярость июльского полевого ветра, пухлыми и тёплыми ладонями озорно и ласково шлёпающего нас по лицам и скидывающего дыбом её и мои волосы.

– Лет пять назад таборная цыганка, когда они раскинули свои бедные шатры на берегу Окши, а мы всем селом пришли на них поглазеть, нагадала мне, что я непременно встречу вот такую Дюймовочку с голубыми глазками, как у вас, моя леди.

– А вот этого не надо, – с расстановкой сказала она, убирая мою руку с талии.

Я легко подчинился, но продолжал шутить:

– Скажи мне, Дюймовочка, как же мамочка отпускает такую маленькую девочку к чёрту на кулички? Ведь и вправду встретится какой-нибудь серый злой-презлой волк – зубами щёлк – и нету Дюймовочки.

– Ну, во-первых, не Дюймовочки, а Красной Шапочки. А во-вторых, я не такая уж и маленькая. Я, между прочим, учусь на втором курсе культурно-просветительского училища, – вздёрнув хорошенький носик, сказала она, чуть прячась от ветра за борт.

А машина неслась быстро, просёлочная дорога была ровной, накатанной, и ветер, казалось, озорно летел за ними, хлопая большими тёплыми крыльями.

– И по какой части и кого, простите, вы будете просвещать? – спросил я чуть насмешливо.

– Буду детям выдавать в библиотеке хорошие, добрые книжки – во-о-от, – сказала она опять с той же значительной расстановкой. – И больше не говорите мне, что я маленькая. Я – большая! – И она по-детски притопнула ножкой и по-женски хитровато взглянула на меня.

И мы засмеялись. Ветер взвил её мягкие русые волосы и кончиками их шутя хлестнул меня по лицу, заставив невольно закрыть глаза, потому что они увидели белую девичью шейку и маленькое розовое ушко, мочку которого мне нестерпимо захотелось поцеловать. Девушка с извинением взглянула на меня, быстро прихватила волосы рукой и пучком прижала к груди. Несколько минут ехали молча. Потом она радостно выпрямилась и, оторвав другую руку от борта, показала вперёд, чуть в сторону:

– Вон наше село! – И, вздохнув облегчённо, добавила: – Как я соскучилась!

Машина стала притормаживать, и девушка невольно, по инерции, прижалась ко мне, и я опять обнял её за талию, и она уже не отстранялась до самой остановки.

Слезли. Машина покатила дальше, а нам до села было идти ещё с километр. Я взял на плечо огромную сумку девушки, она – лёгкую мою. Оказывается, ехала она на каникулы, месяц отработав практиканткой в детской городской библиотеке. А сумка у неё тяжёлая потому, что везёт много-много книг, которые ей надо за лето прочитать. Мы наконец познакомились: её звали Раей. Я сказал, что еду в Чернявку от НИИ.

Войдя в село, я заметил, что Рая немного увеличила расстояние между нами, обула туфли и старалась не хромать. Дошли до дома управляющего. Девушка со знанием дела сказала, что прежде всего мне надо к нему.

– Он вас устроит к кому-нибудь на квартиру. У нас тут каждый год городские работают.

– Знаешь, Раюша, а я ведь сам чернозельский, – сказал я и показал в ту сторону, где находилось моё село.

– Правда? – обрадовалась она. – А я гляжу... будто где-то вас видела.

– И я как будто вас видел...

– Наверное, по дороге в Сурград или обратно встречались, как вот сейчас.

– Да едва ли. Я этим краем еду впервые, у нас же от шоссе свой просёлок...

– Всё равно где-то встречались, – настаивала она.

Остановились. Рае надо было дальше. Я предложил помочь ей донести сумку, а потом вернуться.

– Что вы, что вы! – смущённо вполголоса проговорила она. – Подумают бог знает что...

– Кто?

– Народ – кто, – она упрекающе-осторожно повела глазами вокруг и взялась за сумку. Навстречу как раз шли две женщины в вылинявших синих халатах, похоже, доярки с фермы. Приветливо поздоровались с ними.

– Раюша, – когда женщины прошли, дотронулся я до её мизинца, – ну, я надеюсь, мы... сегодня же увидимся? – Я уже и забыл, что собирался вечером рвануть в Чернозелье. – Клуб-то у вас тут есть?

– Он у нас в прошлом году сгорел. Молодёжь теперь у Сальникова двора собирается. Ладно, я пойду... – И опять, изгибаясь, взялась за сумку.

– Нет, я вам всё-таки помогу, – настойчиво сказал я, перехватывая у неё сумку и направляясь вдоль села.

Девушка хотела воспрепятствовать, но, похоже, сообразила, что будет смешно, если не подозрительно, глядя со стороны, тихонько засмеялась и пошла рядом.

Жила она на другом конце села, которое было небольшое, дворов шестьдесят в два порядка. Несколько усадеб заброшенных, заросших бурьяном и крапивником. Во всю улицу не встретилось, кроме тех двух доярок, ни человекка. Но деревенька создавала впечатление вовсе не дикости и безлюдья, а необыкновенной тишины и уюта. Некоторые жилые домишки были в достойном и нарядном виде: обшиты «в ёлочку» узенькой рейкой и выкрашены в голубые или зелёные цвета, крыты жстью, спереди домов – кустистые палисадники. Очевидно, кто хотел, тот не бедствовал. Я об этом заметил Рае. Она деловито и просто ответила, что у всех во дворах много скотины.

– А корм? – спросил я.

– Так ферма же рядом, – простодушно ответила она.

Понятно: воруют, как и всюду. Социализм доживал последнее времечко.

Не доходя до своего двора, Рая остановилась, чуточку вздохнула и сказала:

– Вот наш дом. Запомнили?

Голубой пятистенок вдоль села – конечно, запомнил. Я кивнул, неотрывно, с улыбкой глядя на девушку: как мне не хотелось расставаться с ней!

– А теперь отдавайте мою сумку, а то мама увидит.

– Неужели у вас такая строгая мама?

– Строгая. Но очень добрая и хорошая.

– А бабушка? Самое главное – бабушка.

– А бабушки у меня нет, к сожалению.

– Ну, с мамой мы управимся. Для нас, серых волков, самое важное – бабушек вокруг пальца обвести, а мам – нет ничего проще.

– Ой, какой ты... вы, – поправилась, – врунишка Илю... Илья... – опять поправилась.

– Вам хотелось назвать меня ласково?

Она чуточку покраснела. Но сейчас же бойко нашлась:

– Нет, мне хотелось по-дружески.

– Пусть будет, как вам угодно. Но знайте заранее: любой звук моего имени в ваших устах – всё равно что живой поцелуй для меня.

Она вновь немного заалела. Потом спросила с улыбкой:

– А вы, наверное, стихи пишете?

– Для вас, моя прелестная попутчица, я непременно напишу. Но вообще-то я писатель.

– Писатель? – удивилась она, и мне показалось, что я заинтриговал её, если бы на лице девушки не изобразилось нечто большее. – Вы знаете, – взволнованно сказала она, – мне кажется, я вас видела... Я вам после скажу, – торопливо закончила она, забирая сумку. Потом указала рукой за околицу, добавив, что там находится совхозная ферма, и управляющий в это время обычно тоже там, поэтому лучше мне сразу пойти туда.

– Он вас, наверно, поселит у Авдониных. А может... – И она как-то странно улыбнулась.

Вся душа ликовала у меня. Давно я уже не был вот так обжигающе влюблён. Всё какие-то скучные в последнее время были мимолётные романчики: то одной увлечёшься, то другой, то Риммой, то Валею, то Таней... А тут что-то... Сердце крылато радовалось в груди. Я шёл на совхозную ферму, не замечая, что ветер стал порывистей и по небу повалили клубастые облака, обещая дождь.

Управляющий Николай Николаевич оказался простоватым мужиком, похожим на затурканного домового. Бабы-телятницы и мужики-скотники что-то кричали ему наперебой, окружив посреди скотного двора.

Я представился управляющему, мол, в ваше распоряжение на целый месяц.

– Это хорошо, это хорошо, – заговорил он, глядя на меня добрыми косыми глазами из-под густых, торчком стоящих бровей, – рабочие руки нам в хозяйстве нужны, работы много, а рук не хватает. Я тебя на зерноток определяю. Или вот на подкормку, – кивнул на храпящего работничка. – А ты случаем не тракторист?

– Нет, не тракторист. А вообще лучше на зерноток.

– Ну, хоть и туда, всё равно, работа везде найдётся. А ты обедал аль нет? – спросил управляющий. – Ну тогда пойдём ко мне домой, я тебя покормлю. Я и сам ещё не обедал.

С Николаем Николаевичем мы возвращались не селом, а дорожкой позади огородов, упирающихся концами в берег Окши. Эта речушка текла и мимо родного моего Чернозелья, которое – вниз по течению. «Завтра, пожалуй, и пойду домой, – шёл и думал я. – А сегодня, конечно же... Сегодня – к Раечке». При одной только мысли об этой маленькой девочке радостное чувство закипало в моей груди.

В одном месте через речку, очевидно, в самом узком, с одного на другой бережок был перекинут шаткий, изрядно выщербленный пешеходный мосточек с тонкими перильцами. На другом берегу – куст розовеющей калины. Управляющий приостановился, о чём-то задумался.

– Слушай-ка, – сказал он, – меня сельские бабы, ну их к шишу, замучили с этим мостком. Они по нём в обед на стойло ходят. Вон перильца надо подправить и дощечек под ноги с десятков новеньких положить, а то и вправду какая дура ногу сломит, а мне отвечай. Ты топор-то в руках держать можешь?

– Могу.

– Ну вот завтра и валяй, плотником будешь! – обрадовался управляющий. – Инструмент я тебе выпишу. А куда ж тебя поселить-то? У Ероники, чай, некуда, у её и так уж трое ваших тоже. Куда бы, куда бы?.. – задумался Николай Николаевич. – А что ежли к Лактионовым, к знахарке?.. А давай-ка зайдём к ей. Пообедать мы успеем. Пойдём. Как тя зовут-то, забыл? Илья? Ага, хорошо. Пойдём, Илья. Вон как раз ихний дом.

Напротив мостка, меж двух огородов в улицу шла широкая проулочная межа, по которой, похоже, ездили и на телегах. По дороге я спросил:

– К знахарке – это что, местная колдунья?

– Ну, какая она колдунья? Так, сустав кому вправит аль от заикания мальчонку какого вылечит. Мало ли? Собака напужат аль ещё чё. Вон у Антиповых курица-наседка мальчонку испугала. Из-под печки с цыплятами вылезла, а мальчонка-то хотел цыплёночка взять. А наседка ка-а-ак бросится!.. Всех врачей объездили, а толку нету. Так и пришлось к Марье. И что ты? Вылечила. Чё-то там на зорьке пошептала день-другой – и здоровый парнишка-то стал. Никакая она не колдунья. Вот Романова-старуха была – это колдунья! Полгода помирала. Пока крышу не разобрали. Уж токо потом дух испустила. А Антоновна – это баба хорошая. И как хозяйка чистоplotная.

К моему удивлению, мы вышли.. к Раечкиному дому. Именно туда-то и наострил свои косые глаза под шишастыми бровями Николай Николаевич. Я не мог ошибиться, так как хорошо запомнил обшитую реечкой и выкрашенную в голубенький цвет избу-пятистенку вдоль села под четырёхскатной крышей; справа была мазанка из камня-сырца (я это тоже запомнил), у мазанки – брёвущко для сиденья, типично по-русски; проулок, заросший травой-муравой; от крыльца сквозь муравистую лужайку тремя лучами разбегались вытоптаннные узенькие тропочки – одна к мазанке, другая во двор, третья на улицу.

– Это и есть Лактионовы? – спросил я, уже не сомневаясь и затаённо радуясь.

– Лактионовы. Марья Антоновна иной раз пускает прикомандированных. Совхоз ей за это кормов даёт и зерна. Егор-то, её муж, лет пять назад под трактор попал. Тракторист, кажись, пьяный был. А сын старший, Санька, сейчас в тюрьме. Оно, конечно, чижало бабе. А у ей ведь двое ещё. Одна, пигалица, крестница моя, в городе учится, а последыш в школе пока. Чижало, говорю, одной-то, без мужика-то. А вон и сама она. Здорово, кума!

– Здорово, Николай Николаич, – ответила приветливо, но сухо женщина, поправляя на голове пёстрый платок, повязанный узелочком на затылке, и с любопытством оглядывая меня.

Ей было лет за пятьдесят, невысокая, худенькая и... удивительное сходство с Раей! Наверное, в молодости она была точно такая же. Только в выражении что-то сдержанно-строгое.

– Вот жильца те привёл, – сказал управляющий немного неуверенно.

– Вижу, чай. Да вы, Николай Николаич, в прошлом году зерна обещали выписать за квартирантов, а в контору пошла: шиш тебе, говорят, он на тебя сведенья не подавал. Как же, говорю, не подавал, если всё лето полна изба жила.

– Я, Марья Антоновна, малость обмишулился, на Ерохину нечаял написал, перепутал. Но всё переделаю, сам квитанцию выпишу, и вот с им – указал на меня, – привезём. Христом Богом обещаю! Выручай.

– Ты, Николай Николаич, только обещать горазд. Ладно, проходите, чего ж посередь проулка стоять. Как тебя зовут-то? – обратилась ко мне.

Я назвался.

– Это ты моей кнопке сумку-то нёс? Нагрузилась, дурёха! Как руки не надорвала? Зачем ей столько книжек? Парень, говорит, какой-то помог, работать у нас будет, управляющего пошёл искать. Выходит, ты. Ну, чего ж, придётся взять на постой, – улыбнулась женщина.

Вошли в просторные, но тёмные, с маленьким оконцем сени, уставленные сундуками, лавками, всяческой посудиною. Дверь в избу была открыта, но занавешена двумя цветными шторами. Марья Антоновна приотдёрнула одну и спросила:

– Рая, ты закончила полы-то?

– Да, мама, – слышался ответ.

И Рая, теперь в стареньком ситцевом платъице, с ведром в одной руке и с тряпкой, скрученной в толстый жгут, в другой, вышла в сени. Лицо у неё было розовое, в капельках росы на висках и лбу, волосы собраны в пучок на затылке. Увидев меня, она густо покраснела, смущённо улыбнулась, утирая запястьем пот. Потом как-то стремительно (за смущением мелькнула в глазах острая радость, и у меня мгновенно горячо стало на сердце) выскочила на улицу.

Прошли в комнату, где было необычайно свежо и светло. Жёлтые, широкие, некрашенные половицы дышали влагой и изысканным уютом. Возле стола, пошевеливая хвостом с завитком на кончике, важно прохаживался кот, похоже, ожидая обед.

– Проходите, проходите, – говорила Марья Антоновна. – Садитесь, сейчас обедать будем.

– Да мы с Ильёй ко мне было шли, – сказал управляющий. – А дай-ка, думаю, зайду к Антоновне. У Еронихи, думаю, всё занято. Куда ж ещё? К куме, думаю, надо.

– Ну, значит, счастливые будете, коль под обед угодили. Садись, садись, кум, – с угодливым добродушием усаживала управляющего хозяйка. – Я тебе сейчас стаканчик поднесу.

– Ну, это дело, – сразу согласился Николай Николаевич.

Из печи в чугушке появилась на стол круглая, в жёлто-румяной корочке картошка, пупырчатые огурцы с огорода, горшок молока и, конечно, бутылка самогона. В избу вернулась Рая, но, словно бабочка, пролетела, не взглянув в сторону гостей, в другую комнату и через несколько минут, когда Марья Антоновна уже налила нам и себе по стаканчику, скромно вышла оттуда и села за стол, как раз рядом со мной. Теперь она опять переоделась в другое, поновее, платье, волосы были расчёсаны и перехвачены сзади красной ленточкой. Немного смущённая, она была такой очаровательной!

– Ну, побудем, гостюшки, – сказала Марья Антоновна и выпила до дна, наморщив загорелое лицо со множеством мелких морщинок вокруг глаз и на скулах.

Самогон был крепкий (я выпил только подрюмки), и у Николая Николаевича красноватые белки глаз ещё более покраснели, сами же глаза собрались как бы в кучу, к переносице, а толстые, пучком, грубо вырезанные губы на минуту сделались кренделем. Я же внезапно почувствовал голод, и хозяйка, поняв это (хотя я старался есть не торопясь), подбодрила:

– Ешь, ешь, сынок. А ты чего сидишь воображаешь? – к дочери. – Ишь ты, она не хочет!

– Мама, ну отстань, пожалуйста. Говорю же, не хочу.

– Я тебе отстану! Приехала: одни костёнки торчат.

– Мама!..

– Да тебя никто и замуж не возьмёт такую, – пошутила Марья Антоновна.

– Мама!.. – Рая, негодуя заалевшись, выскочила из-за стола в другую комнату.

– Вот поглядите на неё, чего выкамаривает!

– А ты чё ж думала? – сказал Николай Николаевич. – Ей, крестнице-то, уж, чай, скоко?

– Восемнадцать осенью будет.

– Ну, чай, уж девка. Невеста уж, чай! Они нонче ранние.

– Какая она девка? В куклы ещё играет, – отмахнулась Марья Антоновна, – беретика самолетчицам шьёт и с Васькой как маленькая дурачится.

– Ноне – куклы, – возразил Николай Николаевич, – а завтри, глядь, и у самой лялька. За этим долго не станет. Подвернись только женишок! – И смешными добрыми глазами взглянул на меня.

Я сдержанно улыбнулся.

Через какое-то время Рая появилась опять, но одетая совсем уже по-другому, как будто куда-то собралась. На ней были спортивные брючки, лёгкая болоньевая курточка и шляпка... Синий беретик! «Где, где я видел его?» – заметалось у меня в голове, но никак не мог вспомнить...

– Я пойду, мама, – сказала Рая.

– Плащ возьми, который с капюшоном.

– Ой, зачем он мне нужен?

– Возьми, возьми, а то что-то захмаривает, как бы дождь не пошёл.

– Да у меня куртка и... берет.

Мне показалось, будто Рая при этом слове как-то по-особому взглянула на меня. Ну, где же я видел этот синий беретик?..

– Возьми, говорю, неслушница. Там, в сенях, на гвоздике висит. Да узелок не забудь с едой, небось, Васька изголодался весь.

Рая вышла. А Марья Антоновна пояснила мне, что в Чернявке сельскую скотину пасут подворно, сегодня их очередь, и пасёт младший брат Раи, Вася, и она пошла сменить его. У меня мелькнула мысль: не пойти ли вместе с девушкой? Но сообразил: лучше не спешить.

Глава 6

ХАРУТ МАРУТЫЧ В НОВОЙ ИПОСТАСИ. ПОБЕГ

– Монархист, говорите? – дружелюбно взглянул на меня Харут Марутыч с «приклеенными» комольми рожками. – Лю-бо-пыт-ненько! – И потёр ладони. – Нет, я понимаю, что дважды входить в одну и ту же сомнительную дверь непрослительно, а то и неприлично... Но, согласитесь, у нас свои традиции, своя культура... Словом, я за сильную и даже неограниченную власть, вплоть до абсолютистской. Вы посмотрите, как всё у нас развинтилось! Никакого почтения к властям: на каждом заборе намалёваны рожи и карикатуры с неприличнейшими надписями. И пародируют – взяли моду всех пародировать! Что вы ухмыляетесь, Яган Амоньч? Доухмыляемся, в конце концов всё перевернётся вверх дном. – И полковник сердито повернулся ко мне. – Между прочим, господин журналист-писатель с того света, во всём виновата пресса.

– Я себя не считаю писателем, да и журналистом тоже, – ответил я вяло.

Нельзя сказать, что мне приелась говорливость полковника, а как бы что-то придавило мои чувства.

– Вот-вот, вы не считаете, а у нас всё тут подсчитано, у нас тут не какая-нибудь шарашкина контора, у нас уже вот компьютеризация начинается. Мы уже скоро подключимся ко всемирному банку хранения даже мельчайших грехов, вроде ничтожных помыслов и желаний на ту или иную тему. Мы уже, можно сказать, на грани революционного заклеивания информационной печатью каждого и на том, и на этом свете, ускользнут, может быть,

только избранные, и то если мы расхолаживаться не будем. Верно? – подтолкнул он дремавшего сержанта.

– Так точно, вашбесочество!.. – вскочил тот, неуклюже прицокнув копытом.

– Вольно, вольно... – И опять сердито ко мне: – А он, видите ли, себя не считает писателем! А кто же вы в таком случае? Я художеств ваших и прочего, между прочим, не читал, без вашей белиберды дел невпроворот. Но я специализируюсь на художественной литературе и презренную публицистику не читаю, за редким исключением. Билет же писательский вы, очевидно, подделали или же, не исключено, купили за бутылку денатурата у какого-нибудь старого алкаша-забудды где-нибудь в Переделкино, сами же её вместе с ним выпили и вот теперь попались к нам в самом непотребном виде.

– Да я денатурат в жизни не пробовал, – возразил я с неохотой, – и даже не знаю, что это такое.

– Возможно, фотография и настоящая. Но положение обязывает сомневаться, поэтому нужна качественная экспертиза. Отнести в лабораторию, – приказал одному из караульных. – Кстати, – обратился к вепрю, вновь сердито устраивающемуся дремать в кресле, – где вы его, Яган Амоныч, изволили задержать?

– На дороге валялся, – хмуро ответил тот.

– Г-мы... хорошие писатели на дороге не валяются, – задумчиво под нос себе сказал Харут Марутыч. – Подозрительно, весьма подозрительно. И, простите, Яган Амоныч, в каком состоянии клиент валялся?

– Вусмерть, как сапожник, – отрывисто буркнул вепрь.

– Неправда, – вставил слово я.

– Харут Марутыч, – широко зевнув, вставил дежурный, кивая на меня, – я по глазам вижу: этот зараза – дока, хотя и мешочком прикидывается, под простачка-писаку косит. Кабы он насчёт трёхдневки тоже права не стал качать. Объясните ему заранее популярно, не то я ему объясню по-своему, тра-та-та-та. А то тут недавно один попяра тоже попался и начал корчить из себя законника, мол, я законы знаю, моя душа, мол, три дня должна возле родимых мест летать.

– А что – трёхдневка? – пожал плечами полковник. – С трёхдневкой всё решено уже. Сие суеверие отменено в связи с перестройкой. Скоро и мытарства отменятся, – добавил с грустью. – Грубый век, никакой романтики. Да, да, господин хороший, – обратился он с той же грустью ко мне, – у нас ведь тоже перестройка. Что наверху, то и внизу. А если честно, тоже чёрт-те что творится: та же преступность, мафия, коррупция, разборки, межпартийные склоки. Парламент выдумали! Думу! Ну, разумеется, я тут как тут, в качестве думного. Мне же всё это с молодых коготков знакомо: все эти фракции, фрикции и прочая мастурбация, прошу прощения. А намереди, знаете, за какой-то импичмент голосовали. Обмишулились: ровно одного голобочка недобрали. Я лично подсчёт вёл. Главное же – не голосовать, главное – подсчитывать. Заранее, заранее, учу их, подсчитывать надо. Заранее предскажите почтенному избирателю, как он проголосует. И проголосуют, будьте уверены, как миленькие, как по заказу проголосуют. Практика, брат. Социология. Демократия без неё что уха без петуха: трескай не трескай, а навару нет, и жирку не нагуляешь.

И тут, не открывая глаз, голос подал вепрь:

– Ты, Харут, не демократ, а конформист-либерал. Если кто и загубит демократию, то это вы, либералы-говоруны.

– Нет, извините, уважаемый Яган Амоньч, если кто и развалил наш антимир, так это вы, бывшие сатрапы! – в сердцах воскликнул правовед, очевидно, задетый за живое, на что вепрь только хмыкнул. – Да, да, вот уже результаты налицо: котлы стоят, смола стынет, черти шалберничают, от жира бастуют. Растащиловка пошла! – воскликнул полковник, уже обращаясь ко мне. – Представьте себе, молодой человек, масло, на котором вашего брата, грешника, за милую душу поджаривают, хорошее масло, доложу вам, натуральное подсолнечное, не какое-нибудь там сомнительное соевое, а ведь разбазаривают без стыда и совести! Переправляют в западные и восточные цитадели по подложным документам, миллиарды наживают, на курортах шикают. У нас ведь тоже и курорты есть, и все прочие соблазны. Особняков понастроили, а на какие шиши? И, повторяю: ни стыда ни совести! Представляете, до какой изворотливости иные дошли – это же надо додуматься! – масло наше к вам, то бишь на тот свет, на белый, говоря вашим языком, с нашего на ваш контрабандой переправляют. Вообразите, какое мошенничество: масло из идеального мира поступает в реальный якобы как натуральный продукт. Но к тому сроку, пока дойдёт до вас, оно, естественно, становится нематериальным и, понятное дело, уже не подлежит никакому употреблению, поскольку теряет все реальные качества, присутствие маслу в ирреальном мире. Понимаете, в чём жульничество? Это всё равно что скушать тень рябчика вместо самого рябчика. И наши черти, чёрт их подери, так наловчились мнимое масло впаривать в качестве натурального, по высшему сорту причём, что просто дух захватывает то ли от злости, то ли от страха, что вот-вот разразится вселенский скандал между мирами. Хотя, по правде говоря, скандалить никому нет резона: ни вашим, ни нашим, ни высшим, ни низшим – безмолвие низов и прелестная немощь верхов. Одним словом – воруют. Воруют все от мала до велика и всё что ни попадя: котлы, сковородки, крючья, серу, смолу – кто на кровлю, кто на сдачу во вторчермет, кто куда, всё, мол, сгодится. Ужас!

Знаете, меня иной раз так и подмывает опять взяться за перо. Ух, думаю, так бы взял и прописал-пропесочил всех и вся, всю подноготную вытащил бы! А уж нашего чиновничьего брата так прямо-таки – у-ух! Да ради красного словца не пожалел бы ни мать, ни отца! И вот чую, чую в себе кипучую страсть и талант! Но, увы, во-первых, давал подписку не выносить сор из избы, а во-вторых... Эх, коллега! – И Харут Марутыч с сокрушением истинного интеллигента вздохнул. – Тут же, брат, написать-то напишешь, а попробуй-ка издайся. Тоже ведь, как и у вас, спонсоров надо искать, а это – м-рры, как унизительно! Я ведь, знаете, гордый. Но да связал бы я свою гордость в узелок покрепче, но не в этом суть. А суть, брат, в том, кому это надо? Да никому не надо. А не надо, потому что... нет художественной изворотливости – главного, что прельщает читателя. А какая же изворотливость, когда плюрализм мнений и свобода слова? Это же пресыщенное блудословие и никакого донжуанства.

А мне уже не к лицу смеяться, я уже, брат, на возрасте, я хочу основательности и серьёзности намерений. Я теперь консерватор, мне мила старина и традиция. И я стал любить правду и одну только правду. Я и раньше-то резал только её, бедную. Резал, резал и зарезал – нет во мне больше правды, думаю иной раз. Потому для привкуса возьмёшь и подмешаешь ложечку лжи, но исключительно для привкуса, то есть из любви к искусству и поэзии. Ведь мы, поэты, святые лжецы, не правда ли, друг мой? За что и страдаем. Порой незаслуженно. Меня, к примеру, иные наши называют еретиком и отступником и грозятся предать анафеме, как вашего Льва Толстого. Сами же все лукавые, а обзывают лукавым меня. А я простодушен. Я даже

приготовил себя ко всепрощению. В том числе готов простить и собственное осмеяние. Я стал поститься. Я даже готов дать запечатать себе уста обетом молчания.

И Харут Марутыч, бес-интеллигент, он же шестикрылый полковник, как бы в отчаянии обхватил комолую голову холёными обезьяньими лапками и горько умолк. Из-под лапок, шевеля усиками, выглядывал то ли жучок, то ли скорпион, да и сам Харут Марутыч хитренько и внимательно, назирком оглядывал чертей-сотоварищей.

А между тем вепрь как будто всхрапывал непритворно; игроки за пергородкой угомонились, тоже подрёмывая; сержант-дежурный, отвесив нижнюю чернично-сливовую губу, тоже, казалось, дрых во всю ивановскую и чему-то улыбался во сне. Связка ключей от камер-узилищ еле держалась на его крючковатом кончике когтя указательного пальца. Вот чуть помогутнее всхрапнул Яган Аmonyч – и ключи сорвались со звяком на пол. Сержант вздрогнул, но не проснулся, лишь нахмурился во сне. И чертенята вепря не среагировали, зевая во весь рот и потирая уже не раскрывающиеся глаза.

– Послушайте, – сказал вдруг шёпотом мне полковник, – я ваш друг, я не тот, чью роль здесь играю. Я вам устрою побег. Не бойтесь, я их всех усыпил комплексом вербальных приёмов в своих монологах. Кстати, никакая машина вас не сбила, вы вовсе не престаивались, и задержали вас противозаконно. – И полковник весело подмигнул мне: – За мной, писатель! Кто сказал, что ни ада, нирая нет? Рай и ад начинаются здесь!

И он когтем указал на сердце и опять подмигнул, но теперь это был блеск стального клинка, который внезапно пробудил у меня смутную волю и надежду на спасение.

Тут из подземелья, как и давеча, послышалось: «Братия, братия!.. Какое страшное таинство смерти!» Но никто из чертей ни ухом ни рылом не повёл.

– За мной! – живо сказал мне бес, при этом быстро поднял упавшие с пальца дежурного ключи и проворно, бесшумно выскользнул из приёмной, мимоходом погрозив почему-то пальцем-когтем женщинам за решёткой, сидящим на раскляпанной докрасна плите: – Смотрите у меня, лахудры!

Я тотчас за ним. Но напоследок мимовольно перекинулся взглядом с зачуханной Варенькой – о, сколько было жалобы и укора в её глазах!

Торопливо, почти бегом я и комолый шли опять по смрадным коридорам, но теперь уже вверх. Стены слева дышали жаром, стены справа – мрачным холодом. На первом повороте как из-под земли вырос часовой с алебардой:

– Стой, кто идёт! Пароль?

– Пошёл к чёрту, дурак! – пробегая мимо и таща меня за руку, ответил полковник.

И так раз до тридцати: «стой, кто идёт» – «пошел к чёрту, дурак!» Очевидно, это и был пароль. Наконец мы выскочили на улицу сквозь арочные ворота. И необыкновенно ловко, как-то задом наперёд, точно прыгун в высоту или как ловкач на киноплёнке, прокручиваемой скоропалительно обратно, впрыгнул в летучую тарелку, ту самую, на которой столь беспардонно доставили меня из мира реального в мир, выходит, инфернальный. Не менее ловко помимо воли вскочил в машину и я (как во сне).

– Поехали! – полковник взмахнул рукой, и мы взвились в чёрное небо ада. Но ввысь летели недолго.

– Пристегнись! – крикнул мне сквозь жужжание в ушах пилот-гуманоид (да что это в самом деле?!) и стрелой-молнией направил аппарат снова вниз, в пике, и земля, сама преисподняя стала раскрываться глубже, глубже, глубже...

Глава 7

О ТАЙНОМ ШЁПОТЕ В НОЧИ

Блистала молния, как стальная цепь в руках уличного хулигана. С треском рассыпались удары грома, и ливень хвостатой плёткой что есть силы нахлёстывал землю.

– Господи, Царица Небесная! – крестилась Марья Антоновна в сенях, готовя ужин на керосинке. – Эка гремит, как сивый жеребец на Сионской горе!.. Небось, Рая с Васькой теперь как бояться. Спаси и сохрани, Царица Небесная, от беды и напасти.

Но всё это длилось недолго. Небесный царь-громовик проскакал на бешеных своих лошадях, и гул колесницы его отдалённо затих. По улице, как дети наперегонки, неслись ручьи. С неба всё ещё падали и вязли в густой мураве на проулке долговязые дождевики и угомонились лишь под вечер. Крыша мира посветлела, стала молочно-матовой. В село с рёвом и бляением ворвалась скотина. За ней и наши пастушки, Рая и Васька, промокшие до нитки, оба возбуждённые и полные какого-то восторга.

Десятилетний быстроглазый Васька со священным ужасом пустился рассказывать, как ударила молния в старую ветлу у реки, и дерево вспыхнуло, будто сухое полено; как заметалась скотина...

– Как в самих-то не угодило, – сокрушалась Марья Антоновна.

– Да мы ж не дураки, – важно отвечал Васька, – нас же в школе, чай, учили, что во время грозы нельзя под дерево садиться.

– Молонья – она не разбирает, человек аль дерево. Куда Господь укажет, туда и жиганёт.

– Ну, прямо уж, – возражал всезнающий Васька, – она метит в чё повыше иль в железное, поэтому громоотводы и ставят. Правильно? – обратился ко мне, что означало: принял за своего.

Я авторитетно поддакнул и рассказал про обычай у славян закапывать поражённого молнией человека на некоторое время в землю: статическое электричество из тела перетекает в почву, и человек может ожить.

– А если задохнётся?

– Да поражённый молнией и так фактически не дышит. И пульс почти прекращается. Это клиническая смерть.

– Какая? – удивился Васька.

Я пытался ему объяснить. Потом Васька расспрашивал о шаровой молнии. Я толком не знал про это явление, но на ходу «научно» фантазировал, чтобы не уронить возникший авторитет.

Темнело. Сумерки вползали в дом. Света не было.

– На подстанции отключили, – сказал всеведающий Васька, – замкнуло где-нибудь от грозы.

Переодевшись в сухое, Рая, босая, в трико, чуть подвёрнутом повыше щиколоток, и в мужской рубашке с засученными рукавами (чьей бы это?), широкой ей в плечах и узелком завязанной на животе, бегала деловито туда-сюда по комнатам, мельком бросая взгляды на меня.

– Что так вырядилась-то, как одеть нечего? – заметила дочери Марья Антоновна.

– Ой, ну тебя, мама, вечно всё тебе не так и не эдак. Все так ходят.

После ужина хозяйка предложила на выбор: либо спать мне в сенях («Но я там колгочусь ни свет ни заря, как корову сгонять и до самого позд-

на»), либо в мазанке: «У нас там сухо, чисто, ларь, сундук и кровать стоит. Сашка парнем дневал и ночевал там... Ох, Господи, скорее б возвратился, что ль, душа вся изболелась до немоготы». Марья Антоновна скупно рассказывала мне, когда Рая была на пастбище, за что посадили сына.

– Эх, сынок, говорю ему на свиданке, это ж не силос с фермы воровать, с государством-то шутки плохи, мы, чай, в войну-то спознали: за карман зерна иных сажали. А тут, говорит, мама, иные за мешок зерна сидят больше, чем я за своё. Знать, пошёл по кривой дорожке. Чего ж теперича? Одно – Бога молю, может, образумит.

И после видел я, как однажды стояла она за сараем у плетня и, утирая слёзы, молилась на закатное солнце и шептала древние слова-обереги, как шептали их миллионы женщин до неё и будут шептать после. О, материнская доля!

Ночевать я выбрал мазанку. Марья Антоновна послала Раю стелить мне постель. В сладкой неуверенности заныло сердце, когда девушка, держа в охапке одеяло, подушку и простыню («Матрас-то выколоти», – услышал я), оглянулась и улыбнулась мне в дверях. Спустя минут десять, когда затихли удары палки о матрас, я тоже вышел на проулок, смутно зная, что это уже любовь. Она началась. Правда, как-то уж слишком легко, просто и... незаслуженно. Сердце трепетало робко и сладко. Да, кажется, давно-давно я не испытывал подобного чувства: что-то мальчишеское. Так было со мной в лет четырнадцать-пятнадцать, когда впервые пошёл на свидание с девочкой, жившей неподалёку от нашего двора. Поздний август, звёздно, холодно. Я придумывал, о чём буду говорить с ней, и дрожью дрожал не столько от холода – холод только усугублял озноб первого свидания, – а скорее от волнения. Я это и потом нередко испытывал – озноб, если сильно влюблялся, а не просто так. Влюблялся же я много-много, с самого раннего возраста... Что-то сходное, ознобисто-мальчишеское начиналось и сейчас.

На крыльце мы столкнулись: Рая возвращалась торопливо в избу, я, ступенькой выше, невольно обнял её за плечи, она как будто не удивилась. Я что-то сказал ей, она что-то ответила и с улыбкой спросила:

- Не замёрзнете там?
- В мазанке? Видишь, уже дрожу.
- Холодно, да?
- Нет, это я... боюсь.
- Чего?
- Тебя.
- Меня? Правда?
- Честное слово. – Я взял её руку и поцеловал в ладошку.
- Не надо, – не отнимая и не пугаясь, но шёпотом сказала она, – вдруг мама увидит...
- Ты придёшь? – ещё тише спросил я.
- Куда?
- Ко мне.
- В мазанку?
- Ну, в мазанку...
- Вы что? Я боюсь.
- Меня?
- Нет. Я вообще боюсь.
- Почему?
- Вы такой взрослый... – Она покосилась в сторону мазанки: – Нет, туда нельзя, мама будет ругаться.

– Ну, хотя бы выходи на улицу. Я же теперь умру с тоски без тебя.
– Умрёшь – похороним, – тихо-тихо засмеялась Рая и, осмелев, сказала: – Ладно. Я сейчас у мамы спрошу Санины сапоги, они вам, наверное, как раз будут впору, и мы пойдём к моей подруге, она, может, тоже приехала, я вас познакомлю. Ладно?

Я быстро наклонился и поцеловал её в щеку (щека запомнилась прохладной и чистой, как яблоко-антоновка). Радостный испуг окрасил лицо девушки. Несколько секунд она стояла не дыша. Потом каждая чёрточка брызнула счастливой улыбкой, и Рая скользнула в сени. У меня тоже перехватило дыхание.

Подружки Раиной, к счастью, дома не оказалось, не приехала ещё из города (а мне и не хотелось в тот момент ни с кем знакомиться – ну их всех!). Село вообще, точно зачарованное, блаженно притихло-замерло. Даже не лаяли собаки, напуганные небесным светопреставлением и теперь решившие молчно дремать до утра. Кое-где тускло светились окна керосиновыми лампами: свет электрический так и не дали. Зато на небе звёзд высыпало много-премного, и разгорались они всё ярче и жгучей. Млечный Путь усыпался золотым зерном, как полевая дорога в страду, которая вот-вот начнётся на селе.

Редкие и короткие всполохи всё ещё вспыхивали, напоминая о дневной грозе. Рая с чувством пересказывала, как ей было страшно на лугах за рекой, когда заблестали молнии, загредел гром, как захныкал Васька, всякий раз припада к земле, и даже крестился, когда трескалось с дребезгом небо.

– Крестился? – удивлялся я.

– А ты как думал – знаешь, как страшно! – искренно отвечала Рая.

– А ты? Ты тоже... крестилась?

– Нет, я большая. Я Васьки стеснялась. Но страху натерпелась!.. Я молитву про себя читала – меня мама в детстве научила.

И Рая опять продолжала рассказывать, как припустились в село овцы во главе с шайкой своенравных коз и с каким испугом бежала она по мосточку через Окшу.

– А молонья как ударит в воду – и вода как зашипит, точно в бане, когда на каменку плеснёшь! Я так боялась, так боялась...

Она так и говорила «молонья», как и Марья Антоновна, и это слово показалось мне одушевлённым, явно похожим на женское имя «Маланья». Нет, *молонья* никак не должна была убить ни эту замечательную девушку, в которую я уже влюбился за чудесную простоту, наивность и доверчивость, ни её брата, который так здорово врал и храбрился, когда рассказывал то же самое. Мне уже были дороги эти два человека. Я приостановился и обнял Раю. Оба стали лицом к лицу. Она же умолкла и опустила глаза.

– Скучно у нас? – сказала, похоже, первое, что пришло ей на ум, чтобы не молчать.

Я не отвечал, улыбаясь, ждал, когда она поднимет глаза.

– Ничего, – продолжала она, – в выходной из города придет молодёжь... девушки...

– Мне больше никого не надо, – догадался я, о чём она, – мне теперь уже никогда не будет скучно.

– Да? Почему? – Она наконец подняла свои чудесные, почти детские глаза.

– Ведь теперь со мной всегда будешь ты, маленькая моя. – И я осторожно поцеловал её в губы.

Девушка чуть отстранилась, застеснялась, потом порывисто прижалась ко мне, уткнувшись в грудь.

Так мы стояли долго-долго. Рая призналась шёпотом смущённо:

– Я не целовалась ещё ни с кем.

– Звёздочка моя!.. – Я поднял её головку, с нежностью и умилением вновь глядя в её лицо.

О, эта нежность, это умиление – они были настоящие, непритворные, необманчивые!

– Звёздочка? – она улыбнулась, ещё не совсем доверяясь, как бы всё ещё спрашивая, не обманываю ли её.

Нет, не обманывал.

– Да, ты как звёздочка упала неожиданно мне в руки. Я боюсь, вдруг так же неожиданно и потеряю тебя.

– А ты береги меня, держи крепче, и я никогда-никогда не потеряюсь.

– Я обещаю. Обещаю!

И поцеловал её ещё раз, уже дольше, но некрепко, нежадно, точно жалея. (О, так бы жалеть всю жизнь!)

Потом мы опять пошли. Но медленно-медленно. Кто любил, тот знает – куда торопиться влюблённым? Торопятся любовники – любовь же полагает, что впереди у неё вечность.

У дома я легко подхватил Раю на руки и донёс до крылечка, поставил на вторую ступеньку. Теперь она была выше и, обняв меня за голову, ласково ерошила волосы...

– Они у тебя красивые, – говорила, – кудрявые. Ты маме понравился. Она мне рассказала, как ты сегодня беспокоился за меня, когда полил дождь и ударил гром. Ты в самом деле хотел идти к нам с Васей на луга на помощь?

Значит, догадался я, Марья Антоновна вечером в сених об этом и шептала Рае, когда та воскликнула: «Ой, мама!..» – и смущённая вошла в избу.

– Марья Антоновна преувеличивает, – ответил я, с трудом скрывая, как мне приятно, что хозяйка рассказала об этом дочери, потому что я действительно беспокоился. – Наверное, она тебе сказала, что я и влюбился в тебя? – немного посмеялся я.

– Нет, – простодушно ответила Рая, – она не так сказала.

– Интересно, а как же?

– Она сказала: «Вот влюбится он в тебя, коза-модница!..»

– Коза-модница?

– Это она меня за рубашку. Чего, говорит, узлом на пупке завязала, бесстыдница? А ведь мне так идёт, правда?

– Очень.

– У нас в общежитии все девчонки так ходят. Специально мужские рубашки покупают или берут у ребят, с которыми дружат.

– И ты тоже?

– Нет, я только дома. Я стесняюсь в общежитии. Это я рубашку нашего Сани надела.

– Брата?

– Да. Я так соскучилась по нему!

– А меня ты не стесняешься?

– Стесняюсь, – уткнулась мне в фуфайку. – Знаешь, что мама мне сказала?

– Что?

– Когда я понесла тебе сапоги и одежду, смотри, говорит, чтоб ничего там, а то, говорит, они, городские, ушлые.

– Ясно. Во-первых, обещаю, я не сделаю, чего не надо, вербиночка моя...
Рая прижалась ещё нежнее, крепче и стыдливей.

– Во-вторых, не такой уж я городской, как ты знаешь: вон моя деревня, вон мой дом родной, – кивнул я в сторону Чернозелья. – До пятнадцати лет я безвыездно жил там. И даже сейчас не понимаю, городской я или деревенский.

– А я тоже не люблю город: там какие-то все чужие. У нас тут не так. Тут соседи поругаются из-за чего-нибудь, а потом и опять помирились, как ничего и не было. И ведь правильно, да? Нельзя же всё время друг на друга дуться? А в городе все какие-то... тротуарные.

– Это как?

– Ну, встретились, взглянули друг на друга и разошлись. А то и вообще идут, не видя никого вокруг. Какие-то все ненужные друг другу. В деревне не так... Хотя тоже...

– Рая, ведь ты очень умная девочка.

– Я?! Что вы...

Я заметил: она сбивалась, обращаясь ко мне то на «ты», то на «вы», и это тоже умиляло.

– Я вообще ничего не понимаю...

– А и не надо. Просто надо... чувствовать. Чувствовать жизнь и людей. И ты это умеешь. Знаешь, мне кажется, я полюбил тебя. Ты мне веришь?

– Да, верю, – тихо-тихо прошептала она. – Но так, наверное, нельзя. Мы только-только познакомились. Только полдня же прошло.

– Я тоже об этом думал. Впрочем, прошло уже больше. Ведь сейчас ночь, а ночью время течёт в три раза быстрее – это наукой доказано.

– Правда?

– Конечно. Это ещё Эйнштейн доказал, – принялся шутить я. – Разве ты в школе не учила физику?

– Я в физике ничего не понимаю. А Эйнштейна помню только по портрету в классе: смешной такой старикашка, и вот такие усы!

– Эх, ты, двоечница маленькая!

– Я не двоечница и не маленькая! Смотри, я выше тебя, – в полный рост встала она на ступеньке. Потом вдруг спросила: – Ты есть хочешь?

Внезапно вспомнилось: будучи студентом, приезжая домой на летние каникулы, я обыкновенно до утра пропадал на улице («на улице» – это значит где-то ночью, неизвестно где, о чём родители всегда беспокоятся), гулял либо с кем из чернозельских девчонок, либо с друзьями уходил-уезжал в соседние сёла и возвращался на рассвете, когда мать уже сгоняла со двора скотину на пастбище и ворчала на меня. А мне всегда ужасно хотелось есть.

– Хочу, – ответил я Рае.

– Тогда я принесу сейчас молоко и хлеб. Хорошо?

– Хорошо.

Она бесшумно открыла дверь и юркнула в сени. Через несколько минут вернулась с банкой и горбушкой хлеба.

– Пойдём в мазанку, – предложила шёпотом.

Когда в мазанке задули лампу (тоже была предусмотрена здесь, очевидно, со времён Раиного брата Сани), Рая старательно занавесила маленькое крестовидное оконце и попросила говорить негромко («Не то кто-нибудь вдруг пройдёт мимо и услышит, потом болтать будут всякое»). Глупенькая, она ещё не знала, что шёпот страшно пленит влюблённых.

Мы ели вместе хлеб и молоко: я – глоток, она – маленький глоточек. Было вкусно. И губы её потом тоже пахли молоком. И мне нравилось. Как

и после нравилось целовать её грудь, когда она стала моей женой, матерью моего сына, и смеялась, говоря: «Илюша, я не прокормлю вас двоих. Смотри, какая у меня маленькая грудь». А я шутя отвечал, ласково прикусывая её бутоны: «Не жадничай, мамочка, я только попробую, одну только капельку, остальное всё – Славику...» О, мужчины, забывшие вкус молока своих матерей, вы должны знать вкус млека ваших жён, чтобы помнить всегда о матерях. Маленькие священные Эдипы.

Глава 8

НА ЗВЕЗДОЛЁТЕ. ПОЭТ И ЧИГИЛЯНОЧКА. НАЧАЛО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ

Сколько летели, не помню. Но как будто недолго. Впрочем, веки мои наливались свинцом и вот уже помимо воли стали слипаться, и я задремал.

Когда же очнулся, крайне удивился: теперь я находился (причём лежал) не в тесной кабине авиатарелки, а в просторном овальном салоне явно космического корабля, где стены плавно переходили в куполообразный потолок.

В салоне вроде никого не было. Однако я почувствовал, что за мной кто-то наблюдает. И точно: прямо перед собой я увидел маленький приглушённо светящийся экран, вмонтированный в вертикальную панель с наклонённой клавиатурой. С экрана-то и смотрел в упор на меня, тоже тревожно, какой-то молодой человек, хотя и приятной, даже красивой – утончённо-красивой! – внешности, но возбуждающий какое-то странное недоверие. На молодом человеке была синяя больничная пижама, и, странно, он копирующе реагировал на малейшие мои жесты, наклоны головы, изменения положения туловища. И я почему-то страшно заволновался, заёрзал, точно на экране был я сам, хотя ни малейше не похожий на себя.

Но тут моё внимание отвлекло лёгкое жужжание сзади. Я невольно обернулся: в округлой стенке салона половинчато разъезжалась дверь. В проём вошёл в докторском халате мужчина немалых уже лет: седая важная борода, в золотой оправе очки и всё такое полагающееся доктору, причём очевидно, не просто доктору, а светилу, солидному учёному. Это ещё больше взволновало меня: где я? что со мной?

Доктор шёл ко мне строго и важно, чуть-чуть прихрамывая и опираясь на лёгкую чёрную трость. Мелькнула мысль, что он немного похож на... Рината Хайрулова, знаменитого Сурградского экстрасенса, доктора нетрадиционной медицины... Впрочем, нет, нисколько не похож, так, померещилось.

– Как дела, Кристо? – дружески спросил вошедший. Сел слева сбоку на вращающееся кресло, чуть приоткинулся на спинку, трость положив на колени. – Кажется, ещё не освоились в новом теле? – улыбнулся доктор.

– Как... в новом теле? – недоумённо спросил я и оглядел себя: ничего такого нового в себе я не заметил, разве вот... кисти рук, не прикрытые больничной пижамой, показались несколько... чужие. – Где я? – оставив мысль о руках, с тревогой спросил я.

– На звездолёте «Семаргл», друг мой. Видите ли, Кристо... – начал доктор. И всё-таки походил он на брата Риммы Хайруловой, ей-ей, походил!

– Почему – Кристо? – опять с тревогой и недоумением перебил я.

– Видите ли... Как бы вам это поосторожнее объяснить?.. Кстати, прошу прощения, не представился: доктор Филл. – Он слегка поклонился. – Можно кратко: «док», если угодно, можно просто «Филл», без церемоний. Вы зада-

ли вопрос, почему я вас называю «Кристо»? Ну, вы помните, мы помогли вам покинуть инфернальные слои космического тела, имя которому Земля. – Док надел очки и опять приоткинулся на кресле, поигрывая тростью. – Извините, вы были чистый дух. Или, выражаясь более привычным для вас термином, вы были бестелесной душой, без материальной, так сказать, оболочки. Да это и неважно – терминология. Главное, у вас теперь новое прекрасное тело. А то, ветхое, осталось на Земле и, наверное, уже похоронено.

При этих словах у меня всё сжалось внутри и опять невольно я взглянул на кисти своих рук: так и есть – не мои это руки! О, что же это такое?! И руки задрожали, и голос задрожал (и голос-то, голос – не мой голос!).

– Как же это?... – сказал я чуть не плача.

– Да всё очень просто, друг мой. Биоинженерные возможности цивилизации, к которой мы принадлежим, уже давно позволяют нам создавать живые формы человека ли, животного или растения – неважно. Даже души, или, говоря языком ваших философов, даже монады мы способны конструировать. Но это исключительная прерогатива Высших Космических Иерархий, или Высшего Космического Разума! – с гордостью заключил доктор Филл.

Экран загорелся ярче, изображение увеличилось. Теперь там уже сидели двое: доктор Филл и всё тот же красавец-пациент.

– Это экранированное управляемое зеркало, – пояснил док.

Скоро на экране лицо пациента выделилось крупным планом, до мельчайшей чёточки. Воистину красавец! Тонко смугл, но синеглаз и русоволос. Волосы слегка вьющиеся, густые, шелковисто-мягкие. В глазах, однако, метались испуг и удивление. И вдруг меня ясно-преясно пронзила мысль: ведь это же я, Илья Кауров! И ужас изобразился в синих глазах красавца. «Не-э-хо-о-чу-у!» – закричало всё во мне, и я в страхе зажмурился, а когда открыл глаза, экран был погашен. Доктор, нахмурившись, сидел против меня, руки скрестив на груди, левую на правую.

– Я огорчён, – сказал он. – Я полагал, мой друг, памятуя о вашей прежней, далеко не восхитительной физиономии и внешности в целом, что вы не только не возропщете, а возрадуетесь. Ну и что с того, что вы потеряли своё лицо, зато какое приобрели! Я, извиняюсь, приложил всё своё искусство, мне ассистировали лучшие мои ученики... И, согласитесь, было бы нелепо такому красавцу остаться в безвестности. Да ведь мы, Кристо, и готовим вас для великого дела. Да, да, и нам нужен царевич, во всяком случае, по внешним данным, по фактуре, так сказать. Для этого пришлось подключиться к Космическому банку абсолютной информации, а это, доложу вам, редко кому разрешается. Мы нашли, дорогой Кристо, – продолжал доктор Филл нравоучительным тоном, – что в одном из своих воплощений именно вы были библейским пророком, пытавшимся уклониться от возложенных на него обязанностей, поэтому в другом воплощении, спустя долгие годы бесцельного сна, по закону возмездия вы приопустились до восточного пиита, впрочем, очень знаменитого при жизни и после. Ох, уж эти мне поэты! – поморщился доктор. – Однако слава ваша прокатилась через века, и это отчасти помогло нам в поисках вашей бессмертной монады. Х-мы... в истории даже остались анекдоты о ваших причудах и любовных увлечениях, – улыбнулся док. – Один колченогий воитель чуть было не казнил вас за пару восхитительных строк, посвящённых одной злополучной красавице. И только врождённое остроумие спасло вашу забубённую головушку, потому что ответ на вопрос властелина: «Как ты посмел, бродяга?!..» – рассмешил мрачного и жестокого воина, не улыбавшегося никогда и ни при каких

обстоятельствах. Разве вы не помните это, Кристо? – спросил доктор Филл и внушающим взглядом впился в меня.

И действительно я как бы что-то стал припоминать.

Сначала с трудом, а потом всё яснее и яснее вспомнил вдруг я красавицу с дивной родинкой на смугло-горячей щеке, увидел как наяву трепещущий в танце живот её и несравненные, точно живым золотом окованные бёдра... Всплыл в памяти и мрачный хромой эмир с железным лицом. И вот уже вижу, как воины-слуги по велению его схватили меня вместе с юной возлюбленной, купленной мной на пёстром невольничьем рынке за целую горсть динаров из жалости к ней и вспыхнувшей внезапно страсти. О, как любил я её, пугливую серну, какие слагал ей стихи и в каком упоении пел их под сладкозвучный рубаб в чайхане у Фархада! И как восторгались простые дехкане и хитрые сладкоголосые купцы, когда в часы полуденного солнца стихал горячий Шираз, как уставший любовник после пылких утех, и душной толпой ломились они в двери прохладной чайханы, чтобы услышать мои волшебные рубаи и газели. И толстый чайханщик Фархад, радостно богатея от наплыва посетителей, долгое время бесплатно кормил, поил и за бесценок сдавал худую хижину на задворках мне и моей золотистой рабыне-наложнице. О, моя ширазская турчанка, несравненная моя чигиляночка Фаягуль! О, как было нам хорошо в той бедной хижине!

Но воины эмира, до которого докатилась дерзкая слава моя, однажды схватили нас, перекинули поперёк сёдел и чуть живых доставили пред грозные очи Тимура. «Как ты посмел, бродяга, – процедил слова, как густую смолу, сквозь зубы мрачный завоеватель поддунного мира, при этом процитировав знаменитые поэтические строки мои, – как ты посмел за одну родинку этой шлюхи отдать мои города-жемчужины, на которые я положил всю мою жизнь?!» У меня задрожали и подогнулись колена, но, скрепив себя, я нашёлся: «О, повелитель правоверных! Взгляни же на меня». И я, бедный поэт-дервиш, обвёл себя руками и горестным взглядом: да, да, я стоял в рваном засаленном чапане, изношенных шальварах и разбитых вдрызг бутах. Все деньги до последней монетки, всю душу свою я тратил на свою красавицу-рабыню – нет-нет, не рабыню, не наложницу, а жену и подругу, сестру и помощницу! – потому-то ходил и нежил, и украшал её, как Аллах предвечным искусством изукрашивает белые, золотые и тигровые лилии. О, как любил я её, безумный! И вот теперь она, дорогой небесный цветок, дрожа от страха, пряталась за нищей и сторбленной моей спиной. О, я знал: она полюбила меня, старика, за мою доброту, за любовь и несказанные ласки, за мои соловьиные песни... «Взгляни, повелитель, – я окинул взором свои лохмотья, – вот до чего довели доброта и щедрость мои!» И никогда не улыбавшийся суровый воин после минутного молчания вдруг расхохотался и, припадая на правую ногу, подшаркал ко мне, рывком снял с себя трёхпалой рукой золотом и серебром расшитый халат и бросил мне. «Иди, оборванец, – не переставая хохотать, повелел он, – и больше не попадайся на глаза мне вместе со своей шлюхой, ха-ха-ха!»

И уж было повернулся я и, как птица, крылом защищая птенца своего, обнял-укрыл свою возлюбленную чигиляночку. Но то ли слишком нарядна она была для рабыни, то ли чутьём зверя-самца почуял хромоногий воин сквозь тонкие одежды красоту девы – и оборвался его хохот (и, думаю, ещё мелькнула и больно царапнула, как горячая бургасская стрела по-над Мокшей-рекой, какая-то мысль, которой он не придавал значения, он – воин и повелитель), и послышался голос мужчины с вкрадчивым добродушием: «А ну-ка, приоткрой своё личико, пери, и покажи-ка ту родинку, за кото-

рую этот старый суфий-гуляка готов был отдать мои Самарканд и Бухару». И не посмела послушаться бедная Фаягуль, открылась. И тотчас вздулись ноздри колченогого зверя, лишь взглянул он на её неземное лицо. В полградуса повёл он головой в сторону затемнённой ниши, откуда в мгновение ока выскочил нукер-телохранитель с тигриным поклоном и улыбкой ловца одалисок. «Дай этому бродяге в придачу ещё новые шальвары, сапоги и кулах, а её, – чуть шевельнул бровью кривой властелин Востока, – в мои покои».

И сел, почему-то враз усталый и хмурый. И тут, я думаю, он услышал внутри себя чей-то чужой, не столь суровый, сколько насмешливый голос: «О, ничтожный завоеватель подлунного мира, знай же: пройдут века, и потомки, вспоминая твоё грозное имя, непременно помянут и весёлое имя поэта. Но, вспоминая поэта, чья слава донесётся до них на белых крыльях любви, помянут ли тебя?» «Но моя слава полководца?! Моё необъятное царство?! Мои города-жемчужины?!» – возразил эмир. «Всё – прах и пыль, лишь слово бессмертно». И голос умолк. И железный Тамерлан сник.

А что было со мной? О, не спрашивайте! Какое безудержное горе навалилось на плечи мои, плечи певца-златоуста! Кто заменит мне любимую и прекрасную Фаягуль? Какая Лейла? Какая красавица Ширин? Никто и ничто! О, женщина – душа моя!

И распродав презренные подарки эмира, заливал я горе вином и слаще, в тысячу раз слаще пел горькие песни баям, купцам и дехканам. И отныне не познал я более ни единой женщины, потому что никто-никто на свете не мог заменить мне Фаягуль.

– Ну, будет, будет, – пожурил меня доктор Филл и протянул свой платок. – Утрите, утрите. Вы уже не тот сентиментальный старик, обиженный жестокосердным невеждой. Кстати, мы приготовили вам сюрприз, дорогой наш друг. Можете себе представить – о, как это было непросто! – но мы отыскали на задворках Вселенной вашу... г-мы... как назвать её?.. Словом, мы отыскали вашу подругу.

– Фаягуль?! – воскликнул я. – Это правда?!

– Правда, правда, – промурлыкал док. – Правда, тело ещё не совсем готово...

– Я не хочу никакого другого тела! – закричал во мне Кристо, он же Кауров и он же некогда урожденный Шамсиддин Мухаммад, а попросту Хафиз Ширази.

– О, нет, нет, – успокоил меня доктор Филл, – мы полностью, до девяноста девяти процентов восстановим её геном. Только вот эта чёртова родинка... ну никак не даётся!

– Умоляю! Умоляю! – протянул я к доктору свои новые, прекрасные руки – руки Кристо, а не Каурова. – Родинку, умоляю, оставьте!

– Непременно, всенепременно, – заверил доктор и поправил с улыбкой дарителя: – Но «не оставьте», а «воссоздайте». И мы, разумеется, воссоздадим.

Глава 9

ЯН

Прошло две недели «ссылки». Я обвыкся с работой. Управляющий был мной доволен. Я подправил и мосток через Окшу, и изгородь Марье Антоновне, после чего она меня совсем зауважала. А теперь чинил на ферме клетки-ясли для теляточек. Никто не стоял у меня над душой, не подгонял,

не контролировал, я делал своё дело старательно и умело, поскольку шабашнический опыт научил многому.

На селе уже знали, что «квартирант Марьянтоновный за её Райкой ухлёстыват. Каждую ночь за речку на луга ходют. Знам дело, зачем ходют». Этот разговор соседок-бабулек, кривляясь и обезьянничая, передал нам с Раей Васька-бесёнок (он вообще любил всячески поддразнивать сестру).

Обыкновенно, как только темнело, мы с Раей «на пионерском расстоянии» шли к Сальникову двору, где собиралась кое-какая уцелевшая на селе и приезжающая на выходные молодёжь, с которой я вполне подружился. С парнями – на почве отчасти спортивной. Однажды на спор я отжался больше всех на руках, а когда кто-то принёс боксёрские перчатки и я понял, что никто, собственно, боксировать не умеет (а я в своё время чуть не стал кандидатом в мастера спорта), шутя показал им свои способности, отчего авторитет мой мгновенно поднялся. Правда, до того небольшая стычка всё же была.

Как-то отыскалась в Чернявке гитара, и я под настроение пел теперь вечерами Есенина, Окуджаву, Высоцкого и дворово-блатные песни. Это тоже всем нравилось. Одна песня у меня была «коронная». Сюжет её, как и многих уличных баллад, явно восходил к седой древности, а герои – своего рода Ромео и Джульетта. Только Ромео из преступного мира, а Джульетта (русская Катерина) – чистая девушка из простонародья. Этой песней, как правило, я заканчивал свою «программу», и песня очень нравилась чернявским девушкам и пацанам.

*Шутки на море порою бывают жестоки.
Жил-был рыбак с черноокою дочкой своей.
Горя-нужды та красotka не знала,
Крепко любил её старый рыбак Тимофей.*

Иногда я исполнял песню с особым воодушевлением, с особенной интонацией, играл то переборами, то пощипыванием струн, то переходил на бой-восьмёрку. Гитара-семиструнка была старенькая, но звучала неплохо. Песня влекла слушателей в романтический мир преступной, но идеальной любви.

*Бедный рыбак похудел от тоски и от горя.
«Доченька, брось, твой любимый – бродяга и вор.
Если сказал я тебе: брось его, Катерина,
Лучше убью, чем отдам я тебя на позор!»*

Сюжет заканчивался тем, что уличённого в воровстве молодца толпа жестоко растерзала, о чём злорадно и сообщил дочери пьяненький отец-рыбак.

*Громко он крикнул: «Конец твоему молодцу!
В краже поймали и в краже его обвинили,
В драке убит был, туда и дорога ему!»*

*Девушка быстро накинула чёрное платье.
Город был близко, и возле кафе одного
Кучу народа с трудом она здесь растолкала,
Бросилась к трупу, целуя, лаская его.*

*Но карие очи давно уже были закрыты,
Алая кровь запеклась у него на груди...*

*Девушка, вся разодетая в чёрное платье,
Бросилась в море с высокой отвесной скалы.*

Ну чем не Джульетта? И как тут тайно не позавидовать такой лебединой верности?

Я делал прощальный перебор, улыбался какой-нибудь очарованной слушательнице, передавал гитару в другие руки, а сам уходил с Раей за Окшу; возвращались на рассвете, когда небо уже распускалось зарёй.

Однажды мы стояли на нашем «калиновом» мосточке, облокотившись на перильца. Ночь было тёплой и тихой. Новая луна, как венчик на старой иконе, обозначилась на тёмном небе. Рая вдруг заговорила о брате, она всегда называла его «наш Саня».

– Я чувствую, наш Саня на днях придёт.

– А как ты это чувствуешь? – спросил я не без интереса.

Рая пожалала плечами:

– Не знаю. Просто, когда ты пел, я вдруг подумала, что тот парень из песни, знаешь, он как бы похож на нашего Саню, я всегда его таким и воображаю. Вот ты увидишь.

– Странно.

– Но это я так. А когда ты пел, я его как бы вдруг увидела...

– Кого?

– Нашего Саню. Он так модно одет!

– Любопытно. Из тюрьмы по последней моде, х-мы... – ухмыльнулся я. И почему-то почувствовал заранее какую-то неприязнь к будущему своему родственнику.

– Илюша, – тихо сказала Рая, – только ты не ссорься с Саней. – Рая стала расстёгивать и застёгивать мою пуговицу.

– А почему я должен с ним ссориться? – меня немного насторожила её просьба.

– Не знаю. Я почему-то чувствую, что вы поссоритесь. Я смотрела на тебя в тот раз, когда пьяный Женька Троханов придирался к тебе...

– И что же ты увидела? – спросил я, вспомнив недавнюю стычку с хмельным сельским парнем, когда тот попытался угрожающе заставить меня петь и играть на гитаре больше, чем мне хотелось (не было настроения). Я швырнул ему гитару: «Играй сам!» – и пошёл с Раей прочь.

Он же догнал и схватил меня сильной цепкой рукой за плечо. Я обернулся, загораживая собой Раю. Ещё бы мгновение, и я бы саданул придиравшегося аборигена с левой и правой, по печени и в челюсть. Но Рая ввернулась между нами, расталкивая и крича с каким-то детским полукриком-плачем: «Не надо, не деритесь! Женька, Женька! Илья!..» Тогда я вдруг как-то непростительно жёстко оттолкнул её и холодным, злым тоном резко предложил парню: «Пойдём один на один. А ты не лезь!» – прикрикнул на Раю. Она заплакала навзрыд. Я же, не оглядываясь, пошёл в темноту, готовый в любой момент, если Троханов бросится сзади, увернуться и драться в полную силу. Однако плач ли Раи, ещё ли что, только в последний момент, когда я уже с ходу хотел нанести Троханову удар с полуоборота, вдруг что-то остановило меня. «Послушай, Евгений, – спокойно обернулся я к парню, уверенно шагавшему за мной, – а с чего нам драться?» – и как-то убедительно стал ему доказывать, что оба мы не правы. Троханов, однако, заупрямился, требуя поединка, и даже пару раз замахнулся. Но я даже и намёка не сделал уклониться, хотя знал, успею. И скоро тот сдался: «Браток, извини, извини», – полез целоваться и потом настойчиво уговаривал идти

пить на мировую. Но я отказался. Мне не терпелось успокоить Раю, которая, всхлипывая, стояла в сторонке. Отвязаться же от хмельного, расчувствовавшегося парня тоже было нельзя. Я позвал Раю. «Ну что ты, – обнял её, – видишь, мы не дерёмся. Всё нормально. Так ведь, Евгений?» «О чем базар, Раюха? – полез попросту обнимать и её Евгений. – Мы же с твоим братом Яном кореша. Ты знаешь, какой у неё братан? – обратился ко мне. – За всю фигню! Понял? Слушай, – удивился он, оглядывая будто впервые Раю, – а когда ты успела вырасти?» И рассмеялся, вспомнив, как Ян мальчишкой катал крошку-сестрѐнку на спине. Пустился в воспоминание о детстве. Словом, еле отвязались от него.

– В тебе очень злая неуступчивость, Илюша, – сказала Рая, когда стояли на мосточке и она говорила про брата.

– Это плохо, по-твоему?

– Да, плохо, когда чересчур. И Саня у нас такой же.

– Ты боишься, что коса на камень?

– Да, боюсь, – прошептала она.

– Хорошо, – обнял я её, целуя в щѐки, – я обязуюсь по мере возможности уступать ему.

Я не совсем сдержал своё слово. Конфликт с Яном получился сразу же. Рая не ошиблась с предчувствием. На другой день после нашего разговора на мостке знаменитый в Чернявке Саня Лактионов, по прозвищу Ян, заявился из тюрьмы.

В полдень я обыкновенно приходил обедать к Марье Антоновне. Иногда старался пораньше, когда хозяйка уходила на стойло. Рая оставалась дома, готовила обед, и мне всегда хотелось застать её одну. Помехой, правда, был ещё засранец Васька, который и вечерами умудрялся подглядывать за нами, а уж в обед не упустит. Но случалось, речка, ещё ли что отвлекали его от дома, тогда я тут как тут. Сжал Раечку на колени и целовал-миловал, пока не скрипнет сенная дверь: значит, это или Марья Антоновна вернулась, или Васька-бесѐнок проголодался и прибежал. Но конспирация уже была отработана: Рая мгновенно вспархивала и ласточкой-касаткой ныряла в заранее растворѐнное окошко, что вело в сад-огород, и через некоторое время как ни в чём не бывало возвращалась через дверь с пучком лука, укропа, огурцами; а я хватался за приготовленную книгу, читал, не понимая ни строчки. Марья Антоновна, конечно, догадывалась – да знала! – о наших отношениях, но ни разу за две недели и намѐка не подала.

Приятно ощущать власть над любимым существом, тем более чувствовать возвышающую тебя силу не пользоваться этой властью. Но в любви бывает предельный момент, когда соблазн в крови сильнее других доводов. Мудрая Марья Антоновна знала это, потому и остерегала дочь, хотя, наверное, и понимала, что доверчивой Рае её наставления как мѐртвому припарки. Марья Антоновна довольствовалась осторожными предупреждениями дочери да, как выяснилось позже, науськиванием Васьки подглядывать за нами и по мере возможности всячески мешать уединению. Впрочем, младшим и без того свойственны эти каверзы. Хотя с Васькой я сразу поладил: смастерил ему турник, научил делать «подъѐм переворотом» и «склѐпку», а также подучивал боксировать, мимолѐтно, а порой и напрямую внушая, что подглядывать за сестрѐнкой, которая целуется с женихом, это не по-мужски. С «женихом» я дал маху, и Васька поддел меня. «А ты ей жених?» – спросил недоверчи-

во. «Ну, допустим, жених». – «Да она маленькая ещё!» Тогда я сказал Ваське, что, как только Рае исполнится восемнадцать лет (а это было не за горами), мы поженимся... В тот же день я услышал, как братец дразнил сестру: «Тили-тили-тесто, жених и невеста по полу катались, крепко целовались». А через несколько дней новость распространилась по всему селу, похоже, через дружков Васьки к их братьям и сёстрам и т.д. – словом, согласно слухам, мы с Раей вот-вот должны были пойти в загс расписываться.

В это время как раз и явился Ян.

Как обычно, я шёл обедать и увидел его издалека, сразу догадавшись: это он. Несколько женственно-красивый (Рая показывала его фотографии), коротко стриженный, Ян сидел на ступеньке крылечка, подбоченясь, курил. Одет был «с прикидом»: хороший джинсовый костюм, ещё только широко входивший в моду, импортные кроссовки и даже белые носки. И это из тюрьмы!

Я подошёл. Поздоровался. Ян пытливо оглядел меня. Встал.

– Ты – Илья? – спросил он.

– Да. Живу здесь. Квартирант.

Ян помолчал, что-то обдумывая. Вдруг спросил прямо в лоб:

– Я слышал, ты, квартирант, на моей сестре женишься? Это так? Или шуточки?

– Ну и что?

– На вопрос отвечай.

Я отвёл глаза и сцепил зубы: такой крутости не ожидал.

– На жаргоне, кажется, это называется «брат на понта», – сказал я как можно спокойнее.

– Ништяк, – сказал Ян. – Разберёмся потом. Пойдём в хату.

– Зачем же потом? Давай сразу.

– Сразу? – обернулся он и сошёл со ступеньки.

Был он среднего роста, строен, очевидно, быстр и, без сомнения, решителен.

– Тебе сколько лет?

– Если не ошибаюсь, мы с тобой годки.

– Годки? – усмехнулся он. – У каждого своё время, кореш. У кого год – за три, а у кого – за пять. – Помолчал. – Рая ещё ребёнок, понимаешь?.. – Он малость заволновался.

– Послушайте, а в чём, собственно, вы меня обвиняете?

– Я не прокурор, чтобы обвинять.

– Тогда в чём же дело? Давайте тогда замнём для ясности.

– Ты не блатуй, понял? – тихо и как бы с угрозой сказал Ян.

– Знаете, вы меня не берите под уздцы. Я ведь просто так, с кондачка, не дамся. А если я вам чем-то уже заочно не понравился – а я, между прочим, не девка, чтобы нравиться, – лучше я не буду мозолить вам глаза, а сейчас же свалю отсюда.

Я повернулся с твёрдым намерением идти в мазанку, собрать свои вещички, а их, собственно, и собирать нечего, сумку на плечо и... «Но как же Рая?.. – мелькнуло в уме. – А никак! Сейчас найду управляющего или заведующего фермой, договорюсь... А Рае напишу записку...»

– А Рая? – моей же мыслью спросил Ян, чуть придерживая меня за плечо.

– А что – Рая? – пожалуй, с вызовом ответил я. – С Раей мы как-нибудь сами решим, что нам делать.

– Послушай, браток, – Ян как-то манерно повёл чисто выбритым, красивым, будто вырезанным из белого камня подбородком, и я внезапно почув-

ствовал в его натуре какую-то природную аристократичность. – Послушай, – повторил он, – я ведь люблю сеструху и не хочу, чтоб ей было плохо. Секёшь?

– В чём же дело? Ты любишь её как брат, а я...

– Как мужчина? – в его голосе послышалась как бы досада.

– Александр, – сказал я примиряюще, – давай серьёзно. Твоя сестра Рая ещё не женщина. Так что...

Ян посмотрел на меня внимательно и улыбнулся.

– Держи клешню, – протянул растопыренную ладонь и добавил: – Она ведь и вправду ещё... маленькая. А мне тут: замуж, замуж... Пойдём в избу. Звонок надо отметить.

После Рая рассказала мне, что весь разговор наш она слышала, притаившись в сенях за дверью. «Это Васька, паразит, сразу ему брякнул, что я твоя невеста. Саня как-то переменялся в лице, потом отвёл меня в другую комнату и строго стал расспрашивать... как папаня какой», – обидчиво добавила Рая. «И о чём же он тебя расспрашивал?» – «Ну, обо всём: кто ты, откуда, правда ли, что... поженимся с тобой...» – «А разве мы собирались?» – «Ну, Ильюша, это же не я сболтнула, а Васька, у него же язык как помело. Хотя... Я знала, что поженимся». – «Вот как? Это почему же?» – «Потому что я... хотела. А когда я что-то сильно хочу, у меня сбывается. Например, однажды папаня поймал где-то маленького крысёночка – он же у нас крысолов был...» «Кто?» – не понял я. «Крысолов. У кого крысы в доме заведутся, идут к нему. Он знал заговоры. Его мама научила. А если заговор не помог, ставил капканы, ещё что-то или, наоборот, сначала капканы, а потом заговоры – не помню... и не люблю по это...»

Я слушал Раю с недоверием, но и с интересом. «Профессия» крысолова показалась мне крайне любопытной. Много позже, когда я уже был их зятем, Марья Антоновна кое-что поведала мне... из области мистики.

Род Лактионовых, как и многих в Чернявке, происходил из северных областей России – крепостные переселенцы. Многие в роду были склонны к волхованию. И Марья Антоновна знала заговоры, и муж её, Егор, хитрый, себе на уме мужик, тоже, наверное, знал. Самостоятельно научился он и ветеринарному делу, слыл известным в округе коновалом, а также крысоловом. По слухам, он мог не только крыс со двора вывести, но и навести. На селе его опасались. Марья Антоновна, правда, отрицала это, называла поклёпом. «А он в самом деле заговоры знал?» – спрашивал я. Она отвечала неохотно, что-то, мол, и знал, но в основном пользовался мышеловками, капканами, приманки всяческие делал, отравы, смеси с битым стеклом, алебастром и прочее, прочее. Но самое любопытное, Егор Фёдорович, оказывается, выращивал *крысоедов*, то есть крыс, поедающих своих же собратьев: сажал в бочку с десятков, которые и пожирали друг друга, а выживала сильнейшая; затем она выпускалась на волю и, привыкшая к убийству себе подобных, к запаху и вкусу крови сородичей, продолжала охотиться на них. Причём эту крысу Егор Лактионов каким-то образом приручал, и для него она становилась неопасной, тогда как на другого человека в критической ситуации могла и броситься. По оговоркам Марьи Антоновны я понял, что муж её проводил и какие-то селекционные эксперименты с пойманными крысами.

Мистика же была в том, что Егор Фёдорович Лактионов, повелитель крыс, опосредованным образом и погиб от них же. Конечно же, это случайное совпадение. Но, как известно, в случайностях и заключается непостижимое.

Однажды изрядно опохмелённый сельский тракторист утром завёл трактор, безалаберно брошенный с вечера возле эстакады мучного скла-

да на ферме, сел в кабину, а Егор Фёдорович (который, кстати, незадолго до того морил на складе крыс) должен был сзади за серьгу подцепить к трактору тележку. Выжав сцепление, тракторист стал потихоньку отпустить педаль и сдавать назад, метаясь подвеской в серьгу тележной сцепки, которую придерживал крысолов. Вдруг из-под сиденья под ноги трактористу выскочила и заметалась по кабине... крыса. От неожиданности он отдернул ногу от педали, трактор прыгнул, как зверь, сорвавшийся с цепи, сбил и насмерть гусеницами затоптал не успевшего отскочить ветеринара.

Каким образом крыса оказалась в кабине, объясняли по-разному: что-де трактор стоял у эстакады, кабина была распахнута, в кабине лежала оставшаяся от вечерней выпивки закуска (хлеб, пол-яйца, кусочек сала), которая и привлекла внимание крысы. Платформа же эстакады была почти на уровне с порогом кабины, что и позволило крысе забраться туда, попировать, а выкарабкаться не успела или не сумела. Версия рационалистическая, однако истинной причиной смерти всеми негласно признавалась крысиная месть крысолову. А ведь что-то в этом есть жутко убедительное.

Вечером Ян на берегу Окши собрал сельскую молодёжь, устроил гульбу. Из райцентра Черёмухово прикатили на двух машинах его дружки-кореша с подружками. Горел костёр, орал магнитофон, пили и дурачились. Сам Ян пил немного, держался хозяином и повелительно осаживал тех, кто начинал, опьянев, по-хамски или похабно вести себя. В первую очередь черёмуховских осаживал. Может, он щадил глаза и уши своей сестры и отчасти хотел выглядеть лучше передо мной? Или это показалось мне?

На рассвете черёмуховские укатили в город, деревенские разошлись по домам, я очутился в своей мазанке, вдобавок начудив у Лактионовых, как выяснилось утром.

Проснулся с головной болью и с чувством, будто что-то произошло: нет, не то, что подрался, а что-то другое, как будто я в чём-то опростоволосился, чувство какой-то неловкости. Ян сидел возле меня – красивый, выбритый, свеженький. Покуривал хорошую сигарету. Едва улыбался.

– Вставай. Пора заканчивать старые дела и приниматься за новые, как говорил мой отец. Похмеляться будешь? – кивнул на бутылку водки на сундуке, покрытом старой клеёнкой и заменяющем стол и стул одновременно.

При виде водки меня затошнило.

– Это бывает, – сказал Ян. – Тогда пойдём пилить и колоть дрова. Похмелье надо выгонять либо водкой, либо работой.

– И к чему все эти поучения? – спросил я, продирая глаза.

– Это так, к слову. Ты, Илья, между прочим, пьяный – нехороший, оказывается.

Я смутно припомнил, что кому-то из его дружков так-таки неудачно съездил по физиономии. Если он имеет в виду это, сказал я, то, в принципе, другие его очень мне не понравились.

– С этими парнями, мой будущий зять, лучше не связываться. В другом месте они бы тебя порвали на части.

Меня насторожили обращение «мой будущий зять» и тон – поучающий.

– В другом месте один на один и я бы кое-что показал.

– Я слышал, ты, вроде, боксёр. Только знай: жизнь – это тебе не ринг по правилам. Ну да ладно. Остальное-то хоть помнишь?

– Что именно? – Я встал, пересиливая тошноту и боль в голове.

– Значит, не помнишь. – Ян помолчал. Потом ухмыльнулся: – Так вот, зёма, ты просил у матери и у меня руки Раисы Егоровны.

– В самом деле?

Я почувствовал, что краснею, а в затылке ещё сильнее заломило.

– В самом деле, – подтвердил Ян, откупоривая бутылку и наливая по стаканчику мне и себе, располовинил вдоль мокрые огурцы на блюдечке, послонил и потёр до сочной влажности.

Выпили. Помолчали. Ян закурил новую сигарету. Боль в голове у меня немного отступала. Подкрадывалось чувство хмельной бесшабашности.

– Придётся жениться, – засмеялся я.

С Раей мы поженились тем же летом. Был август – яблочно-медовый, звёздный август. Свадьба была весёлой, родственников много – все ещё были живы, – и ни о каких бедах никто не думал.

Ян на торжестве почему-то не присутствовал. Но свадебные подарки привёз недели две спустя и вечеринку закатил небывалую. И я ещё не догадывался, на какие деньги всё это.

А было это незадолго до крушения страны, после чего кончилась спокойная жизнь советских людей, казалось бы, заслуженная неисчислимыми страданиями.

Глава 10

ДЕРЗАЙ, ЧАДО!

На Преображение погода стояла сухая, солнечная, чуть ветрило. Домовитая провинция консервировала огурцы и помидоры и на путч в первопрестольной среагировала весьма прохладно. Краем уха послушала симфонический оркестр по радио и краем глаза посмотрела «Танец маленьких лебедей» по телевизору – умер, что ли, кто опять? Потом насторожилась насчёт заявления ГКЧПистов – э-ге! Однако спокойно пошла на работу: понедельник же. Слух, конечно, защебетал и по коридорам местных властей, и в бездонной утробе народных масс, и, как потом выяснилось, весьма напугал многих вожakov перестройки. Но вечерняя телеконференция «путчистов» не без оснований показала, что не так страшен чёрт, как его малюют, и уже к утру следующего дня кучка заядлых местных демократов организовала штаб, наладила связь с Москвой; появились листовки против «хунты» и «клики», а к полудню на площади перед обкомом КПСС выставился пикет, на который, впрочем, никто шибко не реагировал: ни власть, ни прохожие – путч? да ну и фиг с ним! антипутч? да туда же его!

Но как всё обернулось! Не зря столичная заваруха совпала с двенадцатым праздником – началось «преображение» страны.

Я торопился в редакцию.

В редакции почти никого не было. «На телефоне» сидел Геша Манилов, начинающий журналист, балабол с авантюрными замашками (спустя какое-то время Геша окажется в Израиле, чуть не попадёт на войну с палестинцами, но улизнёт от призыва и вернётся в нашу Рашу). Вокруг Гешы с кипой бумаг в руках суетилась Эля, внештатная корреспондентка, на пышногрудость которой с первой минуты её появления в редакции зарились все мужики, да только Эля почему-то никому не давала ни малейшего повода, да и с Гешей она

всегда была прохладна. И сейчас меж ними сквозило бесстрастное сотрудничество, причём Геша выглядел отнюдь не легкомысленно: он деловито принимал какие-то сообщения, что-то записывал, показывал записи Эле, та спешила к другому телефону, передавала кому-то какие-то сведения, и оба отвечали на чьи-то вопросы: «... Да, да, заявление Ельцина уже расклеиваем...» Я поинтересовался: а собственно, где все-то? «Да ты чё, с луны свалился?! На митинге у обкома. Давай, давай туда бегом!»

Бегом я, конечно, не побежал, но всё же заторопился. По пути встретил приятеля из НИИ. Он был старше меня лет на пятнадцать – считай, из поколения отцов; мальчишкой вкусил всё послевоенное лихолетье: и голод, и безотцовщину, – но сумел закончить институт, и в НИИ считался толковым инженером; перестройку сперва одобрял, а потом возненавидел. И вот в связи с путчем и антипутчем, похоже, почуял, что под старость подкрадывается новая беда. Вроде вполне сытно и спокойно жилось, вдруг затеялась какая-то новая смута... Чуткое, многоопытное сердце непременно должно было настрожиться.

– Чего не на работе, Никанорыч? Бастуешь, что ли? – бодро спросил я его, поздоровавшись.

– В отпуске, – мрачно ответил он.

– А чего грустный такой?

– А чего радоваться? – загородился рукой от слепящего солнца Никанорыч; избитое в детстве оспой лицо его от угрюмости ли, от яркого ли света покрылось рытвинами.

– Так ведь путч! Пора на баррикады, – осклабился я.

– На баррикады, говоришь? – И Никанорыч как-то особенно презрительно сплюнул тягучую слюну, с отвращением растоптал и, ничего больше не сказав, пошёл прочь.

Меня это немного озадачило: чего это он? против свободы, что ли? «Воля, брат! – хотелось крикнуть ему вослед. – Нам предлагают волю, за которую надо драться, а вы морду воротите, плюётесь!.. Эх, землячки!..» Но не крикнул. Настроение, однако, слегка испортилось, и на площадь, где возле памятника пролетарскому вождю, напротив стоглазых обкомовских окон, робко, но назойливо двигалась жалкая толпа пикетчиков, я пришёл без демократического энтузиазма.

Я разом оглядел их. Разумеется, лица все знакомые, примелькались за последние три года: городок-то небольшой, и демократы все наперечёт. Вон те – это щелкопёры-коллеги, и не только из нашей, но и других осмелевших газет. Вон, кстати, и земляк мой, Никита Сыроедов, бывший профессиональный журналист, по прозвищу-псевдониму Чибис. Бородатый, с крючковатым носом Чибис похож на отпетого донского казака. В молодости он писал талантливые, но вольнодумные стихи. Поскольку печатать их не разрешалось, читал их где ни попадя, а чаще в пьяных компаниях провинциально-диссидентствующих кухонь, куда, естественно, через стукачей проникали вездесущие уши кэбэшников, которые однажды и закогтили Чибиса. Закогтили да принялись вытягивать жилы: карьеру парню, конечно, подзагубили, нервишки хорошенько поизмотали, для остратки выбили зубы, которые он до сих пор так и не вставил. Как же ему не воевать против советской власти? Хотя эта власть дала бедолаге бесплатное университетское образование, а потом за хорошую плату дозволила обслуживать себя. Но гордому духу неймётся. Впрочем, гордость эта, товарищи путчисты, размышлял я, перемешана с жаждой правды и справедливости, потому и не требуйте благоразумия от Чибиса.

А вон – маленький, волосатый, похожий на лешего художник-сюрреалист... Я вдруг запомнил его имя – это, похоже, из-за неприятного конфликта между нами. Была как-то выставка «Шизиков» (объединение местных художников-авангардистов, возглавляемое лешим), и я написал ироническую статью на них, а главный редактор «Новой молодёжной», Виталий Бердиченко, при всём его потворстве «Шизикам», хотя иронию и заметил, но статью пропустил, и леший-сюрреалист здорово обиделся.

Рядом с ним другой художник, Макс Вольдемаров, оформитель «Молодёжки». Ну, этот бездарь. Без фантазии и воображения рисовальщик. После я узнаю, что Макс Вольдемаров займётся изготовлением фальшивых этикеток для самопальной водки и левого вина местного и кавказского разлива, приобретёт компьютерную технику и мини-типографию и поставит это дело на широкую ногу. Но его оседают рэкетиры, а доконают органы надзора, и он едва откупится от тех и других машиной и квартирой. Но Бердиченко в этом якобы не будет замаскирован, хотя некоторые моральные убытки и он понесёт. Но это ещё не скоро. Никто из них ещё не ведает, какие беды грядут и напасти. Даже и талантливый сюрреалист не догадывается. А между тем сама реальность скоро наполнится такими кошмарами, что волохатый художник в одном из интервью с явной горечью (но и с тайным удовлетворением) так и скажет, мол, прежние его диковинные образы были истинно пророческими. А ещё художник задумается: а не он ли тоже виноват, что вызывал тёмных духов из мутных вод поддонья своей души? Многих, многих последующие перемены заставят горько задуматься, да немногие уразумеют.

Ба, а это кто? Сеня Ферапонтов, тоже художник, плакатист из НИИ. Что это всех мастеров кисти вынесло на печёночно-красную площадь, подумал я с какой-то досадой? (Похоже, это тягучая слюна Никанорыча неосознанно разрушала во мне революционно-задорный пыл.) Комната-мастерская плакатиста была по соседству с КБ, где я года два назад работал чертёжником и иногда захаживал к нему. Одно время мы даже дружили, и я не раз бывал по его приглашению в том самом неформальном городском художественном объединении «Шизики». Придумали же, черти, названьице! Понятное дело, для эпатажа. Время от времени они и в самом деле проводили выкрутасные выставки – кто во что горазд, но с умыслом. Короче, диссидентствовали (у них и в программе было заявлено: эстетически не согласны с официозом). Поэтому, как водится, сначала их хулили, а потом стали превозносить.

Подойдя ближе к пикетчикам, которые, разбившись на маленькие группы, как-то не особенно бурно проявляли свой протест, я почувствовал: почему-то не хочется мне становиться в их ряды. О нет, конечно же, я не трусил. Кстати, надо отдать должное этой нашей жалкой горстке «прометеев», ведь мы (до меня это только потом дошло) самым настоящим образом рисковали собственными шкурами, тогда как вся мещанская провинция занималась консервированием овощей и добычей хлеба насущного, что, однако, не делает ей большой чести, потому что консервированием можно заниматься каждое лето, а путчи и антипутчи довольно редки на российских просторах, да и не хлебом единым жив человек. М-да, так-то оно так... Но вот же, не захотела провинция активно творить историю! Только кучка ретивых активистов. Захотела и победила.

Я подошёл к пикетчикам, поздоровался за руку со всеми мужчинами: и со щербатым поэтом, и с волохатым сюрреалистом, и с кругленьким из драмтеатра артистом с рачьими глазами, и с будущим попом-полурасстригой Сеней Ферапонтовым, и с умноглазым социологом, и с издателем газетно-листовки «Демрос» Полёвкиным, похожим на ондатру, вылезшую из воды

на сушу, и со всеми другими поздоровался. Протиснулся к своим из редакции. Из «Новой молодёжной» были почти все. Не было лишь главного редактора Бердиченко. Поинтересовался у Риммы Хайруловой, его заместителя: «А где сам Виталий Владленович-то?» Римма ответила, что никто не знает, где; звонили домой, Регина Иосифовна, супруга, тоже волнуется: Виталия Владленовича нет второй день...

Тут на митингующих, точно по команде, налетели теле- и фотокорреспонденты, как прогрессивные, так и реакционные, и все как-то разом повеселели, особенно женщины, невольно охорашиваясь, стали позировать... А мне вдруг захотелось уйти домой – и я взял да молча ушёл. В конце концов, у Раи сегодня день рождения – это раз, и годовщина нашей свадьбы – два. Рая, как и все нормальные обывательские жёны, с утра консервирует огурцы и помидоры (у неё декретный отпуск, Славик ещё совсем малыш, живём мы дружно, нужда ещё не коснулась нас, и ссоры не начались), к обеду она строго-настроено наказала непременно вернуться, пригласив к праздничному столу кого-нибудь из друзей-газетчиков. Но никого мне приглашать почему-то не хотелось, даже будущего попа отца Семёна, с которым мы вроде бы дружили, но как-то настороженно, будто чуя, что скоро разойдутся наши пути-дорожки.

Впрочем, отпраздновав в кругу семьи два знаменательных торжества (но как-то не очень весело – не так хотелось), вечером того же дня я пришёл в переполненную людьми штаб-квартиру, где дым стоял коромыслом, все были возбуждены, с каким-то вожделием ловили голоса зарубежных информационных агентств, и принесённая мною водка в честь нашего семейного праздника оказалась очень кстати. На какое-то время все немного успокоились. Затем с утроенной энергией набросились готовить спецвыпуск «За демократию!» Разумеется, мне простили временную «измену», которую я окончательно развенчал (но потом всё равно мне припомнят!), тут же в завтрашний номер написав статью «Эх, земляки, земляки!..», где корил сурградцев за политическое равнодушие.

А на следующий день прошёл слух, что исчезнувший Бердиченко будто бы похищен и, может быть, даже убит местными сторонниками гэкачепистов – коммунистами, фашистами, кагэбэшниками – кто они там? – несть им настоящего имени, ибо сразу напялили на них всё. На самом деле было куда как проще и банальнее. Но об этом мало кто знал или догадывался. «Ох уж этот Виталий Владленович! – после размышляя я над его поступком и характером. – Внешне интеллигентно-тихий, а в достижении своих целей очень злоупорный товарищ».

Когда я уволился из НИИ и женился на Рае, уже в сентябре мы оба вернулись в Сурград: Рае надо было доучиваться на библиотекаря в училище культуры («кулёк» – иронично-ласково называли его в Сурграде), мне – искать работу. Пожили немного у тётки Таи, затем сняли квартиру. Наконец-то меня, молодого и уже достаточно известного журналиста и литератора, взял к себе в штат редактор областной партийной газеты Вышаков. К тому времени за счёт спонсора я издал небольшую книжицу новелл и в одночасье, как писали обо мне товарищи, молодые газетчики, стал признанным лидером среди местных прозаиков. Меня даже могли бы принять в Союз писателей, если бы не моя дурная репутация публициста-демократа. Большинство литераторов в местной писательской организации были если не старые комму-

няки, то весьма насторожённые к переменам пожилые люди, и нападки мои на социализм им сильно не нравились. Впрочем, отцы-писатели всё равно как-то сразу признали за мной талант художника, правда, оговариваясь, что-де мистический привкус моих рассказов – это-де чёрт знает что, и вообще они ещё посмотрят, что из меня выйдет дальше, а пока в Союз писателей пусть и не думает (кстати, с одной книгой почти и не принимали, надо было две-три).

Да я и не думал, не до того было: молодая жена, интересная работа в газете, самообразование, сбор материала для задуманного романа о невидимом граде-сельце Святозерье (по легендам, сказаниям, былям и небылицам) – всё это до краёв наполняло моё существо. Однако указующе погрозивший перст отцов-литераторов всё же царапнул по самолюбию. И про себя я упрямо сказал: «Я всё равно буду настоящим писателем!» А вслух, то есть в одной газетной статье, так-таки поквитался с ними, по косточкам разобрал, кто есть кто на местном Парнасе: выходило, как бы и никого, так себе жалкие флуктуации на общем фоне вылинявшего соцреализма.

Многих статья возмутила не оценкой их творчества, а... начитанностью автора: мелькали малоизвестные или вовсе неизвестные имена отечественных и зарубежных философов, психологов, литераторов, остроумные ссылки и цитаты из них (я в это время очень много и непрестанно читал), и непривычному литературно-провинциальному слуху моя выходка показалась верхом выпендрёжа. Однако обиду проглотили и, как ни странно, зауважали, тем паче в «Сурградской правде» я стал вести ежемесячную литературную страницу, и сам руководитель писательской организации приходил ко мне ходатайствовать за какого-нибудь престарелого пиита.

Да все они, не имея возможности регулярно печататься (в центральные издательства пробиться трудно, своего нет: упразднили ещё при Хрущёве), охотно ломали свои амбиции и несли, несли со смущением свои «шедевры»: напечатай, напечатай! Но большинство из них почему-то упорно ругало демократию, не принимало идею реформирования страны, экономики, строя – и я безжалостно отвергал ретроградов. Те, обиженные, шли к редактору Вышакову, с которым тысячу лет приятельствовали, не одно ведро водки выпили в золотые времена своей молодости, жаловались, тот соглашательски кивал и обещал выпороть меня, молокососа, и непременно напечатать стихи о поруганном Советском Союзе, о братстве народов и обнаглевших сионистах.

Вскоре литературная страница была упразднена. Я же, как наркоман, уже втянулся в литературно-газетный кайф и был несказанно огорчён. И хотя Вышаков перевёл меня в другой отдел, то есть не оставил без работы, не выгнал на улицу (да так ещё и не принято было), тотчас бросился я опять к Бердиченко в «Молодёжку»: ну возьми же! Но Бердиченко и тут изворотливо дал мне отлуп. Тогда меня и озарила мысль: создать свою, новую молодёжную, не зависимую ни от кого газету! И с этой идеей я стал носить-ся как курица с яйцом. К радости, единомышленники тотчас нашлись: та же Римма Хайрулова, с которой я дружил и с которой встречались в литстудии, и по месту работы. Но результат вышел совершенно неожиданный.

Когда газета создавалась, вопрос о том, кто будет редактором, и не ставился. Подразумевалось: ну кто – разумеется, я. Но вот «Новую молодёжную» почти зарегистрировали, вот уже официально надо решать, кто возглавит... И тут вдруг тихо-тихо пошла буза: а почему Кауров? Да потому, что это идея его. Э, нет, идея – одно, а руководить – другое. Найдёт, например, он денег на издание? А почему бы нет? Нашёл же на издание своей

книги – найдёт и на издание газеты (а я, кстати, и вправду уже договорился с тем же моим спонсором на издание первых номеров новой газеты, и расчёты показывали, что окупаемость будет с прибытком). И всё равно Кауров не годится, настраивала теперь всех против меня Римма Хайрулова. Не годится, и всё! Тут нужен человек многоопытный, хитрый, со связями и... твёрдо демократически настроенный, а Кауров – он с сомнительным душком. Словом, надо пригласить редакторствовать, убеждала всех Римма, Бердиченко Виталия Владленовича: он вхож во все кабинеты, он опытный, мудрый и в душе самый настоящий демократ.

Вот те фокус, опешили многие! Да и с какой стати Бердиченко уйдёт с насиженного места? Но оказывается, и Виталий Владленович тоже вынашивал идею о новой, демократической, абсолютно независимой от коммунальной газете. И с Риммой явно они были заодно. И теперь – раз! – и оседлали подогнанную к воротам лошадку. Бердиченко газету тотчас возглавил и деньги тоже довольно быстро нашёл.

Но когда случился путч, Бердиченко, оказывается, трусливо бросил революционно-молодёжное войско, скрылся на чужой даче и запил горькую, так что потом Римма с Гешей Маниловым с трудом отыскали его в весьма неблагоприятном виде – похожим на опустившегося старого пирата. Но вот тут-то и пригодился тот самый слухок о покушениях. Теперь Виталий Владленович не преминул раздуть его до легенды в связи с новейшей политической обстановкой в стране, мол, теперь-то произошло самое что ни есть взаправдашнее покушение. А именно: вечером девятнадцатого числа августа месяца, как всегда, гулял он со своей собачкой в скверике, что напротив его дома; подъехала машина, выскочили двое, схватили, скрутили, запихали в багажник, отвезли за город, избили и полумёртвого бросили чёрт знает где. Правда, на лице редактора, кроме следов глубокого похмелья, ничего такого не было. Наверное, били не по лицу. Короче, придя в себя, Бердиченко, по его словам, сообразил, что находится в районе дачного посёлка; не привлекая к себе внимание, добрался до дачи своего приятеля (имя приятеля не называл якобы из его же безопасности), ну и скрывался здесь несколько дней, потом дал знать о себе домашним и в редакцию.

Путч к тому времени приказал долго жить. По всей стране зацвела розовым багульниковым демократия. И Виталий Владленович, приведя себя в порядок, заявился в «Новую молодёжную» чуть ли не героем, хотя многие ему не поверили, но промолчали: одни не хотели конфликтовать, то есть быть уволенными (редактором же оставался он), другие подумали: а может, и в самом деле всё так и было? Я сделал вид, что тоже поверил.

А далее начались прямо-таки чудеса! Бердиченко вдруг получил на издание газеты откуда-то не прежне скромные, а огромные деньжищи (поговаривали, из самой аж Москвы, от серьёзных людей из окружения Ельцина) и пустился в такую демократию, в такую свистопляску на поверженном Голиафе, что о нём заговорили и вправду как о местном герое новейшего времени.

Ещё не остыли страсти по путчу, а Виталий Владленович дал мне задание поехать в Москву и написать очерк о недавних событиях возле Белого дома. В Москву так в Москву. Танки, по сообщениям, из неё уже вывели, но мама Елизавета Захаровна, приехавшая из Чернозелья повидаться с нами, сокрушалась, когда назавтра я собирался в командировку:

– Куда тебя несёт? Вон какие ужасы! Рехнулся, что ли? Ведь танками задавит – дитё без отца останется, а она (про Раю) без мужа, кукуй тогда всю жизнь соломенной вдовой. – И настойчиво отговаривала ехать.

Я же смеялся, мол, жена найдёт себе другого, а мать сыночка – никогда.
– Найдёшь ведь, кукушечка моя ночная, ты ещё молоденькая, а? – шутил я, целуя в щёчку жену.

Рая помалкивала, зная моё упорство: если что захочу – не переубедишь. Но глаза нехорошо блестели, того и гляди вцепится и никуда не пустит, хотя мы всё уже обговорили, и я, вроде, убедил её, что в такой исторический момент обязан побывать в столице. Да и утихло всё уже там.

И уехал. И увидел столичные баррикады воочию: прогрессивная общественность потребовала оставить их в качестве памятника в духе революционного модернизма. Но меня поразила не эта груда железобетона. Поразил цинизм режиссуры.

На подступах к Белому дому (Дом Советов почему-то в одночасье стал называться на американский лад – похоже, тоже режиссёрская находка), напротив ощетинившихся баррикад, на огромной пустой автомобильной шине лежала железобетонная плита, на которой охапками навалены свежие и несвежие цветы. Среди этой уже несколько опрелой кучи – портрет в траурной рамке: симпатичный кучерявый парень с нерусской фамилией – Кричевский – одна из трёх жертв в революционном спектакле; выходит, мой тёзка, тоже Илья. Это совпадение как-то жалостно царапнуло душу...

По обе стороны «надгробия» стояли два мальчика. Так сказать, почётный караул. До недавнего такие зелёнопупые юнцы, будучи пионерами, стояли с выпотрошенно-камуфляжными автоматами у памятников воинам, павшим в битвах Великой Отечественной. Одному караульному с виду лет шестнадцать. Одет «под десантника»: голубая тельняшка, берет, униформа. Но вид такой жалкий, усталый... И эта грязная армейская одежка... Словом, пацан живо напомнил мне зачуханного солдатика-первогодка – «духа».

Мальчик в форме «под десантника» стоял слева у заваленной несвежими цветами «надгробной плиты», а справа... а справа стоял и вовсе заморыш лет двенадцати, в огромной солдатской плащ-палатке, которая не то что доходила ему до пят, а растекалась-стелилась грязно-болотисто вокруг него по земле. Дитё демократического полка! Живое назидание в духе школы новой жизни. Я смотрел на этого дитёночка, мелкое личико которого выглядывало из-под шалаша-палатки, точно мордочка мышонка из-под осевшей под дождём копны сена, смотрел и думал отрывочно, со злостью: «Господи, что же это за фарс? Ведь этому мальчику сейчас надо бы находиться в школе (было 2 или 3 сентября, то есть первый или второй день занятий), раскрывши рот слушать учительницу, рассказывающую вдохновенно о чём-нибудь светлом, добром, вечном; потом на переменках гоняться шальным щенком за ущипнувшим его товарищем или от первой влюблённости озоровато дёргать за косичку какую-нибудь курносенькую девчущку; а дома, наспех пообедав, нетерпеливо засесть за книжку про индейцев, мушкетёров или одноглазых пиратов с ножами за поясом и в пёстрых разбойничьих косынках...» Впрочем, о чём я? Ведь книга жизни заморозительней литературы. Да и «начальник» его (третий персонаж у «надгробия») – вылитый юнга-пират.

Этот пиратище, лет восемнадцати парниша (по аналогии с армией – только-только оперившийся «фазанёнок»), важный, но внутренне ещё неуверенный в себе и своих полномочиях, сновал туда-сюда у «надгробия», отпугивая любопытствующих прохожих, чем-то ему не понравившихся да ещё имеющих при себе фотоаппараты и желающих засвидетельствовать историческую картину века. Точно у него был какой-то свой критерий отбора. Я заметил (а наблюдал со стороны достаточно долго): иностранцам он охот-

но позировал и великодушно позволял снимать своих подчинённых, траурный портрет и охапки цветов. У парня каким-то лихорадочным огнём горели глаза. Вокруг головы пёстроцветным жгутом обвивалась повязка (после я догадался: это был скрученный трёхцветный российский флаг). «Пират» был своего рода начальником караула, который вместе с караульными явно очумел от нарядов вне очереди.

«Кто они, эти гавроши, есть ли у них дом? Разве нормальные родители, будь они трижды демократами и борцами с «системой», выпустили бы своих деточек актёрствовать в столь жутком спектакле?! – думал я, глядя на них. – Похоже, это такие же бездомные ребятишки, как и те оборванцы, воспетые масоном Гюго. Кто подобрал их на улице? Кто нарядил в маскарадную одежду бойцов и указал место в мизансцене? О, лучше бы не родиться тому человеку, ибо не простится ему, соблазнившему малых сих!»

На плите, заливая сальной плотью несвежие цветы, плавилась разнородные свечи: магазинные, церковные, толстые, тонкие, экзотические. Лезли прохожим в глаза наспех нацарапанные лозунги и девизы, полные экзальтации. Один мне врезался в память: «Мы не уйдем отсюда, пока не казнят убийц!»

Я смотрел на портрет, смотрел на зачуханных малолеток, на кучу опрелых цветов. Фазан-пират наконец устало присел. Присел по-зэковски – на корточках (потом это будет любимой позой улично-дворового молодняка, из которого скороспело вызреют первые бандитские бригады в постсоветии: казанские, люблинские, солнцевские – да в каждом городе и посёлке!). Опершись лбом на грязные, сцепленные в замок руки, парень сидел злой и усталый, и мне было почему-то и жалко его, но и какая-то тоже злость взяла на этого межеумка. Поэтому, уходя, я кивнул на лозунговую эпитафию:

– Очень хочется казнить-то? – спросил нарочно вкрадчивым полушёпотом.

Тот сначала не понял. Потом резко встал... Но я уже уходил прочь.

С этого дня у меня и стал выветриваться щенячий восторг от грядущих перемен. Но и ностальгии по былым, по советским временам не испытывал тоже, потому что знал и то, познал и это.

Командировочную статью с места преображенских событий я состряпал ни вашим ни нашим: чуть иронично – о баррикадах, чуть почтительно – о погибшей троице, сочинил интервью-отсебятину с мнимым антипутчистом – и никаких лишних рассуждений. Редактор Бердиченко остался недоволен. Тёмным оком он сумел заглянуть в мою смутившуюся душу, и многое, надо думать, ему не понравилось там ещё больше, чем прежде.

Глава 11

ФЕЙЕРВЕРК ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ

– Как отдохнули, Кристо? – спросил доктор Филл, наклонившись надо мной. – Замечательно, замечательно, – не дожидаясь моего ответа, пробурчал он сам себе под нос. – Поразительно удачное совмещение духовного и телесного! Вы готовы? – спросил он.

– Готов, – не то чтобы совсем покорно, но как-то безучастно ответил я, как бы согласившись, что я теперь и Кристо, и Кауров одновременно; послушно закрыл глаза и глубоко вдохнул с задержкой дыхания, как и потребовал док, сладко пахучий эфир.

Доктор же Филл снова стал рассказывать мне, кто я и откуда.

После того, как я, Кауров, побывал персидским поэтом и, к несказанной горечи своей, утратил возлюбленную Фаягуль, душа моя скоро оставила брненное тело и, сонная, апатичная, ещё не воплотившаяся ни в одно последующее создание на земле, каким-то чудом оказалась над вселенскими просторами России. И тут она как бы проснулась. Проснулась и вскрикнула: «Неведомая, зелёная, солнечная моя страна, не Родина ли ты мне?!» В самом деле, что привело меня сюда: древняя ли безотчётная любовь к безбрежному отечеству, где неким вождём, как намекнул рассказчик доктор Филл, водила она, душа, ариев-гиперборейцев от края до края вселенной, или невольная ненависть к раскосым азиатам, то хищным зверьём крадущимся к русским селеньям, то безмятежно плывущим в скрипучих телегах диким полем ковыля?

Так оно и было. Год спустя после смерти Хафиза Шамсиддин Мухаммада душа его (выходит, моя душа) очутилась над юной Москвой, возле которой после великого побоища кружили, как два коршуна-стервятника, два коршуна-соперника, два неистовых погубителя: поганый степняк Тохтамыш и басурманин Тимурленг. Да, да, тот самый кривой Тимур-хромец, который смертельно уязвил мою душу поэта. Предатель же Тохтамыш уже залил улочки и площади юной красавицы Москвы рудо-красной кровью: двадцать тысяч русичей полегли ни за понюх табаку.

А что хромой басурманин, кривой безумец Тимур? Этот теперь озабочен был тем, как бы насытить алчбу уставших от походов воинов своих добычей. Меха соболей и куниц, чернобурок и горностаев увезут его гулямы из русской земли. Лучших он одарит пригоршнями скатного жемчуга и серебра, дорогой посудой из чистого золота, ну и, конечно же, светлоглазыми, белорудыми отроковицами-полонянками, при виде которых у суровых воинов тает рассудок, как тает ярый воск от золотого поцелуя огня. О, как взъярилась моя душа – душа Хафиза-Каурова, узревшая колченогого врага! С той-то поры и повлекло её, мою душеньку, воплощаться из рода в род среди православных воев, смолоду не щадящих себя в кровавых сечах ни с татарвой, ни с латинянами, и с кем бы то ни было – лишь бы лютость за обиду свою утолить, гордость потешить да за честь постоять. Много крови на душе моей.

Вот потому-то всякий раз (конечно, и по законам космического равновесия) воплощалась душа моя то среди буйных крещёных татар, в безбрежной страсти соединяющих тёмную кровь свою с лебединой русской, то среди хохластых запорожцев, острой саблей нахватавших генов себе, точно золотых монет в карманы плюсовых шаровар, и от жестоких турок-османов, и от благородных половцев-степняков, и от надменных ляхов, и от всех-всех, кто доставался женолюбам на острую саблю да при дележе разбойного дувана.

Навоевавшись, натешившись досыта и с ногайцами, и с крымчаками, и с турками, и с ляхами, с литвой и немчурой, потянулась душа-монада – нет, монада-дух! – потянулась она запечатлеть красным словом – розовым пламенем подвиги русских витязей-богатырей, положивших головы за веру и отечество. И тогда-то безымянными устами народа и складными виршами иных грамотеев запела-заиграла душа широкие русские песни, заговорила легендами и сказаниями, заворожала голубиными стихами. И вполне,

вполне отдалась словокудрой красоте, благолепной, как и сама русская земля, светло-пресветлая, украсно-изукрасная...

*О, Русь, Россия! Свет мой голубиный!
Безбрежная, бродячая, в огнях...
Равнины, доли, калики, калины,
Рябин рубахи, родина, родня...*

– Это же вы, Кристо, вы писали цитируемые мною стихи, – внушал мне голос доктора Филла – мне, погружившемуся в светоэфирную дрему. – И неважно, что в средние века на Руси подобным штилем ещё никто не писал, ибо душа пишет много прежде, а слова воплощаются много позже. Но знаете ли вы, Кристо, – продолжал док, – что за сладость обрётённых звуков поэт впоследствии расплачивается горечью судьбы? Помните, нет ли, но после воплощения и смерти одного из *калик* переходящих – этих тайных русских рыцарей, а не только любчей нищей братии и слагателей голубиных песен! – вы родились и служили кромешником у Иоанна, царя Грозного. О, сколько непокорных опальных боярских голов и дерзких холопских бошек снесла ваша сабля, свистящая как змеиный язык! И как любил вашу верность и жёсткую удаль грозный тиран! Но досталось вам однажды получить повеление: посечь вместе с оговорённым князем и молодую княгинюшку его с малыми, неразумными детками. И ведь посекали! Но поздняя совесть и раскаяние всё же настигли вас, как мстительные, мрачные и быстроногие гарпии настигали древних преступников, настигли и взвихрили бедную душеньку вашу, и удалой опричник дерзнул укорить грозного царя и кончил жизнь свою на плахе.

В новом рождении, Кристо, вы были человеком предивным, шествующим путём правды. Но жизнь ваша была сплошная чересполосица из неожиданных, как снег на голову, *опал* и недолговременных помилований. Подумать только: шесть соплок (по-вашему – *ходок*) и один вышак, заменённый на Сибирь! А ведь какой человечище: герой, патриот, удалец – и на те: то в измене заподозрят – ссылка, то в нерадении к царёвой службе – туда же. «Государь-батушка, – помнится, жаловались вы, – устал я до смерти, убо заволочён со службы да на службу». Ух, как разгневался ликобожий самодержец из рода Романовых, ногами затопал: «В ссылку его, нерадивца!» А вдругорядь приспичило вам, Кристо, жениться ажни в четвёртый раз. Но вы же не Иоанн тот Васильевич, которому положено всё, что и Юпитеру! Но что дозволено Юпитеру, непозволительно, простите, холопу, хотя и в княжеском звании. Али вам неведомо было, убо первый брак – закон, второй – прощение, третий – законопреступление, а четвертый – нечестие, понеже свинское есть житие? Но девица – кровь с молоком, не захочешь, а соблазнишься. Правда, я о ту пору, быша духовным наставником её, остерегал бедняжечку: «Избегай его, деточка, избегай, красавица моя сероглазая, знаю я этих виршеплётов, он уже трёх жён поял и девок бессчётно, аки топтун в курятнике». А она, бедняжечка, молча выслушает меня – и в слёзы: «Люблю его, лунь-сокола моего!»

Так и пришлось наущничать самому патриарху. А тот строгий был, Филарет-то. Да куда там, поздно: пока то да сё, а у вас уже пир горой да за свадебку, а там глядь-поглядь – и раз чреватая, и вдругорядь понесла. Но патриарх Филарет-то разгневался, однако: «Как посмел он, басурманская харя, в четвёртый раз жену взять! Да я его, растакого-сякого!..» Ну и опять героя нашего хватить под уздцы, развенчали и – в Сибирь-матуш-

ку к Макару телят пасти, а княгинюшку с детками малыми вертать домой, к отцу-батюшке. А жалко-жалко до смерти! Обоих жалко – и её, и тебя, а деток пуще всего. Чё делать? Вот ведь докука какая! Ну, давай ходатайствовать за хлыща непутёвого перед царём и боярами: он же, шепчу им, герой отечества и патриот несусветный! На нём же живого места нетути от битв, изранетый весь, у него же рана на ране и раной погоняй. А уματο, говорю, в нём уйма, целая палата умища-то! Альни ему, льву рассейскому, по Сибириям шляться-мыкаться? Ну, уломал кое-как: вернули в первопрестольную и всё, что экспроприировали, тоже отдали, в том числе и семейство. Живи теперь, говорю (то бишь вам, Кристо, я же про вас рассказываю-то), живи тихо-мирно, шибко не желудись. Какого тебе рожна надо? Хоромы у тебя княжеские, в центре Москвы, женёнка как ягодка, детки ангелочками в палатах порхают-резвятся, таланту – сверх меры, сиди тихохонько, пописывай свои вирши да почитывай друзьям-собутыльникам. Вон ты днесь князю Пожарскому какое послание замастырил! А молитву супротив супружеского разлучения!

*Помилуй, Господи Царю,
и сохрани жену мою...*

Это же штиль-то, пошиб-то какой! Двадцатый век! Модернисты от зависти волосы рвать на этом месте готовы. А ты усмехаешься: «Я и не такое ещё могу!» И, гляжу, внял моему совету: год от года смиреннее и смиреннее стал. И всё бы ничего, авось и докочевал бы в ладу с самим собой и со властями до последнего одра. Да не тут-то было! Нет покоя русским поэтам, ой, нет! Иной, нерусский, глядишь, завернулся в былую славу и задремал. А этим же не спится, не дремлется – вот беда-то!

Угораздило некоего шаха-басурманина прислать патриарху в дар священную реликвию – Ризу Господню. И взбрендилось Владыке в ответ не просто дипломатическое благодарение выразить, а ещё и увещевать агарянина принять святое крещение. Простота! Русская простота! Засуетились при царёвом и патриаршем дворе: кому, кому поэтическое увещевание поручить? Да как кому?! Да, конечно же, никомуждо, окромя как Сёмке сладкоголосому (так, Кристо, вас о ту пору величали), знамо дело, признанный знаток книжной премудрости и изящной словесности и все науки превзошёл. А вы, Кристо, хоть и сивый уже были, а сердцем завсегда горячий, пылкий, у-ух какой! Тотчас с лёту за перо и возмись. Я, правда, остерегал: не торопись, не хватйся с кондачка-то, ты сперва помолись, попостись, а потом уж за письмена садись. Куда там! Душа воспылала, рука – к перу, перо – к бумаге... Известное дело – вдохновение: попёрло, как *опару* для блинов. Ну чё, думаю? Рад не рад, а помогать надо. И тоже кое-какие образы, метафоры исподволь подсказываю.

Ну, словом, ничего-то у нас не получилось насчёт увещевания. Вроде бы и грамотно написали, и поэтично, и с душой, и по уму, и с вдохновениями разных мастей – ан нет! Что-то не то. Либо Господь не захотел, либо басурманин упорный попался, так и не обрезалось сердце его бесерменское нашим посланием. Ну и, выходит, доигрались, досочинялись: вас, Кристо, опять в Сибирь, опять опала, княгинюшка – в слёзы, тесь-боярин – на дыбы: скоко можно дочь мою, кровинушку мою мытарить?! Развод стал требовать. И чуть дело до него и не дошло. Но тут и церковь удила закусила: никакого развода им! Что Господь сочетал, того человеком не разьять! О, друг мой, о ту пору не то что сичас: горшок об горшок – и разбежа-

лись. Накось-выкусь! Но самое главное: княгинюшка-то любила своего сивого пиита истинно, как кошка. Я, говорит, за ним хоть в огонь, хоть в воду, а уж в Сибирь-то-матушку на коленях поползу! И ведь пошла, поползла! Декабристки-то, Кристо, сплагатничали славу вашей супружницы. Конечно, и я вас обоих, как мог, поддерживал, особенно её, беднячку. Вот потому, будучи опальным князем-сочинителем, вы, друг мой, наперёд посвятили в ссылке расчудеснейшие вирши своей ясноглазой голубице.

*Помилуй, Господи Царю,
И сохрани жену мою,
Кою по страсти буйной я
Поял, да незаконно я.
Но что закон, когда любовь
И ум, и сердце, аще кровь
Зажгла?! Не сам ли здесь Господь
Поджѣг бессмертно душе-плоть?
Жена моя, о чадо, Русь!
К тебе,
к Нему,
за вас
молюсь.*

Радуйся, Кристо, революционный верзила-то сей штиль, лестницей-то (ты чуешь лестницу-то?), токмо три века спустя надѣбал. Это я так, к слову. Кстати, «душе-плоть» – это замечательно, поверь уж мне как старому знатоку.

Но продолжаем наше реинкарнационное путешествие. Что было потом, в другом круге жизни? – рассказывал доктор Филл. – Потом вы, Кристо, были простым, но ловким плотником среди вольных горластых артельщиков, пили по праздникам брагу ковшами, пели песни, отчебучивали побасёнки, ухлёстывали за бойкими корчемницами и молоденькими крилошанками. Церковь и кабак, вино и любовь, ярость жизни и смирение перед смертью! Вот потому-то вы и были душой артели, этой грубой коммуны, где всё поровну – и работа, и деньги, и трапеза, и веселье, где вы умели смеяться и плакать, радоваться и горевать. Никто лучше вас не мог вывести голосом извивы душевных чувств, но никто лучше не умел протесать и золотое бревно или изукрасить кудрявой резьбой боярский терем. За это в следующей жизни вы стали зодчим-самородком и строили уже не мужицкие избы и господские хоромы, а дворцы и храмы. Но, как всякий русский талант, пуще прежнего возлюбили горькую, московские кабаки под ёлками и всё те же разудалые пьяные песни. Вы пели и плакали, плакали и пели, швырялись деньгами и рвали рубаху на груди: какая-то тоска давила вас неотступно всю жизнь. Тоска! О, внимайте тоске, мои братья! Как, как без горя прожить на земле, не повредившись для вечности?! Однажды вы упали с лесов, точно аггел, низвергнутый с небес. Что за напасть на русских творцов?!

Я слушал бархатный голос доктора Филла и воображал прошлого себя как наяву.

За горячей и хитрой жизнью шли новые и новые судьбы мои, в которых то возносилась, то опускалась моя душа – душа того, кто теперь назывался Кристо. Весь Золотой век, по словам рассказчика, я провёл среди писателей и поэтов. Стал прототипом героев Тургенева и Достоевского, якшался с народниками и бомбистами, декадентствовал и философствовал, сподо-

бился носить одежды священника и звание профессора-психиатра. Но жизни мои были коротки, обрывались на взлёте или в зените славы, точно кто-то спешил показать мне мир в ярких этюдах быстротечной истории.

Двадцатый, рвущий в клочья историю век застал меня ребёнком в барской усадьбе, которую вскоре сожгут пьяные мужики. Далее: доблестным офицером вернувшись с первой мировой, я год и другой буду нещадно рубиться с красными, затем отступить с белыми, скитаться по Персии, Турции и всей Европе и так возненавижу отвергшую нас Родину, Отечество моё, Россию, что диверсантом-террористом возвращусь опять сюда и погибну безызвестно в железно-огненных тисках чекистов.

– Кристо, Кристо! – восклицал доктор Филл. – Вы и вправду на короткое время так возненавидели страну свою и так устали от бесперывных перевоплощений в нещадно-пламенной резне и спорах, что не одним только сердцем решились ещё раз напоследок возлюбить её как дорогую, но падшую женщину или как мать, бросившую на произвол судьбы детей своих. Вы возлюбили её умом (хотя можно ли любить умом?), вы стиснули зубы от неистойвой душевной боли и сквозь скрежет зубовный всё же выдавили огнём оплавленное слово: «Люблю!» Люблю – чтобы вырваться наконец-то из зыбучих объятий России.

Когда вас казнили, вы тотчас воплотились в будущего учёного. Кстати, моего ученика. Но нам не повезло. Уже закончилась война с внешним агрессором, но продолжалась со своим народом. Нас заподозрили в шпионаже в пользу иностранных спецслужб, и после мытарств мы были оба казнены. Но смерть мы приняли с достоинством и облегчением. Но предателями мы не были, Кристо. А вы – тем паче.

Более десяти лет душа ваша набиралась сил в *Ирольне* – одном из миров пяти пространственных координат, обители монад человечества. Потом вернулась душа на землю. И летела она по-над звёздным Чернозельем. И увидела душа с высоты надмирной двух влюблённых. Юноша был голубоглаз и смел, как боевой сокол, лихо бился на кулаках в молодецких забавах и отменно играл на хромке-двухрядке, пуская пальцы по кнопочкам, словно певчие стрелы по высоким лебедям. И приметила душа, что любит удалого парня девушка-смуглянка. Но горда и горяча она, как степная кобылица, эта маленькая ловкая плясунья. Очевидно, текла в ней древняя половецкая кровь, столь ненавистная и притягательная, Кристо, для вашей души-евразийки. И зная, что телесно вы будете походить на извечных врагов своих, всё же волшебю вкропилась душа ваша в крохотный эмбрион – плод любви, когда настала пора сочетания лихого гармониста и звонкой плясуньи. В тёплых водах материнского лона забыла душа все прошлые жизни и блаженно не ведала будущего, не ведала, что младший Кауров, то бишь вы, Кристо, тоже будет смел и горяч, хлёсток талантом и удачлив... Преследуемый извечной страстью к прелести женской и давно уже вызревающим мистическим сладострастьем (согласитесь, ведь это так, Кристо, так), невзначай пересечёте вы судьбу свою с судьбой соперницы Раи – сливоглазой чаровницей Русей, которую одновременно полюбит и Раин брат – вчерашний «афганец» Ян, ставший теперь рэкетиром, потому что в одном из своих прошлых воплощений он, Ян, был героем войны. А до войны, до пленения и героической смерти от рук самураев он прослыл ловким деревенским вором, ограбившим даже церковь, содравши золотые оклады с двух икон и «Апостола», и всё, всё снёс, бесшабашный, в кабаке, прогулял со товарищи да с распутными девками. Но, протрезвев, он пошёл и донёс на себя, принародно покаялся и перед матерью-сырой землёй, и перед всем христиан-

ским миром, покаялся и добровольцем ушёл на фронт. Однажды вызвался он прокрасться в стан врага, переделся в азиатские одежды, но был уличён, зверски пытан, однако секретов не выдал. Приняв мученическую смерть за веру, царя и отечество, герой остался в памяти врагов и соотечественников мужем доблестным. «Если бы воины нашей армии были такими, – заявил на весь мир генерал-самурай, восхитившийся мужеством русского, – мы завоевали бы весь мир!»

– Итак, Кристо, – говорил доктор Филл, – кармические круги повторяются, не совпадая в точности: был вор, разбойник и воин – стал «афганец», бандит и уличный боец. И всё это ваш шурин. Почему? Что за неисповедимые пути у русской души? Кстати, задолго до последнего воплощения шурина ваш жил и грешил в качестве легендарного московского вора, тоже разбойника и вымогателя. Правда, потом под воздействием душещипательных бесед с неким старцем окаянный вор так же круто изменил свой образ жизни... О, такие немыслимые метаморфозы, такие невероятные кульбиты могут происходить только в России! Да разве вы не знаете этого, Кристо?

И я, Кристо-Кауров, мысленно соглашался с ним: знаю, знаю. Но больше меня интересовала судьба Яна, якобы моего шурина, брата якобы жены моей Раи... Разве была у меня жена какая-то Рая, думал недоумённо я? Рабыня-чигиялочка была, и я её безумно любил, а Раю вроде бы не помню. И в то же время Рая как будто и была... А эту – как её? – Русю ну совсем не помню! Имя, впрочем, слышал...

– Были, были, все были, – подтвердил док, читая мои мысли. – И Рая была, и Ян, с которым в одном из перевоплощений вы были закадычными дружками на Хитровке, но поссорились из-за одной марухи-гулёны, и он разбойным ножом сразил тебя в душу. С той поры вы во вражде, где бы и как бы ни пересекались ваши пути. Всё, всё с вами было, и ничто быльём не поросло. Я, доктор Филл, тайный советник Высших Иерархий, ответственно заявляю: из всего сказанного не прибавил ни на волосок и не отъял ни полкапли. Но это только маленькая толика из того, что я, по сути, хотел сообщить про вас. О, кем вы только не были, Кристо! И с Достоевским дружили, и с Толстым спорили, над Розановым смеялись, Чехова временами недолго любили, с Буниным по кабакам шлялись и многому у него учились. В Петербурге перед войной пылким юношей частенько тёрлись среди философов, поэтов и разного пошиба революционеров и чересчур невзлюбили этих, последних, потому что они хотели вверх дном перевернуть – и перевернули же! – любезную вам Россию. Особенно вы их возненавидели, будучи белоэмигрантом. Там, за кордоном, вы по-прежнему дружили и с Бердяевым, и с Булгаковым, с Ходасевичем и Франком, с Шестовым, Ильиным и Шмелёвым – их вы любили. Но тех, установивших новый порядок в твоём доме, возненавидели и вернулись, чтобы их уничтожить. А возненавидели ведь отчасти ещё и потому, что сами-то вы, извините, из той же породы, друг мой: бун-тарь!

– Никакой я не бунтарь, – несколько обидчиво пробурчал я.

– Бунтарь, бунтарь, и не спорьте, уж нам-то виднее, причём бунтарь метафизический, с интеллигентской подкладкой, которую сразу и не разглядишь из-под простенькой-то одёвки. Э, Кристо, человеку свойственно ненавидеть в другом то, что глубоко сидит в нём самом. Так вот если хорошенько поскрести русского интеллигента (да хоть и нерусского), то непременно разглядите в нём женщину.

– Да никакой я не интеллигент... тик, – не выдержал я, причём немного запнулся, на что док удовлетворительно хмыкнул.

– «Тик» – это хорошо, знак времени: тик-так. Но всё равно не спорьте, не спорьте. Итак, что вам не нравится в нашей интеллигенции? Суть её? Да, да, догадываюсь: именно женственная суть. А я бы добавил: вечно женственная. Потому-то, Кристо, все они сплошь и артисты – все эти интеллигентики. Ибо истинный артист – это женщина. И эти наши, так сказать, доморощенные, тоже наглядный пример исторического артистизма: то они таинственные масоны, то эсеры-террористы, то все неистовые большевики, прежде побывавшие меньшевиками, то всемирные демократы, в кого ни плюнь – демократ. Потенциальная шизофрения, мимикрия и сумасбродное стремление к эмансипации – вот неизменные, патологические качества женщины и истинного интеллигента. Но стоит их разок-другой напугать хорошенько, и они на долгие годы станут как шёлковые. Но страх этот, в лёгкой, однако строгой форме, надо тщательно культивировать, потому что им всегда требуются обуздание и железная рука. Тайно они этого и желают, хотя руками и ногами отмахиваются от всяческих тиранов, особенно когда тот или иной тиран сошёл уже с политической арены, отмахиваются и пинают, аки мёртвого льва. Но тайна, тайна-то их женской ипостаси упорно нашёптывает им, что они вечные бунтари и разрушители устоев и традиций. Они сами этой тайны боятся.

Однако, дорогой мой Кристо, вернёмся-ка к вашей супруге, не то мы заболтались.

– Разве действительно у меня была супруга? – спросил я с сомнением и несколько нервно, потому что чувствовал в себе два внутренних голоса – один говорил: «была, была», другой: «нет, нет».

– Да ну что же вы, друг мой! – упрекнул доктор. – Ну, ну, вспоминайте... Так, Рая же, Раечка, Раюша, Раюнчик, – игриво перетасовывал, точно колоду карт, знакомое (всё же знакомое!) мне имя, так что пришлось невольно согласиться: да, да, кажется, Рая. – Так вот, дорогой мой, – продолжал Филл, – в одной из прежних жизней ваша Раечка была, прошу прощения, гетерой. О нет, не блудница, не распутница! Напротив: умна, образованна, хороша собой, заодно прекрасно осведомлена о тайнствах любви. Ну-ну, не краснейте и не хмурьтесь. Любой мужчина мечтает о такой женщине, да не каждый выдержит, коли нарвётся.

И доктор немного приутих.

А я тем временем всё яснее и яснее припоминал какую-то женщину по имени Рая. Смутно вырисовывался её образ... Но сексуальный портрет той стройной, маленькой, голубоглазой женщины, кажется, был иной, чем нарисовал его доктор Филл. Я припоминал, как та женщина, по имени Рая, как она во время любви... Она даже губы не закусывала, как другие в мучительном блаженстве ожидания экстаза. Нет, Рая как бы плыла, радостно и испуганно, точно сказочным принцем украденная царевна, плыла в ладье по синему морю: ей было и страшно, и стыдно, и так интересно, потому-то улыбка аленьким цветочком так и играла на её личике. И лишь когда волна любви напоследок накрывала её с головой, она как бы в радостном предсмертьем вскрикивала... и маковый румянец разливался по лилейным щекам, и тут же стыдливо утыкалась она в мою грудь, чтобы сладко молчать, и только слышится, как взволнованной радостью бьётся её ещё не унявшееся сердечко, точно перепел-птеник в руке осторожного косаря. И я любил эти блаженные минуты любовного затишья, эти зоревые щёки, этот вечно девственный стыд... Нет, нет, никакая она не профессиональная любовница! Ложь, поклёп, наговор!..

– Ну и отлично! – похвалил меня доктор Филл, несомненно обладавший пси-способностями. – На сегодняшний день достаточно. Кстати, ничему не удивляйтесь, мой друг, раньше времени. У вас ещё будет возможность услышать диковинные рассказы и о себе, и о былых, так сказать, первобытных временах. Я открою вам тайну сотворения первых людей, коренным образом отличающуюся и от так называемой научной теории происхождения человека (фу, какой невозможный примитив!), и от библейской сказки, претендующей на истину в последней инстанции, которая не что иное, как высокомерие невежественных попов на побегушках у египетских жрецов, инспирировавших религию, названную в честь некоего проповедника-неудачника. Я думаю, Кристо, многое из того, что вы услышите в этой космической лаборатории, затем поможет вам успешно выполнить ту великую миссию, ради которой мы и отыскали вас среди мириад падших душ. А сейчас, с вашего позволения, я удалюсь, чтобы отредактировать информационный текст, считанный с вашей памяти для будущего вашего «жития», или, попросту, биографии. Минуточку...

Доктор Филл ужалил тростью клавиатуру, и из плоских губ принтера с лёгким шипением выплонулось несколько десятков исписанных листков. Док разделил их на две части, скрепил обыкновенным скоросшивателем, протянул мне, Кристо-Каурову:

– Один экземпляр вам для ознакомления, другой, извините, я заберу для редактирования. Чую, тут кое-что лишнее: слова, слова... Хотя лишнее не всегда бесполезное, не так ли? Ну, всего доброго, мой друг.

Встал и покинул, прихрамывая, салон-лабораторию.

Я невольно заглянул в текст: ба, да это точно про меня!..

Глава 12

НА ОБОЧИНЕ

Из моего дневника:

«26 марта 1993 г. Москва. Гражданское противостояние. Сегодня начался Восьмой съезд народных депутатов. Решили дать отлуп Ельцину и Хасбулатову: Ельцина отрешить от президентской должности, хитрому чеченцу – недоверие. Не вышло: за отрешение проголосовали 617 (не хватило несколько десятков), за недоверие – 397 (гораздо меньше необходимой половины). Вечером на Васильевском спуске был митинг в поддержку демократии. К сожалению, не попал».

«28 марта 1993 г. Москва. Многотысячная демонстрация. Шли от так называемого Белого дома по Калининскому проспекту на Манежную площадь. Очень странное и горькое осталось впечатление. Расслышал, как одна дамочка с тротуара, глядя на нас, демонстрантов (я невольно оказался в потоке, но старался держаться ближе к обочине), сказала то ли с сочувствием, то ли с осуждением подруге: «Это всё бедные люди» (в смысле – нищие). За что же тебе такое, бедный великий народ?»

Действительно, во время очередной командировки в Москву мне случилось примкнуть к демонстрантам, шедшим с протестами к Белому дому, хотел взять у кого-нибудь из них интервью для своей провинциальной газеты, хотя и знал: Виталию Владленовичу такое интервью не нужно. Колонна шла огромная, разношерстная, но преобладали пожилые люди с красными

флагами в руках и транспарантами, местами грубого и вызывающего характера, местами спорного или остроумного.

Кое-где вкраплялись чёрно-золотые стяги монархистов (среди которых невольно оказался и я). Колонна медленно текла во всю ширину проспекта. А обочиной, тротуарами по обе стороны улицы, навстречу – именно почему-то навстречу! – шли толпы молодёжи, удивлённо разинув или скривив в сардонических усмешках жующие рты.

Странно, поглядывая в сторону тротуаров, где шла молодёжь, я вдруг стал испытывать чувство неловкости, даже стыда за себя: точно я, плывущий в потоке сердитых отцов против движения обочинной молодёжи, предавал эту самую молодёжь, по сути, своё и будущие поколения. Но ведь чернобородый молодой монархист – явно мой ровесник, и вон среди пожилых под красными знамёнами тоже идёт мужчина лет сорока. Правда, нас таких очень мало среди этих людей возраста моих родителей и моих бабушек-дедушек. Почему? А главное, почему с обочины с иронией, а то и презрением смотрят на нас?.. А я-то за кого, невольно думалось мне? Я шёл в этом бурливом потоке в основном пожилых людей, и мне почему-то было уже не до интервью с ними.

Примечателен один факт из тогдашней моей биографии. Факт связан с теми же бурными московскими событиями начала девяностых годов, точнее, между путчем и расстрелом «Белого дома», когда я нередко наезжал в революционную столицу то в связи с редакционными командировками, то по личному желанию, благо стоимость проезда всё ещё была по карману бывшим гражданам Советского Союза.

Приехал я как-то специально в воскресенье, чтобы побродить по музеям, выставкам, книжным развалам, побывать на Арбате, зайти в какой-нибудь незнакомый храм, осмотреть убранство, молча постоять, подумать... Ведь это Москва первопрестольная! И вот в одну из таких поездок, перепутав, я невзначай вышел на станции «Кропоткинская» и оказался возле московского бассейна под открытым небом. Лишь недавно я узнал, что на месте этой гигантской воронки, заполненной теперь подогретой водой, до тридцатых годов стоял храм Христа Спасителя, вырванный с корнем из святой земли обезумевшими от победы и славы большевиками.

Было часов десять. Я только что с поезда. Сел на метро с намерением побывать сегодня в Парке культуры. При выходе понял, что не доехал одну станцию, но, прочитав на указательной таблице, что выхожу к знаменитому бассейну, тотчас вспомнил про взорванный храм Христа Спасителя и решил взглянуть на это место. Поднялся к бетонному парапету, гигантской змеёй окружавшему водоём. В числе других глазающих стал смотреть, как под хмурым осенним небом там, внизу, в дымящихся сизых водах резвились мужчины и женщины: молодые, старые, разные. Резвились, ясное дело, ни единой клеточкой ума не помышляющие, ни малейшей фиброчкой души не чувствующие, что купаются-то они в огненных грехах отцов и дедов, услаждаясь плодами святотатства, м-да... А у кого же останется оскомины на зубах?

Эта мысль бродила в моём уме, порождая в душе какую-то витиеватую грусть. И вдруг на какое-то мгновение, на тысячную долю секунды я как бы увидел и над дымящейся влагой бассейна, и под остекленевшим будто бы льдом его два чудных и страшных храма: один – дивным облаком воспаряющий ввысь, другой, опрокинутый, тёмным маревом падает вниз. Что это?! Но тут – о, чудо! – я оглянулся назад, вниз (привлекло какое-то пение): недалеко от беззубого зёва метро, откуда недавно я вышел, на обширной золотисто-пожухлой лужайке толпился народ. Точнее, не тол-

пился, а чинно и смиренно стоял перед открытой часовенкой, похожей скорее на садовую беседку, увенчанную, однако, деревянным крестом. Народ этот... молился. Тоже мужчины и женщины разного возраста. Некоторые стояли с горящими свечами в руках (день был хмурый, но тихий – конец сентября). В «беседке» на столике также горело несколько свечей, и с возвышения с поклонами кадил священник в простой рясе. Пели: «О мира Заступнице, Мати Всепетая!»

И я вошёл в соборный круг молящегося народа.

Служба подошла к концу, батюшка стал говорить проповедь. Прислушавшись, я понял, что здесь каждое воскресенье проходит служба, читается Акафист Державной иконе Божией Матери, что здесь будет восстановлен взорванный храм, ныне превращённый в светское капище. На строительство его уже собираются пожертвования.

«Смотри ты!» – удивился я. И хмурое небо в местах, где таилось солнце, вдруг тихо разошлось, и в образовавшийся просвет брызнули лучи, будто кто-то невидимый плеснул оттуда ковш расплавленного золота.

– Ну вот, братья и сестры, – сказал, улыбнувшись, священник, – Господь даёт нам знамение, что наше дело богоугодное: храм будет возведён. А значит, и наша малая духовная лепта – наша совместная молитва не останется без вознаграждения. Господь каждое слово наше, каждый добрый вздох слышит, видит и помнит. По вере и делам воздастся каждому. Служба окончена, идите с миром.

Но люди почему-то не торопились расходиться. Разбились на кучки, на группы, о чём-то по-доброму говорили, обменивались книгами, брошюрами религиозно-духовного содержания, какими-то газетами. Негромко говорили об Ипатьевском доме в Екатеринбурге, где, оказывается, в 1918 году была расстреляна царская семья, а в 1977 по приказу тамошнего секретаря Свердловского обкома Бориса Ельцина дом был снесён и место закатано асфальтом – видит Бог, я ничего этого не знал! Зато невольно вспомнились где-то недавно прочитанные стихи об убиенной семье:

*Какие прекрасные лица,
И как безнадежно бледны –
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...*

И на ум почему-то пришло воспоминание о том, что ещё в начальной школе, в классе четвёртом, когда учительница рассказывала о Великой Октябрьской социалистической революции и о расстреле «кровоавого» царя и его семьи, я вроде бы вполне соглашался: да, царя-то поделом расстреляли... Но детей-то, мальчишку, ребёнка-царевича за что? Учительница на мой недетский вопрос ответила, что, мол, это было необходимо, чтобы наследников не оставалось вообще, и тогда не будет борьбы за престол и больше не прольётся народная кровь. Довод как будто был убедителен, но внутренне я, одиннадцатилетний мальчик, так и не согласился. Вот почему потом, когда мне будет за двадцать, Достоевский с его «слезинкой ребёнка» так легко ляжет на сердце. И не потому ли, думал я теперь, Россия (скажем, в лице той учительницы), согласившаяся принять и оправдать невинную кровинку, пролила затем невиданные в истории потоки крови? И вот я, уже не школьник, не мальчик, двадцать лет назад задававший невинный, но до жути нравственный вопрос: а царевича-то за что?! – вот стою меж крестом и капищем и размышляю о роковом факте русской истории уже в иных исторических

реалиях... Она вновь стронулась с места, русская история! И на что подвигнет вот этот молитвенный собор простых русских людей на пожухлой лужайке вокруг часовенки, похожей на садовую беседку? Крест и камень...

К своему удивлению, вечером возвращаясь в гостиницу, находящуюся в торце здания знаменитого общежития Литинститута (руководитель Сурградской писательской организации рекомендовал мне останавливаться именно там: якобы подешевле, чем в других), я вдруг столкнулся у входа с чернобородым монархистом.

– Кажется, я видел вас сегодня на молебне возле закладного камня, – сказал чернобородый, протягивая руку. – Меня зовут Хвилиин Андрей. Я здесь – на ВАК, Высшие литературные курсы, – пояснил. – А в гостинице у меня друзья-земляки, писатели из Приморья.

Я тоже представился как журналист из Сурграда от молодёжно-демократической газеты. Хвилиин усмехнулся.

– Ты – русский? – спросил он в упор.

Мне не понравилось бесцеремонное «ты».

– Ну, русский, – ответил.

– Если русский, значит, православный?

– Ну, допустим.

– Допустим или всё-таки православный? – допытывался Хвилиин, точно он был под градусом: блестели тёмные агатовые глаза и чувствовался лёгкий водочный запах.

Пришлось ответить утвердительно.

Хвилиин свысока заметил:

– Русский, если он православный, не должен быть демократом по определению.

И предложил встретиться в номере таком-то с его друзьями-писателями, а сейчас он идёт за вином в магазин.

Я пообещал зайти, хотя напиться не хотелось, не для этого приехал в Москву. Но познакомиться с новыми людьми, с писателями, коллегами по перу, да ещё с загадочными монархистами – этими монстрами-чудовищами, какими разукрашивала их советская идеология – показалось крайне любопытным. И спустя полчаса я пришёл в указанный номер.

Там было четверо человек. Оживлённо разговаривали. Хвилиин представил меня. Представил всё с той же усмешкой как демократа из провинциальной молодёжной газеты. (Где такой город Сурград, никто из приморчан добром не знал, путали с другими сходными по звучанию городами, на что я про себя грустно усмехнулся: действительно, глухая провинция, дыра, из которой что же интересного может выйти?)

Наконец, выяснив, где находится наш городишко, а попутно прощупав и умонастроение моё насчёт перестройки и всех последующих событий и как бы успокоившись, что я далеко не в восторге от всего происходящего, предложили выпить... за Россию! И потом разговор весь крутился возле этого слова – Россия. Как будто другой достойной темы для хмельной мужской компании не существовало. Даже про женщин, без чего ни один мужской разговор в подпитии не обходится, даже и тут сплошь пелись слова «русский», «русская», «по-русски». А когда набрались до пельки (впрочем, не так чтобы были и пьяны, но разобрало), пели исключительно казачьи и народные старинные. И даже двое пустились плясать – тоже по-казачьи, с боевыми выпадами и притоптыванием, вихревыми взмахами рук... И всё это нравилось захмелевшему мне. Я чувствовал сладко-знакомый вихрь в душе. Многие эти песни пелись и в моём родном Чернозелье, и сам я пел и спля-

сать бы смог точно так. Потому что род мой издревле шёл тоже от какого-то казака-десятника Давыда Каурова, который оборонял крепость-заставу Черёмухово супротив ордынцев, ногайцев, крымчан и прочих хищников, рвавших белое тело России.

Далее опять пошли разговоры о масонских заговорах, о накате средневекового Запада на неокрепшую Русь, взявшую на себя роль Третьего и последнего Рима, об исторических и мистических символах монаршей власти: трон, двуглавый орёл, скипетр, золото, чернь и багрец. Умнее всех опять же высказался Хвилин. Он говорил, что суть человека – личность, то есть сакральное, мистическое «Я», сердцевина его души. Функциональная же суть личности – совесть. Совесть связует человека с Богом. Нет совести – значит, человек не стоит перед Богом и как бы не несёт перед Ним ответственности. Царь, монарх, самодержец как личность облечён государственной властью, а как повенчанный на царство обладает и мистической властью, поэтому он несёт за всё это ответственность перед Господом, ответственность за порученный ему народ. Он, самодержец, может как человек ошибаться, но как стоящий перед Богом никогда не должен поступать против совести, и любое ограничение его власти демократическими институтами («...выборами, конституцией и тому подобной дребедятиной, придуманной масонами», – горячился Хвилин) есть ослабление его совести. «Царь, Бог и народ – триединство по совести!» – закончил патетически Хвилин. Насчёт совести мне понравилось. Но всё равно я остался при своём мнении, хотя вслух и не стал настаивать, что форма правления не столь важная штука. Править надо по совести – вот что главное...

Продолжение следует.



**Вячеслав
ЛЮТЫЙ**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ДАЛЁКОЕ И БЛИЗКОЕ В ПОЭЗИИ РИТЫ ОДИНОКОВОЙ

Стихи Риты Одиноквой как бы прорастали сквозь самих себя в течение последних полутора десятка лет. Склонность автора к дневниковым записям изначально сужала событие, которое то или иное стихотворение отражало или, лучше сказать, воплощало. Получалась картинка частной жизни с жестом в сторону общечеловеческого, но чаще – просто женского. И вот это последнее с годами удивительным образом вывело её поэзию на какую-то новую линию созерцания и разговора, на какую-то иную высоту, с которой видно многое, понятно то, что доступно не каждому человеку. Послушные слова обрели способность обозначать далёкое и близкое, великое и совсем малое. Такое свойство соединять бытие с привычными предметами быта встречается у выдающихся поэтов как нечто, изначально присущее их таланту. Строки Риты Одиноквой подобное качество «набирали» последовательно, от года к году, от одного этапа её реальной жизни к другому. Ум стал строже, душа сильнее, а зрение научилось легко менять фокус, приближая едва уловимое и помещая крупное в единственно возможную точку в просторной и прозрачной картине мира.

*Не кукуй мне, кукушка, не стану тужить,
Здесь считать не положено близким.
В дождь на кладбище небо так низко,
И фронзительно хочется жить.*

-
- Вячеслав Дмитриевич Лютый – литературный и театральный критик, публицист, автор ряда статей о постмодернизме и его российской литературной практике, цикла работ о современной русской поэзии. В настоящее время – ответственный секретарь журнала «Подъём». Публиковался в журналах «Детская литература», «Подъём», «Сура», «Дон», «Донской временник», «Русское эхо», «Коростель», «Наш современник», «Москва», «Дом Ростовых», альманахах «Тёплый стан», «Академия поэзии», а также газетах – «Завтра», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День литературы», «Российский писатель». Лауреат премии «Русская речь» журнала «Подъём» за 2004 год, премии Общественной палаты Воронежской области «Живые сокровища славянской культуры». Член Союза писателей России. Живёт в Воронеже.

*Жизнь, кукушка, не выжжена, не сочтена.
Не растрачу на чушь и привычки.
Если время придёт переклички,
Назову всех родных имена.*

<...>

*Не кукуй мне, кукушка! Не спеши. Не спеши!
Не сбегу я от тучи чернильной.
Слёзы здесь разрешаются сильным
В очищение уставшей души.*

Главная тема её стихотворений – любовь и семья, причём страсть, порой прорывающая ткань сдержанного лирического повествования, оказывается только фундаментом для соединённых душ, которые могут построить общий дом. Эта связь любовного томления и сердечной тоски с узами семьи и домашним очагом есть отчётливая печать не только женского характера поэтессы, но и её душевного склада. У Одиноковой исключительно редки строки, в которых взрыв чувств отодвигает все иные знаки мироустройства. У неё не найти пресловутой «цыганщины», которая так часто поглощает в женской поэзии ум и достоинство, верность вчерашнему признанию и готовность увидеть завтрашний день в чистоте и взаимном доверии.

*Жить хотелось проще и понятней:
Борщ, котлеты, дом, работа, дом...
Жить хотелось проще. Но приятней
Ей жилось с тетрадкой и огнём.*

*И повсюду чудились ей тени
От игры сгорающих стихов.
То ли быт был увеличен ленью,
То ли дел не видно из-за слов?*

*Ей казалось: выстоят кастрюли,
Не сдадут горячих рубежей,
Ведь живут же женщины-чистюли
В правильном согласии вещей.*

*Как-то совмещают незаметно
Фильм, пельмени, книжицу, кровать,
Чтобы чувства были не раздеты,
Чтоб осилить – «ждать» и «догонять».*

*Только не вязались воедино
Ни пути, ни авто-поезда.
На стене ожившая картина
Всё звала: сюда, сюда, сюда...*

*Предрассветно занималась алость
Над парящей матушкой-рекой,
Сколько звёзд там утопить пытались,
Да вот не сумели ни одной.*

*Там, едва на грани, между паром
И нетканой синевой разлук
Счастье утром раздавали даром
В жилистые тени женских рук...*

*Жить хотелось проще и понятней:
Улица, декабрь, дорога, дом.
Жить хотелось проще. Но приятней
Ей жилось с тетрадкой и огнём.*

Медленно, будто привыкая к горечи земного существования, Рита Одиноква погружается в бытийное знание о мире. Фигура героини может метаться и грустить, звать возлюбленного и оставаться в уединении, но, словно накрывая всё происходящее неким мистическим покрывалом, автор откуда-то знает, что вот так, в разных случаях по-разному – безотрадно и мучительно, со стоицизмом и почти космическим одиночеством, с редким мгновением счастья и долгими воспоминаниями о нём – устроена человеческая жизнь. Точнее – жизнь русской женщины, никогда не забывающей о своём предназначении быть матерью и женой и, подобно Богородице в сказаниях древности, воплощать в себе таинственные приметы родной земли.

Многие годы Рита Одиноква провела в окружении иной национальной культуры. После распада Советского Союза она уехала из Азербайджана в Россию и нашла свой дом в провинциальной Россоши, на юге Воронежской области. Новое российское государство достаточно холодно относилось к русским переселенцам. Однако терпение и упорство способны преодолеть почти любые преграды, и молодая поэтесса укоренилась на новом месте. Спустя десятилетия у неё появятся знаменательные строки:

*Из города вышла я к вечеру,
В деревню пришла с солнышком.
От пригоршни веры иссеченной
Осталось одно зёрнышко.*

*Но время – лекарство. Что пройдено –
Не зря. И судить не берусь.
Кто знал, что священное «Родина»
Скажу я про мачеху Русь.*

Похожие душевные обретения для художника поистине драгоценны – они дают контрастное сочетание временных рубежей, пространственных окоёмов, времён года, красок природы, человеческих взаимоотношений.

Склонность к контрасту постепенно проявилась как естественная черта ума и сердца поэтессы. По образованию она – геологоразведчик, но уже два десятка лет её имя связано с журналистикой и культурой. А теперь и стихи Риты Одиноквой можно считать самобытным явлением современной русской поэзии. Прежде казалось, что её стилистика и тема – только чувственная женская лирика. Но с течением лет эта вполне ограниченная смысловая и эмоциональная территория расширилась, и личность автора предстала перед читателем многогранной и твёрдой в своих волевых устремлениях.

*Вы слышали, как ноябрьской ночью
Шепчут листья на шальном ветру?
Их слова всё резче, всё короче,
Их движенья всё точнее к утру.*

*Не страшит их хрупкостью морозной
Неизбежность на исходе дней.
Их слова нежны и осторожны,
Тем они дороже и мудрей.*

*Шепчут так, чтобы никто не слышал,
Им одним понятным языком.
Домовой, что прячется под крышей,
С этим объяснением знаком.*

*Кто отважней листьев этих верит,
Пропуская холод сквозь себя,
В истину божественных материй
И в седую правду бытия?*

Стилистика её стихотворений содержит в себе некоторый элемент конструктивизма, хотя проявляется это нечасто, но скорее обозначается исподволь, как дополнительная поэтическая краска. У неё много стихов плавных, наполненных теплотой переживания. Абстрактные вещи и понятия легко соединяются с обиходными предметами, бытие как бы овеивает быт, и тайна соединения тела с душой вдруг находит ещё одно неожиданное изображение.

Стоит отметить, что изобразительность в стихах Одиноквой весьма и убедительна. Предмет возникает перед внутренним взором читателя неожиданно, но занимает уже незримо подготовленную сюжетом позицию. Перед нами – искусство рассуждения и сопоставления далеко отстоящих друг от друга вещей, умение последовательно и точно совместить общий и крупный планы.

*И было сказано вчера:
«Не забывай, что ты крылата!»
Но крылья сложены горбато
На табуреточке с утра.*

*И в доме теплится рассвет.
Смеются белые страницы,
Взлетая надо мной как птицы.
И небо здесь, да чуда нет...*

Одновременно строки поэтессы хранят в себе её дыхание, которое, кажется, раздвигает границы сюжета и даёт ощущение жизни за плечами – жизни своей и жизни русской как таковой.

В лирике Риты Одиноквой всё ещё видны едва уловимые следы вчерашнего художественного опыта автора. Однако завтра её стихи отдалятся от дорожной пыли и займут положенное им место между небом и землёй – как и подобает настоящему поэту.



**Рита
ОДИНОКОВА**

В БЕЗМЯТЕЖНОСТИ АПРЕЛЯ

У ГОВОРЛИВОГО СЕЛА

Вся жизнь моя как на ладони
У говорливого села.
Я не в обиде, пусть постонет
На среднерусское раздолье,
Что я гусей не развела.

Что у меня в карманах ветер,
А в голове сплошной дурман.
Мне солнце утром на рассвете
Подарит полевой букетик
И рек молозивный туман.

С травой я поделюсь печалью
Пришедших и минувших дней.
Проснувшейся степною далью,
Раскинув руки, убегаю
Навстречу радости своей.

И пусть для многих я – чужая.
Меня ж тропинка привела
Туда, где в небе птичья стая
Закатом кружится, играет
У говорливого села.

-
- Рита Александровна Одинокова родилась в 1966 г. в г. Баку. Окончила геологоразведочный факультет Азербайджанского института нефти и химии, факультет психологии Современной гуманитарной академии (Москва). Публиковалась в региональной печати, журнале «Подъём», журнале «Арина», коллективных сборниках. Автор книг поэзии и прозы «Ностальгия», «Виноградный бунт», «Женщина с красным зонтом», «Босоногие смыслы». Лауреат областного конкурса журналистов в номинации «Семья: традиции, ценности и развитие». Дипломант Всероссийского фестиваля «АГРО-СМИ-2009». Дипломант Воронежского областного литературного конкурса «Кольцовский край» – 2017, лауреат Первой Воронежской областной премии имени Евдокии Ростопчиной – 2018. Руководитель Россошанского творческого объединения «Слово». Член Союза писателей России и Союза журналистов России. С 1989 года живёт и работает в г. Россошь Воронежской области.

Я всё ещё здесь. На этом последнем причале.
И мой переход не подвластен ни мне, ни тебе.
Ты только молчи, чтобы птицы мне вслед не кричали
Нечестную песню о верной любви и судьбе.

Ты только меня не держи напоследок за пальцы,
Никто не подскажет, где счастья целебный глоток.
Уж осень вокруг.
Мы у осени здесь постояльцы.
На время пришли и однажды уйдём за порог.

Ведь жизни река, как бы ни было чистым начало,
По скользким и лживым камням неустанно бурлит.
Ты только спеши.
Я чуть-чуть подожду у причала,
Пока моё сердце ещё о любимом болит.

Я стала разговаривать с собой,
Когда со мной тебя совсем не стало.
И в этом сумасшествии усталом
Я нахожу и радость, и покой.

Спешу в беседку. Там, где гомон птиц..
Апрель в пасхальный день всё понимает
И каждой новой клеточкой внимает
Дрожанию берёзовых ресниц.

А между нами – жизни до небес,
И на душе моей светло и больно.
«Христос воскрес», – я бормочу невольно
И жду в ответ: «Воистину воскрес!»

В безмятежности апреля
Притаился солнца след.
– Ты словам, как прежде, веришь?
– Спросишь.
Я отвечу:
– Нет.

Жаль, что нежность всё короче,
День присутствием согрет.
– Ты меня отпустишь к ночи?
– Спросишь.
Я отвечу:
– Нет.

Ветви ветер обнимают...
Не удержат. Что за бред?
– Всё ли мы весне отдали?
– Спросишь.
Я отвечу:
– Нет.

За кудряшками черешни
Жди меня, мой ясный свет...
– Ты вернёшься, друг нездешний?
– Я спрошу.
Ответишь:
– Нет.

Я хочу говорить с тобой в тишине,
Когда тает свеча, а за окнами – осень.
И чем ближе зима, тем дороже ты мне.
О печали мы осень сегодня не спросим.

Обо всём на земле я хочу говорить,
Слышать эти глаза по наитию свыше,
И единственной быть,
и мечтать,
и творить.
Говори, говори...
Нас никто не услышит.

СЧАСТЬЕ

Размыты в небесах седые колокольни,
И звонари давно ушли в небытие.
Свободны от узды, в степях резвятся кони.
Там истина твоя, там счастье твоё.
О, вольный сын Земли! Твой мир похож на бисер.
Нечёткие слова, нерезкие огни.
Моря и облака сливались в синей выси,
Когда ты говорил о вере и любви.
И распускались пни зелёною каймою,
И зацветали дни, озябшие от сна.
Наедине с собой ты был самим собою,
И плакали с тобой и солнце, и луна.

РАЗГОВОР С УСТАВШИМ ПОЭТОМ

Давай помолчим о тебе так, как снег о себе молчит.
Это правда, что крылья – твоя стихия, и стихи – вместо молитв.
И не жалуйся за столом. Разве ты хочешь знать,
Почему одному – корзина с фруктами и вином, а другому – тетрадь?

Ты – вплотную к ночи, что дышит у твоего лица,
К зеркалу окна, где старуха уставшая, ожидающая конца.
Она уже прошла все твои открытия и трепетные декабри,
Она больше не смотрит на звёзды, она смотрит на фонари...

А снег так же тих, как и тысячи лет назад,
И за ночь жизнь меняется и меняется взгляд.
И в прозрачной вуали, чистую, как деву к венцу,
Снова и снова на рассвете ты ведёшь душу нищую к своему Отцу.

Не за помощью идёшь, не за правдой, не за теплом.
Там, где дни рассчитаны на секунды, –
Светел путь к себе, в свой последний дом.
У голубых куполов, там, на высоком кресте,
Все с распахнутыми руками и с распятыми – все.

Не спрятаться за тёмные очки!
Саму себя обманывать нелепо:
Не для меня в траве поют сверчки,
И, как от зверя, убегает лето.

Смотрю на жизнь, что вовсе не моя,
Прикладываясь к зеркалу отважно.
Где та, которой, мыслей не тая,
Рассказывал о счастье лист бумажный?

Мне б вытянуть из зазеркальных пут
Ещё один заветный день беспечный,
Чтоб обрести надежду снова вдруг –
Любить и верить. Бесконечно.

О, жизнь! Пугают холодность твоя
И ветер безразличья беспощадный.
В морозном откровенье ноября
Отсчёт обратный...

Лишь память... Как, прощая, мать в окне,
Вздыхнув устало, перекрестит в спину.
Не думай, мама, плохо обо мне,
Я этот мир жестокий не покину.

Останусь я тутовником в саду,
И книжкой с красным зонтиком на стуле.
Я смехом внучки снова в жизнь войду
В каком-нибудь июле...



**Нина
ТУРИЦЫНА**

СМЕРТЬ В КРЕПОСТИ

*Кто не жил в России в 1856 году,
тот не знает, что такое жизнь.*

Л. Н. Толстой

Часть 1

– Господа! Вы прибыли в не совсем обычное место, – так начал свою лекцию по геополитике комендант гарнизона и командир опергруппы войск НАТО полковник фон Меерс. – Это восточная оконечность Крыма. От Керчи – города со ста пятьюдесятью тысячами жителей – нас отделяют 4 километра суши, от России – 7 километров пролива. Есть международные договоры, подписано соглашение – вы всё это знаете. Но вы не должны забывать, что существуют подводные течения, даже если поверхность кажется гладкой.

Он оглядел аудиторию и добавил:

– Течения – это, конечно, только образ. Крым – слишком лакомый кусок, его считают своим и русские, и украинцы, и крымские татары, и даже понтийские греки. Но все они слишком слабы, чтобы что-то противопоставить нам. Но, с другой стороны (хотя, простите, по-английски – с другой руки), они столетиями жили бок о бок, а мы для них – чужаки. В Европу они только ездили, а мы в ней живём!

Полковник был родом из Нижней Саксонии, но лекцию читал на международном, английском языке.

– И жить, и нести службу мы будем в крепости, построенной инженером Тотлебенем.

Солдаты-немцы оживились: судя по фамилии – наш! Но перебивать речь полковника вопросами никто, конечно, не решился: дисциплина! Фон Меерс, однако, заметил это движение и сухо сказал:

-
- Нина Николаевна Турицына – член Союза российских писателей. Автор трёх книг прозы (повесть, рассказы, детективы, мемуары о знаменитых людях). Пишет стихи, публицистику, занимается переводами. Публиковалась в литературно-художественных журналах «Юность», «Аврора», «Урал», «Бельские просторы», «Идель», «Подъём», «Башня» и многих других. Произведения вошли в шорт-лист Международного конкурса переводов «Ак Торна» и лонг-лист Бунинской премии. За рассказы о Керчи награждена медалью «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков».

– Мне придётся сделать краткий экскурс в историю. В историю Крымской войны, которой закончилось царствование Николая I.

Он начал царствование, когда часть армии и даже гвардии отказала ему в присяге на верность. В первый свой день ему нужно было принимать решение.

В тот день, 14 декабря 1825 года, он нарочно замедлял шаг своей лошади, он знал, что нельзя показать свой страх. И страх ушёл. Он испытывал свою мощь, и успех испытания обеспечил ему повиновение подданных. Однажды и навсегда он пришёл к заключению: смерть – не конец, она – не самое страшное. Преодолей страх смерти – и ты приобретёшь власть над людьми, ибо она не приходит по чину. Сначала – власть над собой, над своим страхом, над страхом самого страшного – смерти. Он сумел осуществить то, о чём предупреждала Мария Терезия свою дочь: «Сначала добейся власти над собой, своими желаниями и страстями, и тогда ты добьёшься власти над людьми».

А дочь её была – Мария-Антуанетта, супруга Людовика XVI.

В продолжение своего 30-летнего царствования он достиг большего, чем власть: обожания.

Говорили о его уме математика, инженера, о его блистательной красоте, о магии его взгляда. Им восхищались, его боготворили. Любили? А какие чувства подданных важнее для самодержца?

И царь не был догматиком: порицавший азартные игры, он для полуослепшей Натальи Петровны Голицыной (будущей пушкинской Пиковой дамы) повелел специально изготовить на заводе карты огромного размера.

Он не был и трусом: свободно заходил в бараки к холерным больным, не боясь заражения.

Он разгромил турок в военной кампании 1828–1829 годов, присоединив к России кавказский берег Чёрного моря, подавил восстание поляков 1830–1831 годов, венгров – в 1849 году.

Он уверовал, что его армия непобедима. Он убедился и в своей личной безопасности: это был последний российский император, который свободно прогуливался по городу и разъезжал в экипаже по всей столице, пренебрегая охраной.

Любил ли его народ? Боялся! А у русских это лучшая форма любви.

В 50-е годы 19 века главным узлом противоречий между великими державами Европы, к которым относились Англия, Франция и Россия, являлся Восточный вопрос – о сфере влияния в Османской империи, включавшей в себя Северную Африку, Балканы и Ближний Восток.

Русские пытались усилить свои позиции дипломатическим нажимом на турецкое правительство, воспользовавшись обострением конфликта между католическим и православным духовенством из-за святых мест в Палестине. В феврале 1853-го направленный императором чрезвычайный посол князь Меншиков потребовал от Порты поставить всех православных подданных, находящихся на территории Османской империи, под своё покровительство. Он знал, что его союзники, Австрия и Пруссия, поддержат его. Расчёт был и на то, что давние соперники и враги, Англия и Франция, не смогут образовать военного союза, а Порта не примет их как своих сторонников, памятуя, как обе они старались наперебой подчинить себе сырьевой рынок Турции.

Но Порта, поддержанная Англией и Францией, отклонила требование российского императора.

В мае 1853-го посольство князя Меншикова покинуло Константинополь. Дипломатические отношения были разорваны.

Англо-французский флот вошёл в Черноморские проливы и стал на якорь у Константинополя.

Где бессильна дипломатия – за дело берётся армия.

У русских были причины, а турки предоставили повод.

В июле 1853-го русские перешли реку Прут, занимая княжества Молдавию и Валахию, находившиеся под покровительством Турции.

150-тысячная турецкая армия стояла на Дунае и 100-тысячная – на границе в Закавказье, когда Порта 26 сентября 1853 года предъявила России ультиматум с требованием отвода её войск из Молдавии и Валахии. Но русские не ушли, хотя их армия оставалась на положении мирного времени.

4 октября, не дожидаясь срока ультиматума, Турция объявила России войну. Её союзники в ходе Крымской (Восточной) войны вели боевые действия на Дунае (там русские вынуждены были стоять 250-тысячным войском, а это была четверть всей русской армии, так как хитрые австрийские дипломаты не вставали пока ни на чью сторону), на Балтийском и Белом морях. Цель была – расчленив Россию и лишить её выхода к морям.

В марте 1854 года флот Англии и Франции блокировал морское побережье России.

13 сентября в Крыму высадилась англо-франко-турецкая армия: 89 военных кораблей и 300 транспортных судов.

В октябре Севастополь, не имевший укреплений с суши, был в блокаде. Руководившие обороной Владимир Алексеевич Корнилов и Павел Степанович Нахимов затопили два корабля, перегородив вход в бухту. После несчастного для русских сражения на реке Альме Севастополь оказался в блокаде. Но русские не отсиживались в крепости. 24 октября, например, они провели атаку на Инкерманские высоты, занятые англичанами, да такую, что высоты несколько раз переходили из рук в руки. Потери англичан были столь велики, что штурм Севастополя пришлось отложить на неопределённое время.

Только через 349 дней, в сентябре 1855-го, Севастополь был оставлен. Он был полностью разрушен.

Затем решили захватить Керчь и Еникале, дабы предупредить укрепление пролива русскими. Десанты англо-французской эскадры заняли Керчь, она почти год находилась в оккупации. Открытая с тыла Павловская батарея и старая, ещё турками построенная Еникальская крепость не могли сдерживать превосходящие силы союзников, десант коих насчитывал до 25 тысяч человек. Русские приняли решение уничтожить все припасы и отступить на Феодосийскую дорогу, препятствуя проникновению неприятеля в глубь полуострова и окружению восточной группы своих войск.

Союзники по-разному относились к оставшимся в городе керчанам. Французы с керчанами были вежливы, с дамами предупредительны, с детьми ласковы. Покупая что-либо, французы за всё платили, чего нельзя сказать про англичан, которые держали себя вызывающе и грубо. Но и русские, заняв Париж после победы над Наполеоном, были галантны с парижанами. Нарушением дисциплины могла быть кража яблок из сада, не более.

Первое время союзники старались удерживать от грабежей крымских татар и расстреляли восемь из них, но потом англичане и турки, пользуясь услугами караимов и евреев, служивших им проводниками, не оставили ни одного дома не разграбленным. Господа, я в данном случае выступаю как беспристрастный историк.

Через Керченский пролив в Азовское море прорвалась англо-французская эскадра и обстреляла города Бердянск, Геническ, Ейск, Мариуполь, Таганрог. А ведь об опасности этого предупреждал ещё в феврале 1855-го

генерал-адъютант Хомутов: «За Керчью следует Азовское море, а за ним уничтожение всех наших запасов; не могу не удивляться, как против такой опасности не берутся меры».

Как потом напишут историки, Крымская война обнажила...

Любая война, даже завершившаяся победой, обнажает слабые места дипломатии, армии, оборонной промышленности и – выше – правителя.

Третий сын Павла Петровича завершил своё царствование так же таинственно, как его старший сын Александр.

О кончине императора Николая I в Европе ходило много слухов, вплоть до предполагаемого самоубийства.

Версия эта неверна. Император был христианином, а добровольное лишение себя высшего Божьего дара – жизни – великий грех.

Если самоубийство и было, то скрытое. В феврале 1855-го у императора началась инфлюэнца (теперь называемая гриппом). Сохранилась официальная бумага, где зафиксировано, что он отказался от лечения, положившись на волю Божию.

2 марта он скончался, не дожив до 59-летия четырёх месяцев.

37-летний старший сын, Александр Николаевич, после подписания Парижского договора о мире принимает решение строить укрепления, ибо впечатление от незащитности Азовского побережья было очень тяжёлым. Международная обстановка требовала не считаться с затратами на вооружение. Во «всеподданнейшей записке» наместника прямо говорилось о необходимости выделить нужные средства на строительство «укреплений Керченского пролива, работы коих крайне полезно довести ещё в течение будущего года до того, чтобы неприятелю не было возможности взять их с тыла, как в минувшую войну».

В июне 1856 года оккупанты покинули Керчь. Город лежал в руинах.

А в августе первые военные инженеры начали работы на территории бывшего французского лагеря, в бухте Павловской, названной в честь сына Екатерины Второй.

Проект представили лучшие фортификаторы России – генералы Константин Петрович Кауфман и Эдуард Иванович Тотлебен.

Перегораживать Керченский пролив начали весной 1857-го: пароход «Предприятие» и баржа грузились камнем, который перегружался на баркасы, кои ходили по канату на линии заграждения. Было начато строительство мощной крепости для того, чтобы закрыть вход из Чёрного моря в Керченский пролив. Лежавшую напротив крепости косу искусственно удлинили каменной насыпью, сузив фарватер. Теперь любой проходивший корабль оказывался под прицелом крепостных пушек. Керчь быстро росла, были приняты на жительство временнообязанные крестьяне, которых привлёк хороший заработок на разработке камня и строительстве крепости.

Пролив перегородили в 1868 году, оставив 405 сажень для прохода судов. Однако 5,5 километра каменной кладки постепенно разрушалось штормами, льдами, и к началу 20 века она уже не была видна над морем.

А вот крепость осталась – воплощение инженерного гения генерала Тотлебена, ставшего европейской знаменитостью.

На площади 367 десятин – то есть 400 гектаров – было построено более 300 сооружений, сверху для маскировки покрытых землёй и дёрном. Для солдат и казаков строительство крепости было не просто службой. Это была их жизнь. Никто не заставлял их, строя какое-либо здание, украшать его. Но они украшали, ведя фигурную кладку, вспоминая родные веси. Они копали землю и разводили огороды, хотя их тоже никто не заставлял. Только

офицеры могли привезти к себе семью и жить обычной семейной жизнью, каждый в отдельной «квартире». Солдаты жили в общих казармах, вы их увидите – огромные, с потолками 5–6 метров высотой.

Крепость строили 20 лет. До конца 19 века это – крепость 1-го класса, одна из семи лучших крепостей России, вторая по значению после Кронштадта приморская крепость.

Её строили ветераны Крымской войны – пехотинцы Виленского, Минского и Литовского полков, солдаты строительных рот, кубанские казаки и вольные люди. Александр трижды приезжал сюда. В 1861 году, осмотрев строящуюся крепость, повелел: «В честь трудов, понесённых солдатами, наименовать люнеты: левый – Минского, правый – Виленского полка, а главный форт именовать «форт Тотлебен».

Во времена СССР в крепости стоял воинский гарнизон.

Когда страна развалилась, Украина после десятилетия забвения, а затем попыток организовать музей-заповедник решила: не пропадать же такому добру!

НАТОвские военные инженеры провели модернизацию крепости.

Тотлебенская крепость почти вся была под землёй. Со стороны моря её было практически не видно. Когда-то это было оправдано: противник не должен был о ней знать.

Но теперь, 160 лет спустя, необходимость прятаться под землю отпала: крепость давно занесена во все энциклопедии мира.

Мы завершили строительство современных наземных укреплений, модернизировали старые подземные казематы – и теперь я могу приветствовать первую группу союзных войск.

У нас интернациональный гарнизон. Как причудливо претворяются мечты большевиков!

Русские знают, конечно, о восстановлении крепости, но детали проекта, количественный состав и род оружия держатся в строжайшей тайне.

Вам будет разрешено выходить в город, но при этом – никаких личных связей, близких знакомств. В городе могут быть листовки с призывами против НАТО. Читать, а тем более срывать их со стен не следует – это может быть расценено как провокация. Я обязан вас предупредить, что слежение надлежащим образом будет организовано. Замеченные в порочащих связях будут немедленно уволены.

– И без права восстановиться?

– Да, именно так.

– Сурово... – начал было Лех Вайделота, но был прерван.

– DURA LEX SED LEX.

– Это кто из нас дура?

– Это латынь. Язык Древнего Рима.

– Господин полковник прав. Мы на оккупированной территории.

– Украина – наш союзник. И, кроме того, это тоже славяне.

– Это мы славяне. А начальники сидят – вон где!

– Ты имеешь в виду тех, за океаном?

– Да Америку ненавидят! Я всю Европу объездил, там все говорят...

– Вот именно, объездил.

– Ребята, не будем ссориться. Армия – это дисциплина и инструкции.

Мы должны им следовать. Пока примите это как совет.

– Сурово, – опять пробормотал Вайделота, наклоняясь к своему земляку Ежи Стахевичу, но уже шёпотом: – И не подружись ни с кем, везде слежка – прямым текстом сказали.

Офицеры тем временем обступили фон Меерса.

– Господин полковник, вы привнесли в английский язык ту точность, которая заменила приблизительность речи англичан – неизбежный спутник их чисто британской вежливости.

– Комплимент сомнительный, но я его принимаю. А точность – это язык документов. Их мне приходилось изучать достаточно.

Начались армейские будни. Служба есть служба.

Но сухопутные южные поляки и чехи были рады. Море! Какие виды открываются с высоких холмов! И воздух – сухой, горячий, степной, а с моря – бриз. Это не вечные облака в Судетах, и даже если светит солнце – запросто через час может хлынуть ливень.

Французы не сторонились поляков, памятуя, что когда-то и королевой у них была урожденная Лещинская; и Мицкевич, и Шопен обрели у них родину. Да и вообще французы не презирали других, они презирали в других – отсутствие культуры. Высокие, стройные, аккуратные, отутюженные – образец элегантности. Но самыми высокими – под два метра – и широкоплечими были два голландца из Амстердама. Их спрашивали о весёлых кварталах *red lights* (красных фонарей), но они хмуро отвечали, что ничего весёлого там нет: всё строго, по-деловому. Впрочем, личного опыта не выказывали. Крепкие рыжеватые немцы из Баварии и Тироля насвистывали свои песенки как у себя дома, не печалься и не скучая.

В город тоже ходили, только в увольнение по разрешению, и никаких самовольных отлучек – с этим у начальника строго.

«Наша крепость неприступна!» – был его девиз.

Жерла туннелей смотрели с крутого берега в сторону России. Там через пролив лежит житница русских – Кубань.

Противоположный берег, внешне такой мирный, крестьянский, круглые сутки просматривался на экранах радаров.

На ночь Меерс – старый перестраховщик – установил ещё и дежурство, в обязанности дежурных входило визуально и на слух оценивать обстановку на берегу.

Летние ночи были тёплыми, всё вокруг спокойно, днём после дежурства можно было отсыпаться – в общем, ночные бдения не считались за тяжкий труд.

Но когда пришёл первый шторм с дождём, возвестив наступление крымской осени, на дежурство добровольцев не было.

И начальник отдела безопасности утвердил график.

– Запомните: подмены и отлучки даже на 5 минут строго запрещены.

День под свинцовым небом прошёл хмуро.

Вайделоту и чеха Скузита вызвали за час до дежурства, проверили быстроту реакции, давление, пульс.

Луч радара, отражаясь от противоположного берега, выписывал на экране обычные кривые.

Всё как всегда.

И дождь поутих.

Но утром они не пришли сдавать дежурство. Их ждали 15 минут, полчаса...

Это было неслыханно! Кто-то сказал:

– Ну, Вайделота, понятно, дисциплиной не блистал. Но не до такой же степени! А где второй?

Поляк Стахевич обиделся за земляка:

– Может быть, что-то случилось?

Он и двое из службы безопасности отправились на поиски. Они вышли из ворот, обогнули стену и пошли вдоль берега.

О высокие кручи яростно билось море. Кубань, невидимая за полосой дождя, только угадывалась в тумане.

Они прошли 100, 200, 300 метров – никого.

И вдруг шедший впереди закричал:

– Смотрите!

Лех лежал на земле. Как живой. Но был мёртв. Он не был подстрелен, ранен – с виду целый и невредимый, но мёртвый. Возле него возился испуганный Скузит.

– Что с ним?

– Я не виноват, – запричитал чех, – я только утром, когда рассвело, увидел... Я всё ему делал, как нас учили... Массаж сердца, искусственное дыхание...

– Ему не поможешь. Он уже холодный.

Стахевич не мог с этим смириться:

– Я всё же должен попытаться. Он холодный, потому что замёрз на земле.

– Он мёртв уже несколько часов. Неужели ты не видишь?

– Мы должны нести его в крепость?

– Тут явный криминал. А в таком случае тело оставляют, не трогая.

И старайтесь тут не топтать.

Стахевич позвонил в службу безопасности. Приказ был: «Ничего не трогать. Ждать».

Пришёл сам начальник, Серж Ашиль Лаборе, с ним двое из его службы и врач-чех.

– Тут требуется не врач, а детектив, – мрачно изрёк пан Зденкин.

– Такой должности у нас не предусмотрено. В конце концов, даже старушка Марпл...

– ...разгадывала деревенские происшествия...

– Убийства, доктор! А от вас пока лишь требуется дать медицинское заключение.

– Да, да, – примирительно закивал Зденкин.

Двое солдат и врач отправились с мёртвым телом на носилках в крепость, а Лаборе и его сотрудники приступили к осмотру места. На влажной земле отчётливо были видны следы грубых армейских ботинок Вайделоты и Скузита. И больше ничего.

Они обследовали весь путь часового, но самый тщательный осмотр ничего не добавил.

– Пойдём к Зденкину.

Вердикт врача был неожиданным: смерть наступила 4–6 часов назад от разрыва сердца.

– Вы уверены? У такого здорового парня?

Доктор, не обижаясь на бестактный вопрос непрофессионала, торжественно откинул простыню и продемонстрировал вскрытый труп.

– Вот видите: маленькая дырочка. Сердечная мышца омертвела и разорвалась. Это очень редкая смерть.

Лаборе старался скрыть потрясение:

– Отчего это может быть?

– В данном случае – трудно сказать. Организм был молод и крепок.

Лаборе спросил врача:

– Что доложим начальству? И надо как-то подготовить сообщение родным.

А потом мягко добавил:

– Жалко парня. Природа ему отмерила не менее ста, а прожил – 20.

Но Меерс не сентиментальничал:

– Это ЧП! Лазутчики ходят, а мы не видим!

– Позвольте доложить. Вот план. Вот его участок, где он ходил. Не обнаружено никаких следов, ничьего постороннего присутствия.

– Что же, у русских секретное оружие? А мы даже не можем послать протест: доказательств нет!

– Позвольте, господин полковник. Совершенно с вами согласен: протест посылать некому. Одна редкая смерть – ещё не повод для паники. Значит, и случай редкий. Наша задача – успокоить тех, кто стоит в графике на следующее дежурство.

– Вы правы. Пока – всё в обычном порядке. А личному составу объясните это как редкий случай редкой смерти. Тут и наша оплошность. Ведь погибшего обнаружили только утром, когда рассвело. Выдать им очки ночного видения! Только пусть аккуратнее с ними – это сложный и дорогой прибор.

Солдаты восприняли правильно, то есть так, как им объяснили. Никто не хотел демонстрировать малодушие и нарушать дисциплину. На ночное дежурство, согласно графику, заступили Стахевич и француз Матен.

Их более тщательно проверили в медицинском кабинете, у самого Лаборе они ещё раз прослушали все наставления и пересказали все инструкции, Лаборе лично перепроверил всё оружие и экипировку, вплоть до очков и батареек к ним.

Стахевич бодро прокричал:

– В наряд готов!

(А про себя: «Пане, змилуйся!»)

Утром Стахевич не вернулся. Он был найден на берегу без признаков жизни. Место оцепили, а тело отправили в медицинский корпус. Заключение было то же: «Разрыв сердца».

– Доктор, вы же говорили, что это очень редкая смерть?

– И повторю.

– Тогда почему?

– Я вам ещё вчера говорил: тут нужен детектив. Я бессилен.

– И что я доложу Меерсу? А может быть, и выше?

Лаборе решил сам поговорить с соотечественником в спокойной обстановке, на родном языке.

– Антуан, расскажи, что ты видел?

– Мсье Лаборе, честное слово, я не знаю, я ведь не смотрел на него всё время. А потом взглянул в его сторону – а его нет. Я сразу побежал к его посту. Смотрю: он лежит на земле. Я прижался к его груди – сердце не бьётся. Хотел делать искусственное дыхание, а губы у него уже холодные...

– Ты ничего необычного не заметил?

– Нет, мсье.

– А звуков подозрительных не слышал?

– Нет.

Лаборе внимательно посмотрел в ясные глаза парня, на его простое лицо, но эта ясность и простота огорчили его своей бездумностью.

– Антуан, откуда ты родом? Чем занимался?

– Из Амбуаза, мсье. Это место, где много туристов. Я служил в сувенирной лавке. Помогал привозить, разгружать, расставлять.

Амбуаз в долине Луары! Резиденция Франциска I Короля, который пригласил во Францию гонимого на родине Леонардо да Винчи! А тот в кожаном мешке привёз с собой доску с любимым портретом прекрасной дамы – теперь величайшую картину величайшего в мире музея – «Мону Лизу»!

А для Антуана это просто «место, где много туристов». Лаборе вспомнил, как упивался когда-то «Закатом Европы». Всё оказывается в жизни будничнее, серее и – печальнее. И печаль эта беспросветна. Говорить не о чем.

– Можешь идти.

– Слушаюсь.

Меерс не стал ругаться и кричать. Он оставил Лаборе на совещание, куда пригласил ещё несколько приближённых.

– Ваши соображения, господа.

– Радар не определил никаких необычных объектов на той стороне. В воздухе тоже ничего не было. На месте происшествия, как и вчера, никаких посторонних следов.

– Ну, теперь это определять труднее, ведь погибли уже двое.

– А осмотрели ли берег? Сам спуск, кручу? Может быть, кто-то подплывает ночью?

– Да, господин полковник, берег осмотрен. Ничего не обнаружено.

– Позвольте высказать парадоксальное предположение, – попросил майор Бруно Миллер.

– Да, прошу вас.

– Мы исходим из того, – он оглядел присутствующих: фон Меерса, Лаборе, майора Мортонна и капитана Штейна, – что Украина – наш союзник, а Россия – противник, хотя и с мирным договором. Но на Украине много русских и много детей и внуков тех, кто пережил оккупацию Крыма. Вы думаете, они простили Аджимушкой? Я читал об этом. Под землю спрятались 10 тысяч, а вышли живыми – несколько десятков.

– Статистика, может быть, и правильная, но это они пусть Сталина благодарят. Кто не слушал его пропаганды и не лазил в катакомбы, остался жив. Зверства преувеличены. Мирных жителей не убивали. На территории Крыма действовала 11-я армия под командованием Эриха фон Манштейна. Это военный старой прусской школы из семьи генерала артиллерии Эдуарда фон Левински. Великий полководческий талант. В нём не было ничего садистского.

– Это его Гитлер отстранил от командования?

– Да, в марте 1944-го. И с его отставкой рассеялась последняя надежда на исход войны вничью. Что поделать! Наполеон собирал вокруг себя таланты, а Гитлер и Сталин – серость, отстраняя тех, кто смел им возражать.

– А Жуков?

– Без него бы Россия проиграла войну. А со смертью не шутят!

– С вашего позволения, я продолжу. Может быть, наши две смерти – не с того берега?

– Ах, вы вот о чём!

– А ведь это версия! Но как проверить? Ввести комендантский час в городе? Мы на это не имеем права.

– Надо выставить дополнительные посты на городской дороге.

– Записывайте, господин Лаборе. Сегодня же – второй график. И – самых проверенных и дисциплинированных. Обратите внимание: оба погиб-

шие – поляки. Поспрашивайте: не были они замечены с наркотиками или всякими экстази?

На ночь были выставлены ещё двое часовых. Поляков больше не брали. На городской дороге – чехи, на берегу по графику выпало немцу и голландцу. График Лаборе решил не менять, чувствуя, что любые новшества внесут ещё большую сумятицу.

Утром чехи сдали пост.

Голландца и немца не было.

Такого волнения в сердце Лаборе не чувствовал давно, наверно, с измены жены, когда, оставив парижскую квартиру, он подписал контракт и поехал в Крым.

Он побежал сам, прихватив доктора и двух сотрудников.

Обогнули стену и пошли вдоль высокого берега.

Нигде никого. Далеко внизу гудело море, совершенно пустынное: кто рискнёт выйти в такую непогоду?

Впереди на тропинке что-то замаячило. Лаборе почувствовал суеверный страх.

Здоровенный голландец лежал, как будто его сбили с ног. Это было дикое зрелище: неужели и у него оказалось слабое сердце? Немца они нашли не сразу. Он сидел в кустах и беззвучно плакал. Спрашивать его было бесполезно, он был в каком-то оцепенении.

Голландца анатомировал доктор. Заключение было то же.

Затем к доктору привели немца. Пан Зденкин внимательно осмотрел его и поставил предварительный диагноз: кардионевроз.

– Он в шоке от случившегося, но вменяем и может говорить.

Однако толковых объяснений от него добиться не удалось, он повторял как заклинание одно слово: «Это мистика, мистика!»

Пришлось с ним согласиться: это была какая-то мистика, это не укладывалось в голове!

Даже Меерс перестал думать, КАК и ЧТО доложить начальству. И его охватил страх. Перед подчинёнными он ещё держался, но наедине с собой.. Главное, что он не мог ни за что зацепиться. Версий не было. Мозг отказывался работать.

Он вызвал Лаборе, Миллера и Зденкина: первого – как начальника отдела безопасности, второго – как товарища и компатриота, Зденкина – как врача.

Всем остальным объявил, что выслушает все догадки, какие у кого возникнут. Вот так, просто и демократично.

Лаборе сидел подавленный, Миллер – непроницаемый, и он обратился к чеху:

– Пан доктор, объясните с точки зрения медицины. Ведь все они были здоровы? Наркотики исключены?

– Да.

– Почему же вдруг – сердце?

– Я думал об этом. Это может случиться от сильного испуга.

– Но там нет зверей, хищных птиц. Не воробья же! И всё лето, когда живности было больше, их никто не пугал.

– Подождите, подождите, – вдруг как бы очнулся Лаборе, – действительно, всё лето... Всё лето... Дайте мне подумать...

И он, не прощаясь, ушёл.

У себя он лёг, не раздеваясь, вперив взгляд в потолок.

Отбросим все НЛО, секретное оружие на крестьянских полях Кубани.

Летом, когда живности было больше – никто солдат до смерти не пугал. Что же изменилось?

Ему казалось, что разгадка где-то рядом.

Нет, ускользает. Он слишком расстроен. Ведь это – его отдел! И – три ЧП!

Он позвонил Меерсу:

– Господин полковник, вы позволите пока отменить этот пост?

Тот запротестовал было:

– Это нарушение инструкций.

Но потом согласился. А Лаборе подумал: «А если самому пойти, но объявить, что никого там не будет? В конце концов, это дело офицерской чести».

Он стал готовиться к ночному визиту: проверил оружие, обувь. А если ещё надеть бронезилет?

В дверь постучали.

– Извините, Серж, нет ли у вас аспирина? – Это Мортон.

Явный предлог, но у англичан всегда так. Лаборе впервые за три дня улыбнулся:

– А без экивоков нельзя? Мы ведь друзья, не так ли?

– Да, простите, Серж. Я всё думаю об этих парнях... А куда вы в бронезилете?

– Никому – тогда скажу.

– Я и сам догадался. А почему – никому? Вы собираетесь идти один?

– Да.

– Это очень опасно. Может быть, они и погибли, потому что были одни. Надо бы побольше людей взять с собой.

– Побольше? Я сам собираюсь туда тайно, чтобы все думали, что никого не будет!

– Не возражайте, я пойду с вами. А больше – никому. Это и будет тайно.

Друзья обсуждали детали вылазки. А когда стемнело, вышли незамеченными. Лаборе шёл первый. Страх не было... Была напряжённость. Но предупреждён – вооружён. Они бесшумно обогнули стену. Да и кто бы их услышал за рёвом моря? И кто бы их увидел: южные ночи – глаз выколи.

– Где был пост? – прямо в ухо прошептал Мортон.

– У того туннеля с секретным оружием.

И они двинулись по тропке: впереди Лаборе, через три шага за ним – Мортон. Какого рода в туннелях оружие – они знали. Нет там никакого излучения и прочих ужасов. Да и гарнизон об этом знал: контракты добровольные. Только после трёх смертей солдаты начали сомневаться в достоверности того, что им сказали. Но Лаборе знал твёрдо и не боялся.

Вот и туннель. Он заглянул туда. Чернота. Никто оттуда не вылезал, не стрелял. Он даже понюхал воздух – ничего. Он предстанет героем и перед начальством, и перед своей глупой женой: на кого его променяла!

И вдруг он почувствовал, что слабеет, задыхается.

И догадка сверкнула в его мозгу:

– Дефанс!

Он рухнул на руки подоспевшему Мортону. Тот оттащил его в сторону на пожухлую траву и хотел делать массаж сердца. Проклятье! Этот бронезилет! Пока он снимал его, чувствовал, как обмякает тело друга в руках. Он забыл про все конспирации и закричал:

– На помощь!

Но за шумом моря его не услышали. Он делал искусственное дыхание, потом массаж, снова дыхание, чувствуя, что держит уже труп.

И тогда он разрыдался.

Ранним утром пан Зденкин констатировал четвёртую смерть. Маленькая дырочка на беззащитном сердце.

Мортону хотели отчитать за нарушение инструкций, но Меерс пришёл, посмотрел на его безжизненное лицо и велел прислать ему доктора.

Мортон встретил доктора неожиданным вопросом:

– Дефанс. Вам это ничего не говорит?

– Я там был. Это современный квартал на западе Парижа.

– Ах да. Я просто в каком-то отупении. А теперь вспомнил. Но и почему он назвал его перед смертью?

– Может быть, он там жил?

– Нет, он жил на улице Фош, 16-й округ. Это самый роскошный район Парижа. Но вы там были, в квартале Дефанс?

– С экскурсией.

– И что вам о нём говорили?

Зденкин задумался и надолго. Мортон смотрел на него как на Бога.

– Подождите, Мортон. Я, кажется, вспомнил. Гид говорил, что там какое-то сложное инженерное решение. Чтоб ветер не сбивал людей. Там какие-то завихрения... Ну да вы должны лучше разбираться.

Теперь пришёл черёд Мортону задуматься. Но подсказка была!

– Завихренья! В туннеле! А летом не было! Летом не было штормов! Я это изучал! Это инфразвук!

Полковнику доложили о догадке Мортону, и он вызвал его к себе.

– Блестяще, Мортон! Вы не только прощены, но, по чести, должны быть представлены к награде. Вы, наверно, знаете, какие нелепейшие слухи ползли по гарнизону? Стали верить уже и в мистику! И это в современной армии! Вы дали разумное объяснение. Физика, чистая физика!

– Боюсь, что разочарую вас, господин полковник. Не всё так просто. Вы сами рассказывали, сколько пережила эта земля. То, что нам кажется просто физическим явлением – это, может быть, её своеобразный протест, ведь земля не может кричать, стонать.

– Мортон, о чём вы? Какой протест земли? У нас погибли всего четыре человека, и этому есть объяснение!

– Но ведь мы пока здесь ничего особенного и не сделали...



**Игорь
ПРЕСНЯКОВ**

САД СЧАСТЬЯ

ПЕРЕДЕЛКИНО

Елене Калякиной

Ковёр берёзовой гостиной,
Травы чугунное литьё,
В плетёных креслах у камина
Жемчужных капелек шитьё.

Умолкли птичьи арабески,
И облака освещены –
Как в окнах Божьих занавески
С другой, обратной стороны.

О птичьем гаме, привереда,
В громах насмешничает май.
Течёт неспешная беседа,
И в блюдах вечно стынет чай.

Век будет штопать ниткой белой
Опять терновые кусты..
И этот мир не переделать,
Не отлучив от чистоты.

-
- Игорь Иванович Пресняков родился в Саратове в 1946 году. Окончил СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Работал инженером в НИИ. Стихи пишет с 1966 года. С 1971 работает в жанре авторской песни. Участник I фестиваля авторской песни (Саратов, 1986). Публиковался в журнале «Волга–XXI век» (2009, 2016), альманахе «Нетерпеливые строки» (2009–2018). Автор книг «Пятое измерение» (2011), «Прогулки с Будущим» (2013), «Песни Кумысной поляны» (2018). Дипломант фестиваля Св. Татьяны в номинации «Поэзия» (СПб, 2013).

САД СЧАСТЬЯ*Ольге Танькиной*

Расцветает сирень,
и в окошке открытом
с неба сыплется день
счастьем тонким сквозь сито.

И на стол, и на пол,
словно мал подоконник,
где ты гладишь подол
по привычке ладонью.

А какой век и год –
разгадать не под силу.
У тесовых ворот
время остановилось.

Вот и тешится сад
счастья каждою каплей,
а за дверью стоят
и лопата, и грабли.

Пахнет травами луг,
цепь звенит у колодца,
и по-детски вокруг
всё пространство смеётся.

А в окошке сирень
с солнцем в прятки играет,
будто штопает тень
тонкой ниткою рая.

Поэзия – приятельница счастья,
не знающая зависти и злости,
и разум отрекается от власти,
когда они вдвоём приходят в гости.

Нет смысла клясться ни землёй, ни небом,
пусть даже клятвы снова входят в моду.
Когда простое слово станет хлебом,
в вино тогда и превращают воду.

Лишь в эту воду мы и входим дважды,
лишь с этим счастьем и нужны природе...
Когда мы ощущаем радость жажды,
мы по воде в минуты эти ходим.

Моне колдует, в лес маня
Ромео и Джульетту...
Ах, Осень, девочка моя,
ты так легко одета!

Не в меру ярок твой наряд,
но кто тебя осудит:
когда все краски догорят,
любви уже не будет.

И одиночества черты
не кажутся мне странны.
Кого, скажи, согреешь ты
дождями и туманом?

Но после первого дождя
вновь в кронах праздник света...
Ах, Осень, девочка моя,
ты так легко одета!

1799

У лукоморья дуб зелёный...

А. С. Пушкин

Да, был войной известен этот год,
но русская земля, конечно, знала,
что выйдет срок – и жёлудь прорастёт,
ведь всё вокруг к тому располагало.

Овраг к прудам, и с четырёх сторон
над миром благодать, а не обида.
Уже в Италии «гостил» Багратион,
мужал в Бородино Денис Давыдов.

Да, снились сны пророческие, но
был Сен-Готард важнейшим из событий,
и в слове непростом – Бородино –
родства Суворов с Родиной не видел.

Томились ночи мудростью совы,
изгиб косы хранил избыток ласки,
и русский дух – дух скошенной травы –
уже рассказывал над колыбелью сказки.

Где дядькой звался Черномор не зря,
ведь лукоморье было частью быта,
в котором тридцать три богатыря –
то витязи, то буквы алфавита.

*Над Соколовой горой
летит на запад стая
из двенадцати белых журавлей*

Летят на запад журавли...
В любое время года
ты здесь посол своей земли,
и века, и народа.

Не знает память наша лет
и возраста не знает,
отец твой, прадед или дед
в той журавлиной стае?

Им невозможно улететь,
железным этим птицам,
грометь здесь будет в праздник медь
и слёзы будут литься.

Здесь, только здесь душой должны
мы к боли прикоснуться,
чтоб не вернувшимся с войны
дать шанс с войны вернуться.

По воле этих журавлей
воскреснут эти люди –
пусть только в памяти твоей, –
но больше войн не будет!

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Просёлок, что днями был жалок,
сегодня прекрасен во сне,
на стылой земле – полушалок,
и белая шапка на пне.

И, радуясь звёздной дрожью
снежинок, что скрыли между,
торжественному бездорожью
я дружбу свою предложу.

И наше славянское небо,
где Бога незрима печать,
молитвенник первого снега
мне будет, как в детстве, читать.

Я знаю: ему я неровня,
он чище меня и честней,
единственный в мире, кто помнит
безудержность русских саней.

Прощайте, неспешные сани,
когда и куда вы неслись?..
Простите за то, что мы сами
в гордыне от вас отреклись.

Шагаю сторонкой родною,
как будто свершая обряд,
и кажется, что за спиною
по снегу полозья скрипят.

ПОКРОВ ДЕНЬ

Осень выстудила воздух,
клёны спорят с синевою,
и с небес роняет звёзды
просинь просеки лесной.

В тишине почти блаженной,
в византийской тишине
красоту моей вселенной
в этот День Ты даришь мне –

предлагая вместо прозы
с суетою мрачных дней
край, где думы и берёзы,
чем прозрачней, тем светлей.

Где распят неумолимо
журавлиный в небе клин,
но листва неопалима
полыхающих осин.

По традиции извечной
тех, кто жил здесь до меня,
принесу домой под вечер
сполох звёздного огня.

И другой не надо платы,
были б помыслы чисты,
да подольше длилась краткость
этой кроткой красоты.

КРЕДО

И солнце всё то же, и небо всё то же,
и майские ливни всё так же свежи,
и этому миру, что нам всё дороже,
мы, кроме любви, ничего не должны.

Ещё наши радости время итожит,
и голову глупое счастье кружит,
но каждому часу, что был нами прожит,
мы, кроме любви, ничего не должны.

А солнце всё дальше по кругу, по кругу...
А осенью ночи уже холодны,
но мы, как и в юности нашей, друг другу,
помимо любви, ничего не должны.

Вот снова закат пламенеет как рана
и, как по ладони, судьбу ворожит,
но даже себе мы, как это ни странно,
помимо любви, ничего не должны.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТУДИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



**Алексей
НИКИТИН**

ДВЕ МЕДВЕДИЦЫ

Всё будет: снег и гололёд.
И будет каждому – по вере.
Я наступивший Новый год
Начну, как водится, с потери.

Уже не знаю счёта им –
Потерям разного порядка.
И станет праздником моим
На сердце свежая заплатка...

ЧЕЛОВЕК ИЗ ИНТЕРНЕТА

Проживает в мире где-то
Человек из Интернета.
То ли робот, то ли фейк,
Кофе пьёт и ест чизкейк.

Не за доллары и марки
Дарит девушкам подарки.
Лайки, классы – без души,
Хороши не хороши...

У него на каждый случай
Смайл готов цветной, живучий.
Он репостит, гуглит, жмёт –
Так вот этим и живёт.

-
- Алексей Анатольевич Никитин родился в 1978 году в городе Аткарске Саратовской области. Поэт, руководитель творческого объединения «Большая Медведица». Член Союза журналистов России с 2005 года. С 1997 года – член клуба «Литературные четверги» при Аткарской центральной библиотеке. Публиковался в журналах «Библиотека» (Москва) и «Волга–XXI век». Как создатель и ведущий газетной поэтической рубрики «Лирика Аткарска» и редактор литературно-художественного альманаха «Большая Медведица» содействует освещению культурной жизни Аткарского края. Участник городских культурных мероприятий и творческих встреч. Лауреат областного литературного конкурса «Золотые огни» (2006) в номинации «Поэзия». Живёт в селе Барановка Аткарского района Саратовской области.

Не поймёшь, листая файлы,
Эти селфи, посты, смайлы:
Близок он ли далёк,
Счастлив или одинок?

Человек из Интернета –
Что ещё за чудо света?
Ни надежды, ни мечты.
Кто он? Может, я и ты...

МЕТЕЛИЦА

Метелица, метелица
Метёт, метёт, метёт.
А девица, а девица
Любимого всё ждёт.

Всё кружит круговертица,
Дороги замело,
А девица надеется,
И ей теплым-тепло.

Приедет, не заблудится
Сердечный милый друг.
И сквозь метель всё чудится
Калитки гулкий стук.

Вот-вот войдёт непрошено,
Обнимет горячо,
Метелью запорошенный,
Заснеженный ещё.

Порошу белоснежную
С одежды отряхнёт
И руку её нежную
В своей руке сожмёт.

Но что-то нету милого,
Уж на дворе темно.
Метелица постылая
Всё ломится в окно.

Метёт, метёт метелица
Уж сутки напролёт,
А девице не верится,
Что милый не придёт...

ЗА ПИШУЩЕЙ МАШИНКОЙ

Сегодня я устал от Интернета
И в рукописях с головой увяз.
Машинка, лист бумаги, сигарета,
Набор простых и неизбитых фраз.

И буквы – как подковы на бумаге,
На снежном поле – чёрные следы.
Не так страшны ухабы и овраги,
Ведь клавиши стучат на все лады.

Как бубенец, каретки колокольчик
Обозначает окончанье строк.
Кто я такой – гонец или извозчик?
А путь мой долог или недалёк?

Компьютер? Да, удобно, несомненно,
Но мне милей знакомый перестук.
Минуты те тройне благословенны,
Здесь отпечатки как пожатые рук.

Нам дарит исключительное право
Машинки фантастический полёт.
И имя древнерусское «Любава»
Она всегда с достоинством несёт.

Бумаги лист до края переехав,
Вставляешь новый с трепетом души,
Не думая о славе и успехах.
Пути открыты. Марш вперёд! Пиши!

Тамаре Порьшиевой

Щедрый август... Погода – что надо!
И шумит по округе страда.
Родилась ты в сезон звездопадов,
Но не падай, прошу, никогда!
Август – месяц всегда урожайный.
Кто в деревне не жил – не поймёт.
Утром в поле выходят комбайны,
Мёд качает весь день пчеловод.
Гнутся яблонь тяжёлые ветки,
Будет к Спасу плодов – завались!
Даже щёчки у юной соседки
Словно яблочки вдруг налились.
И поэзия – не понарошку,
Тот же труд – от пера до сохи.
У кого – урожай на картошку,
А у нас – урожай на стихи.
Было так. И, наверное, будет

До скончания отмеренных дней.
Если Бог дал поэзию людям,
То они не расстанутся с ней.
Строки реют как вольные птицы,
Наполняя мечтания и сны.
Альманахов скупые страницы
Стали им и тяжки, и тесны.
И пусть возраст, конечно, не тайна –
Снова творчество, снова дела.
У тебя каждый год – урожайный,
Значит, осень ещё не пришла!

Небо ясное и чистое,
На ущербе лунный круг.
И фонарики лучистые
Разгоняют тьму вокруг.

Шум завода нескончаемый,
Дальний поезда гудок
Бесполезно и нечаянно
Будят сонный городок.

Стрелки за полночь оттикали,
Сны слетаются во тьме.
Полуночники – над книгами,
Дети грезят о зиме.

На пределе телевизоры –
Так длинны их вечера.
Сообщения написаны,
Значит, спать уже пора.

Под таинственные шёпоты
В зыбком мареве луны,
Позабыв дневные хлопоты,
Спит Аткарск и видит сны.

ДВЕ МЕДВЕДИЦЫ

Течёт Медведица-река
Спокойно и неторопливо.
Одеты в зелень берега
И в пойме – сенокос и нивы.
Мечтать у речки хорошо,
И лишь падёт роса ночная,
В ней отражается ковшом
С небес Медведица Большая.
Вода бежит, идут года.
Истории страницы святы.
Река и звёзды навсегда
Одной поэзией объаты.



ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРОМУ САРАТОВУ

Интервью с художником
Вадимом Руфановым

А.М.: *Вадим Николаевич, расскажите, пожалуйста, о себе. Вы профессиональный художник?*

В.Р.: Я родился и уже полвека живу в Саратове. Образование у меня техническое – окончил колледж электронной промышленности. Художник, дизайнер, мозаичист, хендмейкер, общественник... Ну, и теперь я – автор проекта, изначально получившего название «Путешествие в Саратовъ». Сейчас рамки его раздвинулись, и можно говорить о путешествии в Россию.

Всё началось с того, что я увидел открытки Петра Григорьевича Бестужева, саратовского издателя, работавшего в конце XVIII-начале XIX века. До нашего времени сохранилось всего 10–12 его работ, созданных в том самом стиле, который я использую сейчас. Иными словами, я продолжаю дело Бестужева, начатое 130 лет назад.

А.М.: *У него была именно такая продукция?*

В.Р.: У Бестужева были и фотооткрытки, и рисованные, причём «неполноцвет» в нынешнем понимании. Использовались пастельные оттенки цветов, которые художники совмещали, получая достаточно насыщенную цветовую гамму. Открытки печатались в Европе и отвечали потребностям того времени – с цветочками, вензелями. Они выходили во многих европейских городах, среди которых – Лондон, Париж, Москва, Санкт-Петербург, Одесса... И в Саратове тоже до революции были такие открытки.

А.М.: *Вы изображаете уходящую натуру? Те здания, которые невозможно сейчас уже увидеть в Саратове, – они безвозвратно ушли в прошлое?*

В.Р.: Не совсем. Первым, экспериментальным рисунком стала аптека Фридолина. Помню, что я очень трепетно отнёсся к исполнению этого рисунка, старался попасть в бестужевскую стилистику. Работал над ним около двух месяцев. Сейчас я могу практически любой объект изобразить за 1–2 дня.

Конечно, мне интересна старая архитектура – здания, которым не менее ста лет. Я использую в качестве источника фотографии тех лет, гравюры. А теперь я ищу и описания этих зда-

ний. То есть, возможно, здание не увидишь, но можно прочитать его словесный «портрет», и я пытаюсь даже реконструировать.

А.М.: *Можете привести пример такой реконструкции?*

В.Р.: Да, вот сейчас я работаю над проектом реставрации дома Саратовского купеческого собрания. Оно находилось в Доме работников искусств (в советское время известном как Дом офицеров). Сохранилось всего 2–3 изображения Купеческого собрания, но я пытаюсь изобразить интерьеры этого интереснейшего здания, объединить их общей стилистикой. Просматривая брошюры, связанные с его историей, я понимаю, что был некий бренд, и он прослеживается в литье лестниц и перил, орнаментах на потолке... И в афишах, пригласительных билетах встречаются одни и те же мотивы – в вензелях, шрифтах, в их компоновке. В них можно рассмотреть и веяния эпохи, и нюансы, присущие именно Саратову.

А.М.: *Расскажите подробнее про сам проект.*

В.Р.: Проект называется «Саратовское купеческое собрание: прошлое и настоящее». В Доме работников искусств (СОДРИ) открыта моя выставка, на которой можно увидеть изображения Купеческого собрания и близлежащих зданий, связанных с купечеством. Охватывает проект приблизительно 1905–1910-е годы.

Как пишут историки, краеведы, для разминки ума в Собрании были карты, для физической разминки – бильярд... И, помимо этого, было много интересного – комнаты отдыха, бальные залы, ресторан «Ренессанс» – один из лучших в городе, в нём работали превосходные повара. Здесь же регулярно проводились балы, танцевальные вечера. Найдено несколько фотографий, где изображено благотворительное общество «Белая ромашка», которое активно проповедовало идеи милосердия.

А.М.: *Расскажите, где проходят ваши выставки.*

В.Р.: Так получилось, что у меня одновременно проходят выставки в краеведческом музее (там меняется экспозиция примерно раз в полгода). Выставляются мои работы и в областной думе, и в Доме архитектора, и в Пушкинском библиотеке.

А.М.: *Сколько всего зданий вы нарисовали – неважно, с натуры или по описаниям?*

В.Р.: Примерно 300 зданий. И остаётся ещё очень много. Возникают тематические наборы открыток – «Театры Саратова», «Храмы», «Парк Победы», наборы, посвящённые отдельным улицам... Например, совместно с музеем краеведения мы разработали набор «Музейная площадь».

Появляется много предложений, причём неожиданных. Так, ко мне обратились сотрудники организации «Гипрониигаз». Она находится на углу проспекта Кирова и Чапаева. Посчитали, что без изображения этого здания невозможно представить центр города. Но ведь у них есть филиалы и в других городах, поэтому мне пришлось рисовать и их. Приходилось обращаться в архив, чтобы увидеть, как выглядело здание «Гипрониигаз» в 30-е годы, когда организация возникла.

Мне посоветовали не ограничиваться только Саратовом, и я, подумав, сделал «круизные» открытки. Туда входят Саратов и другие волжские города. Такой набор появился уже на разных языках, он востребован у туристов, путешествующих по Волге. Даже на китайском... Я и не знал, что по Волге плавают столько китайцев!

А.М.: *Вы работаете только в формате открытки?*

В.Р.: Да нет, не только в таком формате. Изначально я делаю постер формата А3. На открытках всё получается сжато и насыщенно. Но и на постерах

видно, что даже мельчайшие детали тщательно проработаны. Я очень люблю возиться с мелочами, стараюсь не пропустить ничего. Календари выпускаю – например, к открытию какого-нибудь здания: Музея истории России, нового ТЮЗа...

А.М.: *Кто чаще интересуется вашими открытками?*

В.Р.: Есть уже постоянные коллекционеры, которым важно собрать все до одной открытки. Туристы, конечно. Как ни удивительно, старинным Саратовом стало интересоваться молодое поколение. Несколько лет назад ко мне обратился руководитель городского молодёжного центра Егор Григорьев. Они сгенерировали идею квестовых открыток, ведь квесты – поиски чего-то по определённому алгоритму и с определённой целью – сейчас очень популярны. Нам захотелось создать квест по старинному Саратову: локация – например, улицы вокруг «Липок», проспект Кирова (Немецкая), Радищева (Никольская), Соборная... Решили использовать те открытки, которые уже были созданы на тот момент, и добавить к ним ещё несколько сюжетов. Открытки мы сделали с лицевой стороны чёрно-белыми (младшие школьники могут использовать их как раскраски), а с тыльной стороны напечатали вопросы для более старшего возраста. Задания эти построены так, что для их выполнения недостаточно просто «погуглить» в Интернете; надо оторвать свою пятую точку от стула и отправиться на эти улицы, в парки, на набережную. Есть задание – провести селфи на фоне консерватории, а согласитесь, по Интернету этого никак не сделать! Или, например, посчитать, сколько пролётов у Саратовского моста.

Изучать любимый город можно и с друзьями, и всей семьёй, и в одиночку.

А.М.: *Отличная идея для тех, кто решит углубиться в изучение Саратова!*

В.Р.: Для «Волжской волны» – большой межрегиональной книжной выставки-ярмарки, в которой я участвую уже не первый год, – была создана «Литературная карта Саратова» – схема города с культурно-литературными достопримечательностями.

А.М.: *Библиотеки, театры, кинотеатры, музеи...*

В.Р.: И, конечно, цирк! Ведь Саратов – ещё и родина первого стационарного русского цирка. Я планирую выпустить отдельный набор открыток, посвящённый Саратовскому цирку и его основателям. С нетерпением жду, когда закончится ремонт. В архиве нашёл сведения, что в Саратове было несколько цирков. Один из них купцы устраивали на льду – не в современном понимании, а в прямом смысле – ведь аренда земли стоила дорого... Такая коммерческая хитрость.

А.М.: *Интересно, как ещё ваше творчество, такое, казалось бы, отвлечённое от сегодняшней информационной суеты, находит отклик в современном мире?*

В.Р.: Не раз мне приходилось убеждаться в великой силе Интернета. Просто нельзя делать его истиной в последней инстанции, ведь на его просторах могут быть и казусы. Такой случай был в моей практике.

Несколько лет назад я работал в технике фотоколлажа, тогда занимался проектом, связанным с реставрацией мельницы в селе Лох Новобурасского района. Общался с инициативной семьёй Кислиных из этого села, обсуждали сувениры, которые можно предлагать туристам... Я сделал небольшую анимацию: как будто колесо мельницы вертится и льётся вода.

Она была растражирована на просторах Интернета. Забавно, что после распоряжения губернатора восстановить эту мельницу рабочие, не являясь профессиональными реставраторами, опирались на мой фотоколлаж,

а не использовали документацию московских разработчиков. Произошла материализация рисунка!

А.М.: *Получается, художник несёт ответственность за то, что он изображает!*

В.Р.: Да, наверное. Интересен и такой случай. Когда я занимался мозаичными работами, мы с художницей Ириной Толкачёвой вдвоём сделали выставку в Столыпинском культурном центре. К нам обратился отец Кирилл и предложил принять участие в проекте «Взгляд художника на утраченные храмы». Мы согласились и выбрали себе объекты: Ирина – церковь Благовещения в Агафоновке, а я – Ильинский храм на Ильинской площади. Мы работали примерно полгода, результатом стали иконы «Илья-пророк» и «Благовещение». И к концу своей работы узнали: Вячеславом Володиным была профинансирована реставрация двадцати саратовских храмов, в том числе и наших. Мы с Ириной переглядываемся и смеёмся: «Ну, что ещё восстанавливать будем?» Кстати, на последней книжной выставке-ярмарке я почувствовал: к старинным храмам Саратова возникла новая волна интереса.

А.М.: *Вы назвали себя не только художником, но и общественником. В чём это выражается?*

В.Р.: С недавнего времени я стал экспертом Общественной палаты по сохранению культурного наследия и развитию туризма, вошёл в Общественный совет по туризму, ведь львиная доля моих покупателей – туристы. Также в 2019 году я стал организатором фестиваля «Туристический сувенир» в нашем городе. Приезжали участники из других городов, привозили любопытную продукцию. Получился большой праздник, фестиваль проходил в Шахматном дворце, рядом с Коммерческим собранием. По этическим соображениям сам я в нём не мог участвовать в качестве художника, но в следующем планирую показать свои новые разработки.

А.М.: *Книги, альбомы не выпускаете?*

В.Р.: На выставках ко мне подходят люди, интересуются тем же – альбомами, книгами. Сейчас накопилось много графических работ, и, возможно, в ближайшее время появится такой альбом. Может быть, даже не один. Первый альбом планирую выпустить к следующей книжной выставке-ярмарке, там и презентация состоится...

А.М.: *Заодно – и к юбилею Саратова!*

В.Р.: Естественно, у нас много важных дат, значимых событий, которые я стараюсь отметить хотя бы отдельными открытками. День рождения Чернышевского, например, широко праздновался в Саратове. Мы совместно с «Почтой России» выпустили конверты, открытки ко Дню письма, и даже к Международному слёту коллекционеров!

А.М.: *Кто же побеждает в вас – художник, краевед или коммерсант?*

В.Р.: Трудно сказать. Наверное, всего понемножку. Но я участвую и в благотворительных акциях. Так, в Лысогорском районе в 2019 году уже второй раз проводился Бахметьевский фестиваль. Для него был выпущен альбом с нотами, которые не публиковались сто лет. Все песни были проиллюстрированы мною совершенно бескорыстно. Также я участвовал в благотворительном бале, организованном театром оперы и балета в поддержку онкобольных, и я отдал несколько работ в пользу строительства онкологической больницы.

Так что в одних случаях «цепляет» что-то по линии творчества, в других – сами проекты. Ведь мы живём в обществе, и всё, что в нём происходит, не может нас не задевать.

В конце года случилась трагедия с маленькой жительницей Саратова Лизой Киселёвой. Я двадцать лет не писал стихи, но тут просто крик души вырвался... Я написал небольшое стихотворение, сделал портрет этой девочки – что ещё я мог сделать как художник? – разместил его в Интернете. Меня потрясло, что на него отреагировало полтора миллиона человек – а в Саратове живёт гораздо меньше. Значит, горевала вместе со мной и значительная часть России. Так вот, после этого появилась идея сделать у источника в Октябрьском ущелье мозаичную икону, посвящённую погибшим детям – как напоминание о том, что постоянно нужно думать о детях, уделять им побольше внимания. Сюда часто приезжают молодожёны, хотелось бы, чтобы они помнили: дети – самое важное в нашей жизни. У меня есть два сына, они учатся в школе. Я постоянно думаю о них, ведь всё, что я делаю, – не только для себя, но и для них. Если они станут продолжателями моего дела – это будет самым дорогим для меня, высшей наградой.

А.М.: Огромное спасибо вам за этот важный разговор. Желая дальнейшей реализации ваших замечательных проектов!

Беседовала Анна Морковина

ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС



Борис ФЕДОТОВ
(1949–2002)

Борис Васильевич Федотов – автор скорее неизвестный, чем популярный. Два слова, которые характеризуют Федотова, – это литература и театр. В этих двух ипостасях он существовал практически до полного слияния с ними. Будучи артистом Академического ТЮЗа им. Ю. П. Киселёва, отдал родному театру всю свою жизнь, при любой возможности превращая каждую минуту в настоящий праздник. Стихи, записочки, посвящения, поздравления – отчаянную и окаянную прозу нашего существования он стремился превратить в поэзию. Дарил больше – инсценировки и пьесы с любовно сочинёнными и прописанными для коллег-актёров ролями. Две страсти – играть и писать, писать и играть – владели им нераздельно.

Посмертно друзья и коллеги издали книгу стихов Бориса Федотова. Удивительно: каждый находит в них что-то близкое себе.

Анна Морковина

РАВЕН ЖИЗНИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ...

Сжимаю пальцы я до хруста
И сердце мучаю и жгу
Калёным остриём искусства
И жить иначе не могу.

И не хочу, хотя порою
Готов в полымя с головою,
В разладе вечном я с тобою,
В согласье вечном я с собой...

Плывёт меж Сциллой и Харибдой
Кораблик мой, бумажный мой,
Разбит компас, звезды не видно,
И в море – шторма непокой...

Покой! Гармония покоя!
К тебе стремлюсь, тебя бегу,
Не знаю, что со мной такое,
Но по-другому не могу...

Без строчек пусто мне и грустно,
А с ними – мука и восторг!..
Калёным остриём искусства
Меня насквозь пронзает Бог.

Я хорохорюсь, я треплюсь,
Я от веселья надрываюсь...
Самим собой я быть боюсь,
Собой другим я упиваюсь...
Актёр я! Перемена лиц –
Моё привычное искусство,
Живу я по закону птиц,
Когда полёт – и мысль, и чувство.
Взлетать и падать! Вновь парить!
Петь песни, радоваться свету
И лёгкий миг навек продлить,
Как птицы продлевают лето!
<...>

ТЮЗ

Тут есть фантазия игры,
Когда фонарь души зажжётся,
Когда волшебные миры
Вдруг засияют ярче солнца,
Когда в неведомое вдруг
Ключ золотой откроет дверцу,
Когда тебе театр-друг
Раскроет трепетное сердце.
И вот добрее и умней,
И вот становишься ты лучше;
И птицы серых скучных дней
Летят жар-птицами над тучей.
И вот уж хочется любить,
Быть фантазёром и поэтом
И для людей на свете жить,
И превращать их зимы в лето.
В театре занавес поднят
И пахнут сказкою кулисы...
«Театр детства» для ребят –
Как Зазеркалье для Алисы.
Спешите в старый добрый дом,
Где столько тайн, добра и света!
Мы вас с надеждой доброй ждём,
Вход по любви – не по билету.

Ах, театр – души тревога!
То гроза, то тишина...
Это словно вера в Бога,
Это радости страна.

Здесь любовь и солнце светит,
ТЮЗ – цветущий детский сад!
Если рады ТЮЗу дети,
ТЮЗ тому подавно рад!

Лучше верить не в приметы,
А в театра волшебство.
Надо лишь купить билеты,
Только-только и всего!

Не спеши расстаться с детством,
Сбрось с души и хворь, и лень!
Если жить с открытым сердцем,
Равен жизни каждый день.

ВЕНЕЦ ВОСХОЖДЕНИЯ

Отстраняю себя. Отстраняю
От кухонных сует и забот...
Воспаряю над всем... Воспаряю!
Как пьянит меня этот полёт!
До небес я взлетаю... Взлетаю!
У звезды вдохновенья краду.
Сочиняю стихи, сочиняю,
Как в горячечном, пылком бреду.
Подсознание своё обостряю,
Духов ночи за крылья ловлю.
Я витаю над миром, блуждаю,
Я продлиться мгновенья молю.
Высота восхожденья крутая –
Удержаться ль на самом верху?
Или в бездну лететь, обмирая,
Многоточием кончив строку?
Обрекаю себя... Обрекаю:
На бессонных ночей кутерьму,
Облекаю себя, облекаю
В одиночество и тишину!..
Примеряю венец, примеряю,
Тороплюсь поскорее надеть...
Уверяю себя, уверяю,
Будто впору пришёлся венец..

ПОСВЯЩЕНИЕ

Моим любимым посвящая
Ночей бессонных нежный труд,
Свою любовь вам завещаю,
Стихи вам отдаю на суд...
Судите! Рад я приговору,
Какой бы ни был он... От вас
Приму любые я укоры,
Не обижаясь и не злясь.
Ведь вам обязан я стихами
И страстью к звёздам и дождям.
Моя любовь не утихает –
И этим я обязан вам!
За то, что вы меня любили,
Дарили верностью меня.
За то, что дали сердцу крылья,
А жизни – вкуса и огня.
И за прекрасное бывшее,
За настоящее! За всё!
Я посвящаю вам с любовью
Букет нечитанных стихов...

По берегу моря вдоль кромки прибоя,
Где пляж – как намокший сухарь,
Иду по безлюдью один сам с собою,
Иду, собирая янтарь.
Исполнено море величьем покоя,
Покою исполнено сердце моё.
Как чайка в просторе парит ретивое,
Как птица-синица поёт...
Ах, как хорошо мне без мыслей и цели,
Без всякой заботы бродить
И в этой солёной балтийской купели
Янтарные рифмы ловить!
Нанизывать солнца осколки на бусы,
Из воздуха замки сюжетов лепить
И первому встречному свежее чувство
Без всякой оглядки дарить!
Но ранние пляжи пустынно, однако,
У кромки прибоя ни следа пока,
И лишь одинокая бродит собака,
И ветер ей треплет живот и бока.
Эй, пёс, ну чего ты по берегу рыщешь,
У кромки прибоя чего потерял?
Давай с тобой вместе побродим, дружище,
Собакам давно я стихов не читал.
И пёс обернулся, и всхлипнуло море,
И чайка, летя, хохотнула в выси,

И было в собачьем тоскующем взоре
Одно только: «Косточку мне принеси!»
Я понял: стихи мои были до фени
И псу, и песку, и холодной воде.
Но музы настойчиво пели и пели,
Стихи, словно дети, рождались во мне...
По берегу моря бежала собака,
Пока не слизал её дальний туман.
И хвост её был восклицательным знаком,
А я вопросительным знаком стоял...

ОДИНОКИЙ МАЛЬЧИК

Где грязный маленький причальчик,
Качаясь, в лёгкой зыби спит,
С утра угрюмый, тихий мальчик,
Закинув удочку, стоит.
Сварливо чайки рыбу ищут,
По речке всякий хлам плывёт.
И с самодельным удилищем
Стоит мальчишка... Не клюёт...
Нет, не везёт ему в рыбалке,
А может, в жизни не везёт.
Он тихий, трогательный, жалкий:
На поплавок глядит и ждёт.
Как удилище, тонкий, гибкий,
Глаза как сумрачное дно...
Ему б златую вынуть рыбку –
И мне с ним вынуть заодно.
Мы с ним как будто бы братишки –
И я вот так же здесь стоял.
Я узнаю себя в мальчишке,
Я узнаю родной причал.
Моё мальчишество далёко
Уплыло с волжскою водой,
И был такой же одинокий,
С такой же детской бедой...
Я был?.. Да я сейчас такой же.
Уж мне ль ребёнка не понять?
Зачем – понять, когда, быть может,
Всего лишь за плечи обнять?



**Анастасия
МАЛЕВА**

О КОМИ ПОЭЗИИ

Зародившись в середине XIX века и положив начало художественной литературе народа, коми поэзия прошла непростой путь становления и развития. Преодолев этап революций, войн, политических репрессий, поэты обретают новое дыхание в 1960–80-е гг., на которые приходится новый подъём и расцвет коми поэзии. Произведения этих годов выходят на уровень осмысления драматического прошлого страны, поэтизации повседневной жизни человека и национального бытия, исследования и раскрытия глубинных истоков и ценностных ориентиров духовного мира народа... Поэзия тех лет склонна к произведениям объёмного, масштабного характера – поэмам, балладам, «поэтическим рассказам»; она, как правило, решает национальные и общественные – экологические, социально-экономические, морально-нравственные – проблемы своего времени.

Иные тенденции развития принимает лирика поэтов, получивших известность в 1980–90-е и далее в 2000-е годы. Интерес автора смещается с окружающего мира на внутренний, общественное уступает место глубоко личному и интимному, а вдохновение и поэтизация повседневного бытия сменяются подчас драматичными и эсхатологичными раздумьями о предназначении человека. В поисках самого себя, остро прислушиваясь к мельчайшим движениям и ощущениям души, лирический герой поэта находится в активном переосмыслении жизненных установок и ценностей предыдущего поколения. Поэзия этих годов склонна к экспериментам в области поэтической формы, при этом краткость и безрифменность стихов влечёт углубление содержательных пластов произведения, нередко создаёт в нём символический, философский подтекст – лирика приобретает содержание бытийно-интеллектуальной природы. Изредка в стихах современных поэтов сквозят несколько непривычные для национальной литературы черты импрессионизма и сюрреализма... Поэта современности всё глубже манит древнее – как историческое, так и мифическое – прошлое народа, мышление и мировосприятие предков, а потому в современной поэзии коми сильны черты мифопоэтизма.

Рубеж XX–XXI вв. ознаменован появлением в коми поэзии большого пласта женских стихов, привнесших ноту особой изящности, таинственности и мистицизма.

В настоящей подборке вниманию читателя представлены стихи коми поэтов разных поколений, лирика которых транслирует не только духовную атмосферу своего времени и эпохи, но и уникальный, этнокультурно обусловленный художественный мир авторов.

Альберт Ванеев (1933–2001) – народный поэт Республики Коми, переводчик, учёный-литературовед, заслуженный работник культуры Коми АССР – получил известность в непростые для коми литературы 1950–60-е гг., принадлежит поколению авторов, поднявших её силой своего литературного дарования на новый уровень художественного развития. Всего поэтом издано 23 стихотворных сборника, 9 из них звучат в переводах на русский язык. Альбертом Ванеевым внесён немалый вклад в развитие жанровой системы коми поэзии: он не только писал стихи, стихотворные рассказы, баллады и поэмы, но впервые в истории коми литературы создал веночек сонетов.

Поэт принадлежит тому поколению авторов, что животрепещуще отзывались на значительные и не очень события большой и малой родины, проявляли соучастие и сострадание душевной боли человека, попавшего в водоворот военных и послевоенных лет. Осмысливая непростой опыт военного детства, поэт каждый раз выходит к теме внутренних – моральных и духовных – возможностей человека, способного перешагнуть тяготы жизни и вырасти нравственно сильной и цельной личностью. Много писал Альберт Ванеев о характере коми народа, и во многом эти стихи – жемчужина коми поэзии. Писал, изучая, вглядываясь в его глубины, сформированные непростыми климатическими условиями севера. Органично целостно и в то же время в конкретных чертах и фактах им воссоздано своеобразие национального характера. Близка поэту была и тема любви, в которой он стремился к философским откровениям... Как утончённый лирик Альберт Ванеев раскрывается в стихотворениях о природе – северной, такой неприветливой, но родной. Эти стихи неизменно включают размышления о языке народа, родном селе и односельчанах, родительском доме, народной судьбе.

Наука и поэзия стали для Альберта Ванеева смыслозначимыми, взаимодополняющими друг друга сферами в жизни человека, соединившими в нераздельное целое чувствующее сердце и мыслящий разум.

В начале 2000-х гг. получает известность одна из самых женственных и чутких к формам прекрасного поэтесс в коми литературе – Елена Афанасьева. Верлибры автора зачастую подобны фотоснимку, вспышке озарения. Они метафоричны и полны символики.

Через особую любовь к миру сказки, её эстетике Елена Афанасьева привнесла в коми поэзию специфическую атмосферу красочности, изысканности, живописности. Образы автора отличаются предельная осязаемость, выпуклость, рельефность в силу их пластичности и использования средств звуко- и цветопередачи. Особое обаяние и утончённость лирике поэтессы придаёт и любовь к невесомым, хрупким, практически микроскопическим образам-деталям. Среди них – стрекоза, парящий в воздухе листочек, паутинка, стебелёк травы, размером с игольное ушко сердце бабочки...

Художественное восприятие мира Елены Афанасьевой глубоко мифопоэтично. Для автора притягателен сакрально-волшебный мир сказки: нередко стихи насыщены элементами, отсылающими к народным поверьям, фольклорным образам и сюжетам. Более того, сам мир в её стихах – оригинален в своей таинственности. Он – живой, пластичный, подвижный, постоянно реинкарнирующий: вот птица перевоплощается в реку, подруга детства, покидая земную жизнь, обращается в бабочку, а бабушка – в цветок; души забытых, утраченных народом слов переселяются в камень, а подобранный на тропинке листочек принимает форму сердца загадочной птицы..

Птица – особый и, более того, исключительный образ в творчестве Елены Афанасьевой. Он принимает различные метафорические облики в лирике автора, наполняя образ самыми разнообразными смыслами: птица – время, птица – горе и птица – радость; птица – вдохновение, птица – хранительница, берегиня живого, настоящего, священного слова. При многоликости и множественности смыслов этот образ в разных своих аспектах всегда стремится к выражению одной и той же мысли: неуловимая, живущая в густой таёжной чаще, способная пересекать пространства и времена, птица становится символом мудрости, квинтэссенцией сакральных знаний предков, к которым так желает прикоснуться автор в обретении самой себя.

Любовь Ануфриева является одним из талантливых представителей младшего поколения в коми литературе. Выпустив первый поэтический сборник в конце 2000-х гг., она вошла в ряды коми литераторов исключительно как автор верлибров, форма которых за последнее десятилетие претерпела немалые изменения, отображающие творческие поиски и эксперименты поэтессы.

Талант Любы Ануфриевой нашёл выражение тогда, когда поэзия коми всё глубже и активнее осваивала и постигала вопросы онтологической, бытийной природы. Стремление познать и «освоить» сферу иррационального, прикоснуться к непознанному, выйти за пределы бытовой и земной действительности в целом – заметная черта новейшей коми поэзии, и лирика молодого автора – яркий тому пример; её стихи отличаются, пожалуй, наибольшей мистичностью... С самых ранних стихов художественный мир поэтессы – это полное тайн и загадок междумирие. Пребывание в междумирии естественно и самобытно для героини, обладающей особым даром распознавать тонкие знаки, посылаемые с других, параллельно существующих «вселенных». Неслучайно особое внимание автора отведено воссозданию снов и мимолётных видений...

Стихи последних лет подобны короткометражному фильму: один за другим, словно по мановению волшебной палочки, сменяют друг друга ситуации из прошлого, времена и даже измерения... И это больше, чем ретроспекция. Междумирие автора находит своё выражение и в причудливом переплетении народной, фольклорно-мифологической и христианской культур: автору одинаково близок как Дедко – плетущий косы конюшенный домовый, так и Микола – Николай Чудотворец. Междумирие автора, пожалуй, и в том, что стихи не только таинственны, но зачастую противоположны: одни – светлы, энергетически невесомы, близки к божественному, другие полны мрачных, настораживающих звуков и фантомов из прошлого, позволяющих автору вновь и вновь проживать внутри себя деструктивные воспоминания, проживая же, их отпускать...

**Альберт
ВАНЕЕВ**

ПЕРЕВОД



ЛЕБЕДИНАЯ ДУДКА

Сойдёт закат на дремлющие ели,
сгустится воздух, сгладятся следы –
услышишь травы, шепчущие еле,
и тихое движение воды.

В такие просветлённые мгновенья
восходит мысль из бесконечной мглы,
и разрешает давние сомненья,
и разрезает древние узлы.

РЯБИНА

Сколько спелой рябины – на диво:
деревца разалелись до пят,
берег залит пунцовым разливом,
лес прохладным пожаром объят.

Богом щедрая осень даётся –
то-то рябчикам радости: знать,
им до самой весны не придётся
горьких почек с берёзы щипать.

В леденелую кисть на морозе
сладким соком впитается снег.
Всем достанутся звонкие гроздья –
не спеши их срывать, человек!

Сколько спелой рябины – на диво:
деревца разалелись до пят,
берег залит пунцовым разливом,
лес прохладным пожаром объят.

В Сыктывкаре мелкий дождь идёт
и не остановится, похоже.
Глянцевая асфальтовая кожа...
В Сыктывкаре мелкий дождь идёт.

Сеют-посевают небеса,
изнывают люди под зонтами.
Медленными шествуя фронтами,
сеют-посевают небеса.
Плачет отсырелая листва,
отрясая волглые ресницы.
Птицы перелётной вереницы...
Плачет отсырелая листва.
Трудно влажной моросью дышать,
созерцая серые пейзажи.
Если воздух одноцветен даже,
трудно влажной моросью дышать...
В Сыктывкаре мелкий дождь идёт,
и одна лишь радость у народа:
скоро переменится погода
и сухой морозец упадёт...

ПАРК В ДНИ ВОЙНЫ

Военной порою, известно,
до танцев нам не было дела,
и медь духового оркестра
над Сысолою не гремела.

И каждая в парке берёза,
недоумевая, глядела,
когда под ногами не роза –
картошка листвой зеленела.

А мы красоту бесполезной
и тою порой не считали,
но в парк шли за пищей телесной...
Цветами сердца расцветали.

В зырянских сёлах тюрьмы не водились –
и слова не бывало до поры.
В решётки птицы певчие не бились
крылами на потеху детворы.

Не тяготясь загубленною дичью,
живой души охотник не терзал
и вольницу изловленную птичью
забавы ради в рабстве не держал.

Заботясь о своём насущном хлебе,
приемля дичь как Божью благодать,
считали коми: место птицы – в небе,
напрасно парму грех опустошать.

Пускай и нас при всяческой невзгоде
минует часть невольничья вовек.
Жить соловьём, поющим на свободе,
и впредь желает коми человек.

ИЖЕМЦЫ

Лучшие по разуму и силе
в звёздную застуженную даль
на восток и запад уходили
океана северного вдоль.

Шли путём невыведанным самым,
лица обжигая на ветру,
следом за оленями – к саамам,
следом за оленями – в Югру.

Но и меж иными языками
собственный сумели не забыть
и, едва сойдутся с земляками,
распалятся – не остановить:

вспоминают ели вековые
над родимой Ижмою-рекой...
Ижемцы не то чтоб кочевые –
норов предприимчивый такой.

ИВАН-ЧАЙ

К зоревому цветку иван-чая
огрубелою кожей прильну,
вдохновения нового чая,
запах мёда и солнца вдохну.

Но забытые давние боли
набегают из дальней дали.
Мы его жерновами мололи,
толкачами во ступах толкли.

Хоть травкою насытить непросто
было наши голодные рты,
он детей избавлял от погоста,
отводил от последней черты.

И сегодня от светлого мая,
словно память поры горевой,
не сорву, не скошу иван-чая –
животворный цветок зоревой.

ВАЛЬС ЧАЙКОВСКОГО

В окружённой тайгой деревушке,
вдалеке от широких дорог
вальс Чайковского учит девчушка,
повторяет его назубок.

На отзывчивых клавишах пальцы,
словно беличьи лапки, легки...
В тихой музыке этого вальса
любятся северные родники.

Этот вальс ручейками струится
в лебединых озёр глубину,
где крылами красивые птицы
поутру поднимают волну,

шеи в тайных клонят разговорах,
точно в зарослях – зрительный зал...
Если не был на этих озёрах –
ты ещё красоты не видал.

В окружённой тайгой деревушке,
вдалеке от широких дорог
вальс Чайковского учит девчушка,
повторяет его назубок.

ПУСТЬ ГОВОРЯТ...

Не добавляя докторам работы,
скрываю боль в сердечной глубине.
Какие ни случатся повороты –
пусть говорят, что счастлив я вполне.

Не зная, что нагрянет и откуда,
заранее соломку не стелю.
Кому страшна малейшая простуда,
пусть говорит, что я отлично сплю.

Ожесточиться вроде бы не рано,
но детство из улыбки не ушло.
Кто за спиною сплетничает рьяно,
пусть говорит, что мне всегда тепло.

Пусть говорят – от сердца не убудет,
достанет в нём огня и добрых слов.
Душой болею о хороших людях,
поэтому я полностью здоров.

ЛЕБЕДИНАЯ ДУДКА

Памяти Прометея Чисталева

Под весенним зелёным крылом
между зорями нет промежутка,
и вливает в лесной окоём
нежный зов лебединая дудка.

Тихо внемлет шатровая ель,
разгорается свет в поднебесье.
То не просто играет свирель –
то земли материнская песня.

Песня птицы, разбуженной вновь:
что ни звук – всё о родине горней.
И вовек не иссякнет любовь
в лебедином натянутом горле.

ПРОВОДЫ

Словно боль сорок первого года
утнездилась в роду на века:
плачет мать, не стесняясь народа,
провожает на службу сынка.

Мол, ребёнок ещё, не годится –
хоть по возрасту воин вполне.
Да она и сама – молодлица,
с новобрачной иной наравне...

Приступая к суровым урокам,
что возможете, чада мои?
Не загубят ли вас ненароком,
в бесполезные бросив бои?

Тяжкий, безостановочный жернов
докатился до нашего дня.
Время смутное требует жертвы:
то Афган, то Москва, то Чечня...

Что же завтра нам свалится свыше?
Развиднеются ли времена?
Коль вожди разуменьем не вышли,
впереди – пелена, целина...

Плачьте, мамы, ещё молодые,
на два года скрепите сердца.
Пусть они возвратятся живые...
А случится – пройдут до конца.

Перевёл с коми Андрей РАСТОРГУЕВ

Елена
АФАНАСЬЕВА

КОЛОДЕЦ СВЯТОГО СЛОВА

ПТИЦА

1

Раннее утро. Уже не усну.
Птица опять прилетала к окну.
Странная птица...
Напрасно глядишь –
Ветер полёта оставила лишь.

Хлопнули крылья.
Качнулся кипрей.
С ближнего леса иль с дальних полей
Птица ко мне постучалась в окно,
Птица оставила слова зерно.

Сколько охотников слышали взмах
Крыльев её!
Но напрасно в лесах
Птицу ловили. Скажи, почему
Вновь её тянет к окну моему?

И объясни мне, откуда черты
Мне так знакомы её высоты?
Где её видела? В детстве? Во сне?
Снова она прилетает ко мне.

Кротко глядит в мой домашний покой,
Чтобы душа извелась немотой.
И, собираясь в обратный полёт,
Эхо оставит, а сердце возьмёт.

И начинаю из трав и ручьёв
Я понимать и себя, и любовь,
Друга, дорогу, звезду, холода,
Время, крылатой бываю когда...

2

Завтра проснусь – будет кругом тишина.
Выпадет утром снег на уличный шум.
Птица должна прилететь. И поспешу
Я рассмотреть следы её из окна.

Не прилетала... Только напрасно взгляд
Ищет хотя бы еле заметный след.
Сердце моё рвётся от этого «нет»
Прочь отсюда – куда-нибудь наугад.

Слышала я легенду, людей молву:
Есть среди тайных троп и крутых дорог
Путь, на котором видишь жизнь как пророк,
Старцы его назвали по-коми «ву».

Ву – это мост, ведущий через века,
Птица его скрывает размахом крыл,
Путник к нему идёт из последних сил,
Даже когда мелеет сам, как река.

Я уже никогда не стану другой.
Птицы не будет – жить без неё смогу.
Я стебелёк найду в осеннем снегу,
Былинку с тонкой, как у птицы, ногой.

В воду поставлю, с ней о «ву» разговор
Буду вести. И приоткрою окно.
Стук я услышу. Будет ещё темно.
Но, торопясь, сбегу я в пустынный двор.

Вижу, что прилетала – примяла снег!
В раму стучала, чтобы светлела мгла,
Чтобы я снова завтра её ждала.
Завтра ждала. И годы. И целый век.

3

Вглядывалась душа в лунную ночь устало,
Спать не могла –
Я надежды свои теряла.
И прилетела вдруг птица и смотрит, словно
Трепет мой видит, – и взгляд у неё бездонный.
Я лишь спросила:
– Зачем прилетаешь снова?
– Знаю, ты ищешь колодец святого слова.
– Где он, скажи? По каким отыскать приметам?
Как мне его найти? Жизни хватит на это?
– Между землёю и небом ищи – в верховьях
Речки таёжной, но только ищи любовью.
– Как мне воды набрать, чтобы душе напитаться?
– Сердцем черпни своим...
И улетела птица.

НАРЦИСС И ЭХО

Цветы рвала,
Чтоб бросить в бездну ночи –
В колодец сердца,
Чтоб в его глубинах
Любовь мою
Ты отличил от прочих
Ревнивых чувств,
От нрава и гордыни.

Тебе кричала,
Как непоправимо
Проходят дни –
Не происходит чуда...
И никогда
Не буду я с любимым,
В его объятьях
Никогда не буду.

Остались без ответа
Сон и мука,
Любовь моя
Осталась без ответа...
Бреду в веках я
Отдалённым звуком,
Сырого ветра тонким силуэтом.

Перевод Андрея ПОПОВА

Любовь АНУФРИЕВА

СОЛНЕЧНАЯ КОСЫНКА

Знал бы ты, по каким
я камням вчера пробегала
босиком до Николиной церкви,
и солнце за мной
как привязанное
до последнего не отставало,
оглянуться просило,
дышало огнём за спиной.

Отворила, вошла,
попросила приюта и крова –
у святого Николы
смирная просьба в цене.
И тогда услышала
желанное тихое слово –
словно речка лесная
волною плеснула во мне.

А когда солнцепёк
закатился в багровую прорезь,
мне приснился присевшим
на облачную скамью
в полыхающей ризе,
наверное, сам Чудотворец,
вышивающий крестиком
чистую душу мою.

ПОЛНОЛУНИЕ

Стояла у раскрытого окна –
в лицо сияла полная луна,
и я в оконной створке отражалась,
сильнее света лунного бледна.
Холодный свет мне выстудил глаза.
Закрела – проступили голоса,
и, точно ворожкой, покачнулась
рябиновая тонкая лоза.

В доме кирпичном низкий потолок
опять навис, едва его порог
переступила узким коридором
и запахнула вязаный платок.
Сдавило грудь, и страха не унять
да век отяжелевших не поднять.
Спустился лифт, и двери распахнулись,
чтобы меня, смиренную, принять...

И снова двери съехались за мной,
а кнопок на панели – ни одной.
Раскачивая, нёс на верхотуру
меня в кабине ветер ледяной.
Казалось, время вспять повернуто –
в то, что не повторится ни за что.
И вышла я в широкополой шляпе
и в долгополом давешнем пальто.

А вместо коридора стал вокзал,
где мне никто ни слова не сказал –
ни одного живого человека
он даже вдалеке не показал.
И только монотонный громкий звук –
по стыкам рельсов мерный перестук.
Бежала по широкому перрону –
да не остановить касаньем рук...

Но снова перемена в глубине –
с мужчиною в купе наедине.
Мы, кажется, знакомились когда-то –
припоминаю в светлом полусне.
Да отогрелись веки оттого,
и – потеряла из виду его.
Сумею ли опять, когда закрою,
наворожить былое колдовство?..

И снова я в заброшенном доме.
Разносится шарманка по нему.
По узкому ступаю коридору
в холодную немую полутьму,
где в комнатке убогой у окна
играет в куклы женщина одна,
похожая на маленькую змейку,
что в пуговке её заключена.

И навалился страх со всех сторон.
Зажмурилась, вернулась на перрон.
И – вот он, с кем, как дерево, хотела
корнями прорасти через бетон...

Но мы тогда уехали вдвоём
в его родной и одинокий дом,
где полонило брошенное поле
некошеным бурьяном окоём.
Казалось, в этом поле будет прав
он, даже всё иное потеряв.
А мне сухой бурьян хотелось выжечь
и вместе дожидаться новых трав.

Но дом не ждал непрошенных гостей,
а вывел на крыльцо его детей
и женщину, похожую на змейку,
в прозрачной блузке с пуговкой на ней.
Не расступились дети перед ним
и стали серым облаком одним,
а женщина молчала и глядела –
и отстранился он навстречу им.

Я той минутой долгою дотла
от пристального взгляда умерла.
И лишь её усталыми словами
с его несмелым шагом ожила:
– Тебя меж коридорами тогда
разыскивая многие года,
он в комнату мою зашёл случайно,
да нет уже обратного следа...

И вышла я к небесной синеве
и очутилась в высохшей траве –
здесь было столько воли одинокой
и гладил ветерок по голове..
Зажмурилась – и снова у окна,
и вновь полна высокая луна,
подарок ветра – тоненькую книжку
держу, от света лунного бледна.

Луна тогда шептала или ты
начитывал мне с книжной высоты?
Давай, мол, белых голубей хотя бы
оставим из утраченной мечты..
Но высохшая в недрах чердака
на вкус давно рябина не сладка –
тех голубей бледнеющие тени
не завлечёт она издалека.

СОЛНЕЧНАЯ КОСЫНКА**1**

Палящее солнце
над самую маковкой лета
напомнит о тонкой косынке
медового цвета.

Прищури́в глаза,
чтобы их не слепила волна,
присяду к порогу речному
на край валуна,
в колодец души
загляну до безмолвного дна –
осеннюю сыростью веет
её глубина.
Минувшего, словно резинкою,
стёрты следы –
единого дня не всплывёт
на поверхность воды.

В дому моей памяти
памяти наперечёт.
Слепящее солнце
открытые плечи печёт.
Тоска под тягучие стоны
скрипящих ворот
засасывает
в гибельный водоворот,
а я вырываюсь
и, точно играя в лапту,
стремительный мячик
стараюсь поймать на лету.

Когда не поймаю –
пылинкою, как не была,
хозяйка Вселенной
небрежно смахнёт со стола...

2

Словила! И память,
пронзённая вспышкой света,
опять возвращает
мгновения давнего лета:
вот мы на речном берегу
со спинойю спина,
дыша воедино,
сидим на краю валуна,
вот на сеновале
в ночную прозрачную грусть

с Ахматовой Блока
читаем с тобой наизусть,
а вот на рассвете
при свежей озёрной волне
косынкою плечи
ты ласково кутаешь мне
и ждёшь терпеливо
ответной любви...
Не спеши –
росою нетронутой
полон колодец души.

3

Но в утро иное
среди побелевшей травы
внезапно захлопали крылья
полярной совы,
и губы замкнул,
и тела неподвижные нам
оплёл как верёвкой
млечный тягучий туман.
Распутала цепкие стебли,
звала и звала –
одна тишина
неизменным ответом была...

4

Пока я на камне
стихи не устану читать,
вода молодая
не станет по нам причитать.
Однажды к речному порогу
меж каменных груд
они тебя за руку
снова ко мне приведут.
Тогда лишь на хрупкие плечи
приму, вопреки
палящему солнцу,
косынку из этой руки...

Перевёл с коми Андрей РАСТОРГУЕВ



Мария
ЗНОБИЩЕВА

«Русской литературе — быть»

13 февраля 2020 года на Всероссийском совещании молодых литераторов в подмосковных Химках состоялась презентация антологии молодёжной поэзии России «111». Её составителем выступил главный редактор Всероссийского молодёжного литературного журнала «Веретено» Игорь Голубь, поставивший своей целью объединить под одной обложкой поэтов из разных регионов России.

В антологии представлены 68 регионов России и 111 поэтических имён. Принципы отбора участников соответствуют масштабу задачи: составитель, подобно Н.В. Гоголю, приступавшему к «Мёртвым душам», стремился «показать хотя с одного боку всю Русь». Души, найденные Игорем Голубем, отнюдь не мертвы, о чём свидетельствует их живая поэтическая перекличка, неравнодушие к стране и миру, в границах которого они существуют.

Как отмечает составитель, *«возраст и уровень владения словом у авторов, безусловно, разный, в этом была ещё одна задача проекта — показать, насколько наша огромная страна сложна как литературный организм, насколько разнотипна и разнородна».*

На страницах антологии достойно представлены подборки авторов, успевших, несмотря на молодость, заявить о себе уверенно и громко. Стихи Константина Комарова (Екатеринбург), Карины Сейдаметовой, Ивана Александровского, Григория Шувалова и Василия Попова (Москва), Романа Круглова (Санкт-Петербург), Александра Рухлова (Курган), Оксаны Ралковой (Челябинск), Елизаветы Мартьяновой (Саратов), Елены Жамбаловой (Улан-Удэ) и ряда других замечательных поэтов объединены чувством времени, ощущением периферийности поэтического пространства, внутренней изоляции и стремлением к её преодолению.

Пронзительной и острой новизной мироощущения отзываются поэтические открытия Ксении Аксёновой (Липецк) и Василия Нацентова (Воронеж), из усталой густоты

философского молчания рождаются находки Вячеслава Иванова (Смоленск) и Ильи Виноградова (Мурманск). Каждое поэтическое высказывание становится личной мерой откровенности, превращаясь в полифоническое созвучие судеб.

Составитель антологии считает личным открытием стихотворения Тихона Синицына (Севастополь), Михаила Куимова (Пермь), Оксаны Горошкиной (Красноярск), Чермена Дудаева (Владикавказ) и Александра Кудрявцева (Омск).

Перечислять имена — не дело рецензента. Важнее поблагодарить составителя антологии за самую возможность окунуть единым взглядом столь мощный пласт русского поэтического пространства. Важнее отметить вектор поиска: проложить тропу от Запада к Востоку страны, расслышать — почти вслепую, наугад — голоса, к которым прислушиваются в разных уголках России, — и это задача титаническая.

Предчувствую вопросы о критериях отбора, количественном и качественном неравенстве «региональных представительств» (Омская область — 7, Тверская область — 1, и так далее). Поэтому хочу напомнить, что Антология «111» — пилотный проект, который может и должен получить достойное продолжение уже не за личный счёт её составителя.

Перспективой работы с молодыми видится активное вовлечение новых авторов в современный литературный процесс, создание среды для полноценного творческого общения и профессиональной реализации. Именно этим на всероссийском уровне вместе с единомышленниками успешно занимается на протяжении трёх лет Андрей Тимофеев.

Антология Игоря Голубя — важная часть мощного объединяющего процесса, происходящего в современном писательском сообществе. Общий художественный уровень издания и его географический охват не оставляют сомнений в одном: русской литературе — быть и длиться!

Елизавета
МАРТЫНОВА

Время альманахов

На Третьем всероссийском совещании молодых литераторов в подмосковных Химках (9 февраля 2020 года) его участники дарили друг другу множество журналов, сборников, авторских книг. Все они достойны отдельных обзоров и рецензий, но я обратила внимание на то, что впечатление о литературном процессе в регионах создаётся прежде всего при помощи выпуска альманахов.

Альманах – издание универсальное (с диапазоном от сборника до толстого литературного журнала) и в целом показывает уровень профессионализма писателей, создавших его и опубликованных в нём.

Видимо, настало время альманахов. Во-первых, такое издание может достойно представить региональную литературу, местных авторов. Во-вторых, при желании пригласить к себе в номер «гостей» из других регионов, чтобы расширить представление читателей о современном литературном процессе (и этим он выгодно отличается от сборников литературных объединений). В-третьих, статус альманаха предполагает возможность выпускать издание от случая к случаю и формировать номера, исходя из ситуации, допустим, тематические (посвящённые юбилею Победы в Великой Отечественной войне, Году театра).

«Тамбовский альманах» (2019, № 18) – прекрасное издание для семейного чтения. И сделан он профессионально (под эгидой Тамбовского отделения Союза писателей России, главный редактор – Юрий Мещеряков), с традиционными рубриками: «Поэзия», «Проза», «Юбилей», «Имена», «Год театра», «Фестиваль» (стихи, присланные на конкурс имени Майи Румянцевой).

Основой литературно-художественного альманаха стала проза, разнообразная и разножанровая: повесть Андрея Кружнова «Маленькие собаки тоже любят Бога» – полуфантазийная, лирическая и философская; доверительный рассказ Валерия Аршанского «Мой брат – конференсье», точно передающий признаки эпохи

прошлого века; трогательно-женская проза Валентины Дорожкиной «Володька был однолюбом»; подборка произведений Михаила Гришина – юмористических, современных, парадоксальных.

Всё это «истории из жизни», художественно правдивые, их хочется читать, а героям сочувствовать.

Поразительный трагический рассказ Виктора Герасина «Чёрный омут» в рубрике «Имена» оставляет послевкусие печали. И я для себя это имя запомнила.

Поэзия представлена произведениями авторов разных поколений, из разных городов, и её диапазон тоже широк – от традиционных, следующих классической традиции, до тех, в которых находится место эксперименту. Это стихи Валентины Дорожкиной в рубрике «Юбилей», молодых тамбовских поэтов Александры Николаевой и Майки Луневской, подборки на конкурс – произведения Эммы Меньшиковой, Светланы Пешковой и других.

Статьи и интервью номера посвящены Году театра. Сергей Левандовский рассказывает о состоянии тамбовского театрального искусства. Григорий Кружнов пишет о судьбе местной драматургии – её истории, театрах, местных драматургах – и о личном опыте актёра и создателя пьес. Получился разговор о развитии театрального искусства не только Тамбова, но и всей России, что очень важно.

В целом альманах оказался очень насыщенным, читабельным, современным изданием для людей разных поколений.

Иное издание «Тобол» (№ 2019, выпущен при содействии правительства Курганской области, главный редактор – Владимир Филимонов) – альманах литературно-публицистический. Соответственно, публицистика в нём преобладает. Номер открывается статьёй Александра Рухлова о Леониде Губанове. Написана она так любовно-пристально, как может написать только поэт о поэте. Перед нами творческая биография поэта, созданная человеком, не только разбирающимся в том, что

представляют стихи Губанова с филологической точки зрения, но и понимающим ситуацию «изнутри», а это вдвойне ценно. Статья выглядит как единое повествование, захватывающим рассказом о гении, носителе национального характера, национальном поэте.

Публикация стихов Анны Ревякиной (Донецк) свидетельствует о пристальном внимании редакции к ярким явлениям в современном литературном процессе, так же, как и публикация подборки известного русского поэта Владимира Скифа.

Сами имена говорят о том, что «Тобол» выходит на уровень всероссийского журнала.

Прозы в номере немного, но она действительно очень поэтична, как и написано в предисловии к альманаху. «Проза... Не подходит это слово для нынешних авторов. Скорее – это поэзия, написанная не в столбик, а по горизонтали. «Рождественский свет» Леонида Иванова повествует о человеческом участии, помощи старикам, о трудном жизненном пути бывшего сидельца, обретшего точку опоры в этом мире. О людях. О них же – о незадачливом печнике – рассказывает Алексей Мурзин. Лёгкое и романтическое эссе Владимира Кривоногова дополняет картину, в которой так не хватало чего-то необычного и неожиданного» («Слово редактора»).

Публицистика, краеведческие статьи, рецензии на новые книги сибиряков, критические статьи о произведениях местных авторов – всего этого тоже в достатке. И любой заинтересованный историей края читатель может получить представление о литературе Сибири.

Традицию издания альманахов продолжает и наш город: в феврале 2020 года вышел в свет альманах «Литературный Саратов», специальный выпуск, посвящённый литературным объединениям Саратовской области. Идея создания такого спецвыпуска была продиктована тем, что в последнее время «в литературный процесс региона активно включились участники литературных студий области».

В предисловии к альманаху Алексей Александрович Бусс, член Союза писателей России и руководитель литературной студии «Голоса поколений», обосновывает необходимость выхода подобных изданий так: «...современное литературное объединение – это, в большинстве случаев, разновозрастное, а часто и возрастное сообщество. Прошли времена, когда литературный кружок объединял лишь молодых, делающих первые шаги не только в жизни, но и в соб-

ственной судьбе людей. В некогда самой читающей стране после эпохи межвременья, загнавшей литературу на задворки общественной жизни, у старших поколений появился особый, трудноутолимый голод по книжному слову, который, естественно, и стал восполняться самостоятельным творчеством. Но младшее поколение с его вечной тягой к новизне, к эксперименту никуда не делось, оно есть, оно пишет и нуждается в помощи не менее, чем молодёжь, скажем, 1970–1980-х годов».

Арифметика такая: в области 50 литературных объединений и более тысячи участников (если верить аннотации). В номере же – 18 литературных объединений и 124 автора с подборками стихов и прозы. На то, чтобы издать произведения тысячи участников, средств, видимо, пока не хватает, но всё ещё впереди.

«Какие-то авторы, безусловно, достойны публикации в любом «толстом» литературном журнале страны, для других подборка стихов или рассказ в «Литературном Саратове» – своеобразный аванс на будущее, признание таланта при несовершенном ещё писательском инструментарии, технических огрехах, которые – мы в этом уверены! – будут вскоре преодолены, а во-вторых, с лихвой компенсируются искренностью, влюблённостью в малую родину, честным и чистым желанием служить тому, что всегда было главным для русской литературы – правде».

Ну вот, теперь, кажется, всё предельно ясно: 124 талантливых автора в запасе у саратовской литературы уже точно есть, и это радует.

Что касается авторов, достойных публикации в толстом журнале (и, видимо, тоже талантливых), то их я нашла. Во-первых, потому что они уже печатались в журнале «Волга–XXI век» и в других саратовских изданиях: Гульсара Туктарова, Ольга Жогло, Александра Жадан, Александр Зрячкин, Григорий Большунов, Галина Перекальская, Ирина Китова. Во-вторых, потому что обнаружила на страницах альманаха подборку одарённой молодой поэтессы, студентки второго курса Института филологии и журналистики СГУ им. Н. Г. Чернышевского Вероники Барановой. Приведу одно её стихотворение.

Как бы нити в руках у судьбы ни вились,
Даже птицы всегда возвращаются вниз –
И, не смея законов житья отрицать,
На последнем витке временного кольца
После сотен полётов и скольких-то лет
Жмутся грудью истрёпанной к тёплой
земле,

Чтобы в эти объятия навеки врасти...
Но под светом луны есть иные пути.
Птицы, небом больные, встречаются
здесь,
Чей уют — это мороси мёрзлая взвесь,
Чей покой — это ветров ночных голоса,
Чья последняя радость — обнять небеса.
Не для неба ли воздух от песни дрожит,
Не для неба ли вдруг зарождается жизнь
По весне в полусне и незрячей возне?
Больно думать, что нет. Страшно верить,
что нет!
И поэтому — выше, навстречу ему!
Небо любит, иначе — скажи, почему
Так не хочет из снов этот свет исчезать,
Ставший первым в открытых когда-то
глазах?
Небо любит, иначе — зачем так зовёт
Снова — в каждый, и громче —
в последний полёт?
Небо близко, ты крылья расправь —
и прижмись...
Только птицы всегда возвращаются вниз.
Да, быть может, и стоит сменить навсегда

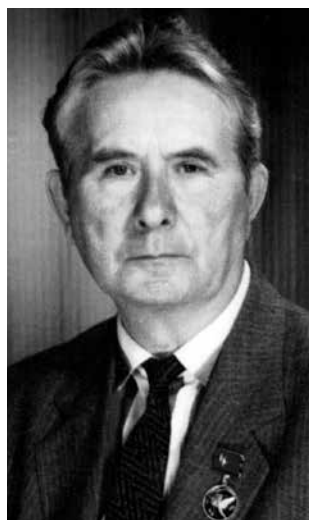
Призрак цели — на честную серость
гнезда,
Ложь надежды — на правду пустее
кости...
Если встретишь в пути — умоляю, прости
Птицу, небом больную, за всю её боль,
Нитям спряденным виться, как выются,
позволь —
Но невидимых тихих крылатых моли
Подарить ей объятия раньше земли.

Подборка Вероники Барановой сильно выделяется на общем фоне тех, кто отсутствие техники компенсирует искренностью, ну и другими вещами. Собственно, речь не о технике, речь о поэзии. И если в альманахе есть одарённые молодые авторы и ряд состоявшихся и печатавшихся в толстых журналах, то можно сказать, что и альманах тоже состоялся.

Остаётся добавить, что альманах издан к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина при финансовой поддержке правительства Саратовской области.



**Владимир
РОССОШАНСКИЙ**



УЧАЩИЕСЯ ТЕХНИКУМА

*К учению я относился серьёзно.
Не гнался за хорошими отметками в дневнике,
а просто хотел знать как можно больше,
научиться всему как можно быстрее.*

Ю. А. Гагарин

Саратовский индустриальный техникум. Он известен не только тем, что здесь учился Первый космонавт мира. Биография техникума тесно связана с историей нашей страны, с её важными событиями.

После отмены крепостного права Россия быстро встаёт на путь промышленного развития. Требуются квалифицированные рабочие. 30 августа 1871 года в Саратове открывается Александровское ремесленное училище – одно из первых учебных заведений для детей рабочих, крестьян и солдат. Обучали там в основном токарному, слесарному, литейному и кузнечному делу.

В начале нового века были открыты химическое, электротехническое, оптическое и сельскохозяйственное отделения.

В стенах этого учебного заведения учились многие замечательные люди. Среди них – Александр Николаевич Заулошнов, один из активных участников восстания на броненосце «Потёмкин» в 1905 году; Пётр Павлович Виноградов – один из руководителей восстания кронштадтских матросов и минёров в 1906 году; Андрей Николаевич Златогорский – первый секретарь партийной организации РСДРП(б) на легендарном крейсере «Аврора», участник штурма Зимнего дворца, делегат Второго съезда Советов, член ВЦИК; Иван Павлович Бардин – академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной и Ленинской премий, член-корреспондент многих академий мира, крупный учёный в области чёрной металлургии.

-
- Владимир Иванович Россошанский родился в 1935 году в с. Красный Яр Старополтавского района Сталинградской области. Директор Народного музея Ю. А. Гагарина с 1966 по 2003 гг., писатель и общественный деятель, заслуженный работник культуры РФ, автор книг «Наш Гагарин» и «Феномен Гагарина», а также ряда статей и брошюр о Первом космонавте, особенно о саратовском периоде его жизни. Член ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС). Умер в 2003 году в Саратове.

После Октябрьской революции Александровское ремесленное училище переименовывается в Советское ремесленное училище. Есть сведения, что во время гражданской войны его посещал М. В. Фрунзе – там располагались курсы красных командиров. В 1920 году на Совете обороны В. И. Ленин ставил вопрос о подготовке железнодорожных кадров в Александровском училище. В том же году на базе училища открывается профтехшкола имени А. В. Луначарского. В период коллективизации в здании нашего учебного заведения готовили руководителей тракторных бригад. В 1940 году было открыто ремесленное училище № 2 металлостроителей.

В те годы учился Юлий Петрович Чепурин – драматург, лауреат Государственной премии, автор 25 пьес, одна из которых, «Сталинградцы», была написана в окопах города-героя. Есть сведения, что, являясь учащимся школы № 3 города Саратова, будущий писатель Константин Михайлович Симонов проходил производственную практику в наших мастерских.

5 января 1945 года на базе ремесленного училища был основан индустриальный техникум. Ещё не закончилась Великая Отечественная война, ещё воевали с фашистами будущие учащиеся техникума, а страна уже заботилась о кадрах. Саратовский индустриальный техникум начал готовить мастеров производственного обучения по трём специальностям: техников-технологов по холодной обработке металлов резанием, техников-механиков по монтажу и ремонту промышленного оборудования и техников-литейщиков по производству чёрных металлов.

Коллектив преподавателей и мастеров производственного обучения сформировался быстро. Одни из них перешли из ремесленного училища № 2, другие – из разных учебных заведений. Если учесть, что создавалось новое учебное заведение, была послевоенная жажда знаний и созидательной работы, то можно понять настроение всего молодого коллектива.

Тон деловой атмосферы и творческого подхода к учебно-воспитательной работе задавал директор Сергей Яковлевич Батышев, Герой Советского Союза. К сожалению, он мало поработал в техникуме: в начале 1947 года его пригласили на работу в Министерство трудовых резервов на должность начальника Управления учебных заведений.



Юрий Гагарин – учащийся техникума. 1951 год



Юрий Гагарин (третий слева) с товарищами по учёбе. Первая фотография, сделанная в Саратове. 1951 год

Новый директор – Александр Максимович Коваль – стал достойным преемником С. Я. Батышева: энергичный, деловой, творческий. О нём вспоминают как о человеке высококультурном, эрудированном, интеллигентном, спокойном. Александр Максимович вникал во всё, одинаково хорошо разбирался в учебных делах, в работе производственных мастерских, хозяйственной части, бухгалтерии, библиотеки. В нём прекрасно сочетались качества хозяйственника и педагога.

Под его руководством техникум добился значительных успехов: всё более совершенствовалась материально-техническая база – кабинеты, лаборатории, мастерские, общежитие; повысились успеваемость и дисциплина; улучшились наглядность и идейная направленность в обучении, политико-воспитательной работе. А. М. Коваль сумел организовать работу членов коллектива на основе широкого проявления ими личной инициативы и самостоятельности.

В техникум кандидат технических наук А. М. Коваль пришёл из института механизации сельского хозяйства. Он был увлечён наукой. После шести лет работы в техникуме, в 1953 году, Коваль перешёл в сельскохозяйственный институт, где ему предоставили кафедру и должность доцента.

Его сменил Сергей Иванович Родионов – заместитель директора по учебной работе авиационного техникума.

Таким образом, Ю. А. Гагарину пришлось учиться при двух директорах.

Классным руководителем в группе, где обучался Гагарин, была Анна Павловна Акулова – преподаватель математики. В техникум она пришла работать в 1945 году и сразу же зарекомендовала себя требовательным и добросовестным педагогом.



*Гагарин на экзамене по математике.
Справа А. П. Акулова. 1952 год*

Анна Павловна вспоминает: «Группа была хорошей. Ребята старались как можно лучше освоить новый материал. Но математика не всем давалась легко. Приходилось заниматься дополнительно, слабым помогали знающие товарищи. На первом курсе плохи были дела с математикой у учащегося Котова. Потом смотрю: он начинает отвечать увереннее, исправлять двойки. «Молодец», – говорю. А ребята поясняют: «Это Юра помогает ему. Садится сам за уроки и Котова сажает рядом. Юра сделает задание и переключает»

ется на Котова, объясняет, спрашивает». Подопечный Гагарина стал успевать по математике. Сам Юра никогда не говорил, что помогает ребятам. Он считал это обычным делом».

По окончании техникума многие ребята поступали в высшие учебные заведения. Ставя отличную оценку на вступительном экзамене по математике в саратовских вузах, члены приёмной комиссии спрашивали абитуриента:

- Кто учил вас математике?
- Акулова Анна Павловна.
- Всё ясно. Чувствуется её «рука»...

«Литературу преподавала нам Нина Васильевна Рузанова. Внимательный, заботливый педагог, влюблённый в свой предмет», – писал Ю. А. Гагарин. Да, Рузанова была ветераном техникума, оставила заметный след в его деятельности. Кроме прекрасных уроков по литературе она вела драматический кружок на общественных началах, ставила с ребятами даже классические пьесы.

Как относился Гагарин к учёбе? Послушаем свидетельства его друзей и близких.

Евгений Дербенков:

– Юра всё схватывал на лету. Идёт контрольная, он едва вопросы переписал – уже сдаёт тетрадь. Готово!

Павел Дешин:

– Иногда во время игры на спортплощадке Юра вдруг останавливался и говорил: «Стоп! Пора за уроки братья».

Анна Тимофеевна Гагарина:

– Пока всё-всё на дом заданное не выполнит, спать не ложится.

Александр Петушков:

– Самым сильным в учёбе был у нас Гагарин. Тимофей Чугунов тоже выделялся прочными знаниями. Мне часто приходилось к ним обращаться за помощью. Бывало так: Тимофей объясняет – мало чего понимаю, Юра объяснит – сразу становится ясно. С ним интересно было заниматься.

Виктор Порохня:

– Юра вставал в пять часов утра, делал зарядку, а потом садился за стол дежурного и готовил домашнее задание. Однажды мы всей группой ходили в театр. С нами была и классный руководитель Анна Павловна Акулова. Она у нас преподавала математику. После спектакля, возвратясь в общежитие, мы решили, что на завтра математику можно не готовить, ведь Анна Павловна была вместе с нами... На следующий день на уроке математики Акулова стала вызывать нас к доске и спрашивать выполнение домашнего задания. Это было для нас полной неожиданностью. За учебники никто не брался. Естественно, посыпались двойки. Последним к доске вызвали Гагарина.



*Группа А-11 готовит уроки в общежитии.
Третий слева – Юрий Гагарин*

Ну, думаем, и Юра влип!.. Но не тут-то было. Он спокойно взял мел и подробно вывел формулы. Юра получил «отлично», а нам стало ясно, что он серьёзно, по-настоящему, невзирая ни на какие отвлекающие мероприятия, готовился к занятиям.

Поступая учиться в наш техникум, Юрий Гагарин в заявлении на имя директора написал: «Прошу Вас зачислить меня в вверенный Вам техникум, так как я желаю повысить свои знания в области литейного производства и принести как можно больше пользы Родине. Все требования, предъявленные ко мне, обязуюсь выполнять честно и беспрекословно».

Литейное дело преподавал Юрий Фёдорович Кузьмин – опытный инженер и практик. Он прошёл хорошую трудовую школу, работая в 30-е годы на азовских заводах. Гагарин глубоко уважал Юрия Фёдоровича за мастерство, профессионализм, душевную щедрость.

Юрий Алексеевич говорил, что ему везло на хороших преподавателей. С этим нельзя не согласиться.

Это были разные по возрасту и характеру люди, но одно объединяло их: влюблённость в своё дело, незаурядные педагогические способности. И ещё их отличали строгость и принципиальность. Вот почему высокие оценки, полученные Гагариным на экзаменах и зачётах, приобретали особую весомость.

В техникуме систематически выступали с лекциями учёные Саратова и других городов. Много лекций и бесед было посвящено литейному производству, его усовершенствованию. Юрий Гагарин и его товарищи по учёбе были в курсе новинок в литейном деле. Иногда, как свидетельствует выпускник техникума А. А. Вологин, лекции превращались в диспуты. Выступая на них, Юрий Гагарин говорил:

– Рассматривать нашу учёбу, будущую профессию в отрыве от нашей мечты нельзя. Это надо по-нашему, литейному соединить в один сплав. Он бывает крепче однородных металлов. Человечество стоит на пороге полётов к звёздам. Стране потребуются такие металлы, такие сплавы, которые позволят осуществить эту мечту.

Производственную практику Юра Гагарин на первых двух курсах проходил в литейной мастерской техникума. Литейщики отливали колонки, тумбы, шкивы, коробки подач, столы. Технологи обрабатывали литьё, а механики собирали сверлильный станок типа 2118–А. Станки, выпускаемые в техникуме, пользовались большим спросом на предприятиях. Областная газета «Коммунист» не раз сообщала об этом.

Практика на втором курсе проходила с особой ответственностью. 5 октября 1952 года в Москве открывался XIX съезд ВКП(б), который должен был рассмотреть и утвердить новый план развития народного хозяйства СССР на 1951–1955 годы. По всей стране принимались социалистические обязательства навстречу съезду партии.

Последнюю практику в литейной мастерской техникума группа, в которой был Гагарин, проходила в марте-мае 1953 года. Она началась успешно, но вскоре работы пришлось приостановить: 26 марта 1953 года по Саратову прошёл сильный ураган, причинивший значительный ущерб многим зданиям города, в том числе общежитию, учебному корпусу и особенно литейному цеху техникума. Пришлось всю практику посвятить восстановлению «литейки».

На третьем курсе производственная практика проходила на передовых заводах Саратова. Учащиеся-практиканты только на промышленных пред-

приятнях могли значительно повысить свою квалификацию, перенять передовые методы труда, увидеть новую технику. Привлекали в заводской практике и смена обстановки, новые практические познания, возможность заработать деньги.

Один из товарищей Гагарина рассказал о таком случае, связанном с деньгами:

– Мы, литейщики, чаще других учащихся ходили в кино, театры, покупали себе кое-что из одежды. Деньги водились. И иногда мы этим бравировали. Так, утром в трамвае протягивали кондуктору «сотенную». А ей, понятное дело, сдачу давать нечем – рабочий день только начался. На нет суда нет: едем бесплатно... А однажды кондуктор нисколько не растерялась, забрала купюру и сдала мелочью! Мы возмутились: куда её девать! А женщина смеётся: «На рубли переплавите». Узнала, что мы – литейщики. Но это, как говорится, частный случай. Деньгами не сорили, знали им цену.

Техникум Юрий Гагарин закончил на «отлично». Кстати, из пятнадцати его одноклассников шесть получили дипломы с отличием.

Настрой учиться не ради оценок, а ради знаний Ю. А. Гагарин пронёс через всю свою короткую, но яркую жизнь. Обучаясь в академии, Юрий Алексеевич не полагался на свою знаменитость, мол, преподаватели простят ему незнание, учтут его занятость административными и общественными делами. Он продолжал учиться так же упорно, как и прежде.

Жена космонавта, Валентина Ивановна, вспоминает: «Из-за работы, из-за общественных дел, которых было невпроворот, Юра часто пропускал занятия в академии, и, чтобы наверстать упущенное, ему приходилось засиживаться за полночь. Он был, на зависть многим, трудолюбив и упорен. Если какая-нибудь задача не давалась с налёта, мог биться над ней часами. Отдохнёт минутку-другую – карандаш в руки и опять за стол».

Академию имени И. Е. Жуковского Гагарин окончил с отличием.

Журналистка Т. Копылова рассказала об одной интересной встрече Ю. А. Гагарина с пионерами. После того как Юрий Алексеевич пожелал им хорошей учёбы, один мальчик спросил его:

– Математика – это я понимаю, нужна... Химия, физика, ну, спорт... А вот скажите, литература?.. Только ответьте честно.

Первый космонавт, не задумываясь, сказал:

– Обещаю отвечать честно! Литература необходима. Не-об-хо-ди-ма! Вот представь себе: ты первый человек, поднявшийся в космос, прилетевший на Луну, опустившийся в неведомые морские глубины. Ты увидел, ощутил, почувствовал то, что ещё никто на Земле, никто до тебя не видал, не ощущал, не чувствовал. Ты – разведчик. И, разведав что-то новое, ты должен передать на землю как можно точнее свои переживания, эмоции, впечатления. Должен предостеречь от ошибок тех, кто последует за тобой, успокоить их сомнения. А у тебя и слов точных, ясных, определённых не найдётся. Откуда же словам быть, коли литературу ты не учил, книжек не читал, на сочинения смотрел как на нудные занятия?

И ещё. Обращаясь к пионерам, Ю. А. Гагарин писал: «Помните, друзья, путь в космос для каждого из нас начинается здесь, на Земле. Он пролегал через хорошие сочинения по литературе, через отличную контрольную по математике, через длинные химические формулы и физические лабораторные работы. Он, этот полёт, начинается на ваших спортивных площадках, в ваших слесарных и столярных мастерских, в полях, где вы помогаете взрослым... Самая большая победа придёт только к тому, кто умеет одерживать над собой самые маленькие, незаметные для других победы».

КУРСАНТ АЭРОКЛУБА

Я счастлив, что свой путь в космос начал с Саратовского аэроклуба.

Ю. Гагарин

Преподаватель Саратовского аэроклуба В. П. Каштанов вспоминает: «Обыкновенно мы перед набором сами ходили по заводам, техникумам, школам, рассказывали о профессии лётчика, о задачах аэроклуба. Правда, как раз тогдашний директор индустриального техникума Сергей Иванович Родионов был против того, чтоб у него выпускников переманивали, путь нам был туда затруднён, так что приезжие ребята могли действительно ничего не знать».

В сентябре 1954 года С. И. Родионов ушёл в отпуск на 48 дней. Исполнять обязанности директора стал его заместитель по учебной части Вадим Георгиевич Филиппов. Он разрешил ребятам совмещать учёбу в техникуме и аэроклубе. Но предупредил:

– Учите, если появятся тройки в учёбе, вам придётся забыть аэроклуб. Сергей Иванович этого не потерпит.

И ребята быстро занялись оформлением документов. В личном деле Ю. А. Гагарина сохранилась его расписка начальнику отдела кадров техникума, датированная 13 сентября 1954 года, в том, что он получил свидетельство о рождении для снятия копии.

Классный руководитель Анна Павловна спросила:

– А родители ваши знают об этом? Обязательно напишите.

Друзья написали заявление в аэроклуб с просьбой зачислить их курсантами на лётное отделение. Там сказали: надо пройти медицинскую комиссию.

Председателем медицинской комиссии была Паршина Таисия Афанасьевна. Вот что она рассказала:

– Я обратила внимание на тот факт, что Гагарин был в оккупации. Попросила терапевта Тамару Яковлевну Зайдель – она сейчас работает в первой городской больнице, кстати, училась вместе с будущим космонавтом Лазаревым – проверить ещё раз нервную систему Гагарина. Всё было в порядке. Потом ребят вращали на центрифуге. После этого испытания Гагарин вышел настолько бодрым, что удивил медиков. У него был отличный вестибулярный аппарат.

Вскоре состоялась мандатная комиссия по приёму в аэроклуб. Все документы соответствовали требованиям, и 26 октября 1954 года был издан приказ за № 82 по Саратовскому аэроклубу о зачислении курсантами нескольких учащихся техникума, в том числе Гагарина, Порохни, Шестина.

Интересное совпадение, каких немало было в жизни Ю. А. Гагарина: в тот же день, 26 октября 1954 года, в областной газете «Коммунист» была опубликована статья «Космический полёт». В ней сообщалось, в частности: «Недавно Академией Наук СССР была учреждена золотая медаль имени Константина Эдуардовича Циолковского, которая будет присуждаться за выдающиеся работы советских учёных в области межпланетных сообщений. Этот факт – одно из свидетельств большого значения, которое придаётся в нашей стране разработке проблем астронавтики. То, что ещё в столь недалёком прошлом рассматривалось как чистая фантазия, становится всё прочнее и прочнее на почву реального. В этом – большая заслуга выдающегося деятеля науки К. Э. Циолковского.

...Научная разработка вопросов межпланетных путешествий всё больше привлекает к себе внимание нашей общественности. Созданная при Центральном аэроклубе СССР имени В.П. Чкалова секция астронавтики объединяет много энтузиастов – учёных и студентов, людей самых различных профессий и возрастов. Задача секции – содействовать осуществлению межпланетных полётов в мирных целях.

...Принципиально нет никаких физиологических препятствий для вылета человека в межпланетное пространство».

Дух захватывало от этих слов. Если раньше желающие покорить Вселенную думали, что до полёта в космос ещё далеко, то, читая подобные сообщения, беспокоились: как бы не опоздать! И посыпались письма в Академию Наук СССР с просьбой послать их авторов в космический полёт – ради советской науки.

Начались занятия в аэроклубе. Лётная программа оказалась насыщенной: за короткий период надо было не только изучить самолёт и все прикладные науки, но и научиться летать. Юрий Алексеевич позже писал: «Приходилось работать в две тяги...»

Из воспоминаний В. С. Порохни: «Потянулись трудные дни. С утра мы занимались в техникуме, потом бежали на спортивные тренировки, а вечером – в аэроклуб. В это же время нам предстояло выполнить курсовые проекты. Над их чертежами мы иногда засиживались до трёх-четырёх часов утра. Что и говорить, нагрузка у нас тогда была большая».

Н. И. Тезиков, товарищ Юры по группе, рассказывал: «Бывало, придёт усталый, но радостный.

– Подождите, – говорит, – я вас ещё повезу на Луну».

Гагарин написал родителям. В ответ получил письмо с материнской просьбой: «Сынок, смотри не разбейся».

Вскоре после начала занятий в аэроклубе состоялось первое ознакомительное собрание с курсантами нового набора. Собрание открыл начальник аэроклуба Герой Советского Союза Г.К. Денисенко. Это был молодой, но боевой лётчик. Воевать начал в конце 1943 года, за полтора года совершил около 200 боевых вылетов. В Саратовском аэроклубе работать начал с января 1954 года. Для него это был первый набор.

О чём говорил он притихшим курсантам, с восхищением глядевшим на его боевые награды? Об авиации, лётчиках, о прекрасной и сложной профессии. Представил ребятам преподавателей и других работников аэроклуба.

– Оценки «тройка» в авиации не существует, – сказал начальник аэроклуба. – Учиться будем летать на новой учебной машине «Як-18». Мы только что её получили.

Согласно учебному плану курсанты зимой изучают теорию, а практика по самолётовождению – летом. Занятия будут проводиться три раза в неделю.

Из воспоминаний Б. В. Монастырского: «Я знакомил курсантов с устройством самолёта «Як-18», на котором им предстояло подняться в воздух. Встречались курсанты, относившиеся к моему предмету пренебрежительно. Наше, мол, дело – управлять машиной, а что касается материальной части – на то есть техник. Гагарина – и здесь я ни на йоту не погрешу против истины – отличали исключительная добросовестность и обстоятельность.

Когда я перечислял марки стали и других материалов, из которых изготовлен самолёт, Юрий непременно интересовался запасом их прочности. Он не оставлял невыясненным ни одного вопроса и аккуратно вёл конспект».

Из воспоминаний В. П. Каштанова: «Я не помню случая, чтобы Гагарин пропустил занятие. Правда, иногда мне казалось, что он меня не слушает.

Смотрит отстранённо, вроде бы думая о своём. Но ни разу я не застал его врасплох.»

Занятия шли своим чередом. Курсанты изучали материальную часть самолёта и другие прикладные науки. Мечта стать лётчиком воплощалась в жизнь. Но...

Согласно учебному плану техникума Гагарин, Порохня и Стешин должны были покинуть Саратов на три с лишним месяца для прохождения преддипломной и педагогической практики. В Саратове пройти её было нельзя, так как отсутствовало ремесленное училище с литейным обучением.

Что делать? Ведь они практически пропускают больше половины теоретических занятий в аэроклубе.

21 декабря 1954 года Юра Гагарин и Женя Стешин выехали в Москву, а Виктор Порохня – в Днепропетровск, на родину. У Юры в Москве были родственники – брат отца, Савелий Иванович, который работал на заводе имени Войкова. Он и устроил туда племянника.

Уезжая в Москву, Юра Гагарин взял с собой «Пособие лётчику по эксплуатации и технике пилотирования самолёта «Як-18» с двигателем «М-11ФР». Он не хотел отставать от курсантов аэроклуба и решил самостоятельно освоить этот предмет.

Педагогическую практику ребята проходили в Ленинграде, в ремесленных училищах и на заводах. В город на Неве приехали Гагарин, Порохня, Петрунин, Стешин, Шикин, Ермолаев и другие учащиеся из их группы. Юра попал в ремесленное училище № 52 (ныне № 24), жил в общежитии на Большом проспекте, дом № 37.

В училище сохранился приказ от 14 февраля 1955 года: «...Зачислить на педагогическую практику мастером группы формовщиков студента Саратовского индустриального техникума Гагарина Ю. А. Поставить на питание с 14 февраля по 30 марта». В это же училище был принят и Фёдор Петрунин.

За период практики они должны были в качестве мастеров производственного обучения проводить практические занятия с учащимися группы формовщиков-литейщиков на базовом заводе «Вулкан», который изготавливал чесальные машины и славился передовыми методами литья, позволяющими значительно экономить металл.

В октябре 1981 года я попал в Ленинград, на курсы повышения квалификации работников профтехобразования. Не преминул зайти в училище, где проходили педпрактику Юра Гагарин и Фёдор Петрунин. Сомневался, что найду тех людей, которые работали с ними. Но мне повезло.

Встретился со старшим мастером Александром Дмитриевичем Макаровым – руководителем педпрактики Гагарина и Петрунина, Иваном Петровичем Григорьевым – бывшим преподавателем физвоспитания, Софьей Матвеевной Фиш – библиотекарем.

– Как же, хорошо помню и Гагарина, и Петрунина, – рассказывал А. Д. Макаров. – Оба мне понравились. Даже предложил им остаться работать у нас мастерами. Гагарин сразу сказал, что после окончания техникума, возможно, уйдёт в авиацию.

Гагарин сумел найти подход к ребятам, даже «трудным», завоевать авторитет. А это не каждому мастеру под силу. Делали с ребятами ручную и машинную формовку. Отличную оценку я им поставил и дал хорошие отзывы о педпрактике. Вот на Гагарина сохранился... правда, черновик.

В выпускной характеристике Гагарина указывалось, что он получил хороший отзыв о ленинградской педпрактике, но в личном деле его не оказалось. И вот я держу его в руках.

«На период педагогической практики учащийся Гагарин Ю. А. был назначен приказом по училищу на группу № 1«а» – формовщиков первого года обучения.

Группа проходила производственную практику на базовом заводе «Вулкан» в цехе № 3.

За период педагогической практики учащийся Гагарин Ю. А. показал себя с положительной стороны: дисциплинированный, технически и педагогически грамотно возглавлял учебно-производственный процесс группы.

Активное участие принимал в воспитательной работе группы.

Пользовался авторитетом среди учащихся.

Учащийся Гагарин Ю. А. педагогическую практику провёл на «отлично».

Теперь в личном деле Юрия Алексеевича Гагарина, хранящемся в техникуме, имеется и этот недостающий документ.

– Шустрый, компанейский, аккуратный, деловитый – таким я помню Юрия Гагарина того периода, – **рассказал И. П. Григорьев.** – На третий день после приезда Гагарина я вёл занятия с его группой по баскетболу. В спортзал вошёл Юрий, а я уже знал, что он практикант и это его группа. Он попросил разрешения поприсутствовать, а потом и поиграть в баскетбол. Я с недоверием посмотрел на него – уж больно маленького роста – и спросил: «Играешь?» – «Немножко». Тут же надел кеды и стал играть. И как играть! Я только потом узнал, что он имел первый разряд по баскетболу. Вот тебе и малыш! Говорю своим питомцам: «Вот так надо играть!» Один ленинградский журналист после беседы со мной и с Людмилой Александровной, тоже преподавателем физвоспитания, написал в газете, что «Гагарин в училище поставил спортивную работу на научную основу». Не знаю, насколько это соответствует действительности, но что он играл здорово, могу подтвердить. Весёлый, общительный, культурный был парень.

Софья Матвеевна Фиш вспомнила, что Гагарин увлеклся чтением, помогал ей провести читательскую конференцию, выступил перед учащимися с докладом о Циолковском – из Саратова привёз.

В конце марта 1955 года Юрий Гагарин с друзьями возвратился в Саратов. Ребята с горечью узнали: они отчислены из аэроклуба за неявку на занятия в течение трёх месяцев. Печально, но ничего не поделаешь... Так уж и ничего?

Гагарин решил не сдаваться. Он стал, что называется, обивать пороги аэроклуба, встретился с Сафроновым и попросил помочь.

– Я говорю ему, – вспоминал Сергей Иванович, – сынок, принеси-ка мне свою зачётную книжку из техникума. Приносит. Я листаю её, а там все пятёрки. Иду к начальнику аэроклуба Григорию Кирилловичу Денисенко. Говорю ему: «Давай восстановим этого парня. Из него толковый лётчик выйдет». И он восстановил Гагарина курсантом аэроклуба.

ЗА ГОД ДО ПОЛЁТА В КОСМОС

*Гагарин – явление.
Я бы сказал – предзнаменование, качественное
и типичное выражение советской молодёжи.*

**Николай Каманин,
Герой Советского Союза**

В 1839 году русский журнал «Иллюстрация» поместил рисунок Луны и следующую подпись под ним: «Мы видим вечно только одну сторону Луны и никогда не увидим другой».

4 октября 1959 советская автоматическая станция «Луна-3» стартовала к Луне и сфотографировала её обратную, невидимую сторону, а затем передала эти снимки на Землю.

Человек увидел обратную поверхность Луны – нашей ближайшей соседки по космосу!

Заговорили о полёте человека в космос, к Луне, Марсу.

В это время Ю. А. Гагарин служил на Севере, в морской авиации, выполнял необходимые полёты, занимался спортом и нянчил годовалую дочку Лену.

Выдающиеся победы советской науки взволновали многих молодых людей. В редакции газет и журналов, в Академию Наук СССР полетели письма-заявления, в которых содержались просьбы отправить в космос. В литературе о Первом космонавте приводится даже рапорт старшего лейтенанта Ю. А. Гагарина командиру части.

Учёные уже тогда думали о кандидатах для будущего космического полёта. В лётных полках отбирали желающих и способных заняться подготовкой к штурму космоса.

Когда в лётную часть, где служил Юрий Алексеевич, прибыл представитель медицинской комиссии для отбора кандидатов на первый космический полёт, командование представило ему рапорт лётчика-истребителя Ю. А. Гагарина.



*М. И. Максимов инструктирует будущих космонавтов.
1960 год*

Пройдя многочисленные комиссии, Юрий Алексеевич попадает в Первый отряд космонавтов и приступает к сложнейшим тренировкам и испытаниям по программе первого космического полёта ракеты с человеком на борту.

Вскоре после создания отряда космонавтов было принято решение: дать кандидатам в космический полёт солидную парашютную подготовку – на уровне инструктора этого вида спорта. Знали, что лётчики имеют 2–3 прыжка, не более (Гагарин прыгал четырежды: в Саратовском аэроклубе, в лётном училище и два раза – на Севере).

Этому виду подготовки в космос уделили большое внимание по трём основным причинам: первая – проверить личный состав отряда космонавтов на способность преодолевать психологический барьер; вторая – выработать смелость, хладнокровие, выдержку; и третья – главная – подготовить космонавта к катапультированию из кабины корабля при аварийных ситуациях и при спуске на землю из космоса.

Как известно, космические корабли «Восток» были рассчитаны на возможность приземления космонавта в кабине, но в целях его безопасности было отдано предпочтение катапультированию на высоте семи километров от поверхности земли. Где и как приземлится космонавт – не менее важно, чем его старт и полёт в корабле.

Космонавтов перебазировали из Москвы под Саратов, на левобережье Волги, где они и приступили к парашютной подготовке под руководством заслуженного мастера спорта СССР, неоднократного рекордсмена мира, испытателя первых катапульт полковника Н. К. Никитина.

В части, где они квартировались и проходили парашютную подготовку, их знали как парашютно-десантную группу. Сюда они прилетели 13 апреля 1960 года, за год до полёта Ю. А. Гагарина в космос. На следующий день начались практические занятия.

Командир войсковой части представил молодым офицерам инструктора наземной парашютной подготовки капитана М. И. Максимова. Это был опытный парашютист: количество его прыжков уже приближалось к цифре 600. В его лице полковник Н. К. Никитин получил замечательного специалиста для своих подопечных.

Вначале М. И. Максимов скептически отнёсся к молодым лётчикам. Он тогда не знал, что перед ним специально отобранные люди, с высокими физическими и моральными качествами.

В нашем музее есть документальный фильм, повествующий о Ю. А. Гагарине. Там есть кадр, в котором **Михаил Ильич Максимов рассказывает** о первой встрече с молодыми лётчиками парашютно-десантной группы:

– В первый день занятий я объяснил им устройство и укладку парашюта.



*Юрий Гагарин
во время парашютной подготовки. 1960 год*

Парашют был новый, они ещё не знали его устройства. Минут через двадцать ко мне подходит старший лейтенант Гагарин и просит самостоятельно уложить парашют на завтрашний прыжок. Следом за ним подходит ещё один: «Старший лейтенант Леонов. Разрешите и мне самостоятельно уложить парашют». Тогда я рассердился: только что объяснил, а они уже всё поняли! Позвал укладчика и сказал ему, чтобы он «погонял» этих двух храбрецов, а если не справятся с укладкой парашюта, то назавтра отстранить их от прыжков. Через несколько минут он приходит и докладывает, что парашюты они уложили правильно.

После этого случая Максимов изменил отношение к молодым лейтенантам.

У Михаила Ильича был фотоаппарат, иногда он снимал своих подопечных. Для истории сохранилось 15 фотоснимков парашютной подготовки Первого отряда космонавтов. Запечатлены, например, моменты прыжка Ю. А. Гагарина с тренажёра.

На одной из встреч с нашими учащимися Михаил Ильич подарил эти фотографии с дарственной надписью. Потом он показал фотографию Ю. А. Гагарина с его надписью: «Максу – «Ноги!».

– Макс – это краткий вариант моей фамилии, – улыбаясь, пояснил Михаил Ильич. – Не Максимов, а Макс, так дружески они называли меня. А «Ноги» – это команда, которую знают все парашютисты. Когда молодой неопытный парашютист идёт на приземление и неправильно держит ноги, то ему кричишь: «Ноги, ноги!» Вот они и запомнили эту команду: «Ноги, ноги!». Юрий Алексеевич так и написал на своей фотокарточке: «Максу – «Ноги!»

Последний раз я виделся с Михаилом Ильичом Максимовым незадолго до его смерти. Мы присутствовали на собрании областного общества охраны памятников истории и культуры. Тогда меня наградили значком Всероссийского общества. Михаил Ильич пошутил:

– А тебя-то за что? Я хоть космонавтов тренировал...

Я в тон ему заметил:

– Выходит, и мы что-то делаем... У вас столько значков, медалей, орденов – вешать некуда.



*Первый отряд советских космонавтов
на саратовской земле. 1960 год*

– Нашёл бы... А если серьёзно: сделать такой музей, собрать богатейшие материалы о Гагарине – дело нешуточное. У меня тоже вот много интересного скопилось, а выставлять негде. Наверное, внуку оставляю...

Я не осмелился тогда попросить его передать материалы о Гагарине в наш музей, а теперь жалею об этом. Но есть фотография с автографом Первого космонавта, а это уже немало.

В один из выходных дней, вероятно, 1 Мая, космонавты посетили Саратов. С ними был руководитель группы космонавтов Е. Карпов, а гидом по праву стал Гагарин. Он знал все достопримечательные места и охотно показывал их друзьям.

С набережной Волги поднялись в центр города, побродили в парке «Липки», постояли у памятника Н. Г. Чернышевскому... Все отправились гулять по городу, а Юрий Алексеевич пошёл в техникум. Он находился неподалёку, на хорошо знакомой улице Сакко и Ванцетти, 15. Но в техникуме никого не было. Вахтёр сказала:

– Приходи вечером. Танцы будут. Может, кого и увидишь...

Зашёл в общежитие с надеждой увидеть Г. Г. Соколова, но его там не оказалось. Хотел сходить к С. И. Сафронову, но не знал его домашнего адреса. Решил поехать к Виктору Калашникову – товарищу по аэроклубу. Он был дома. Говорили об авиации, семьях, работе. Вспомнили Мартьянова.

– Оставил он аэроклуб, – сказал Виктор. – Уехал в Куйбышев. Сейчас работает лётчиком-испытателем.

– Он тогда ещё мечтал поработать по-настоящему, – вспомнил Юра.

Гагарин расспросил о товарищах по аэроклубу.

Калашников предложил ему остаться ночевать, но Гагарин отказался, мотивируя тем, что ему ещё надо зайти в техникум, а потом успеть в часть.

В техникуме был вечер отдыха. В актовом зале танцевала и веселилась молодёжь. Как обычно, на такие вечера выделяется дежурная группа учащихся и несколько преподавателей. В этот вечер присутствовали заместитель директора по культурно-воспитательной работе В. И. Абрамочкин и преподаватели В. Г. Холодный и Н. А. Бренько.

Из воспоминаний В. И. Абрамочкина.

– Я сидел в педкабинете. Заходит дежурный учащийся в сопровождении старшего лейтенанта. Дежурный говорит, что этот офицер – выпускник нашего техникума, просит разрешения пройти в литейную мастерскую. Я знал, что там работают литейщики и с ними есть старшие товарищи. Спрашиваю военного: «А кого вы знаете?» Он немного подумал и говорит: «Карпова Владимира Николаевича. Он у нас мастером был». «Он там, – говорю, – пройдите». И он ушёл с дежурным. Если бы я знал!..

...Из педкабинета Юрий Алексеевич Гагарин направился во двор, в литейную мастерскую. Всё-таки тянуло его литейное дело! Недаром он потом говорил: «Хотя я не стал техником-литейщиком, могу сказать с уверенностью, что знания, полученные во время учения, и профессиональные навыки мне пригодились в жизни. Но главное – я научился работать в коллективе и жить с товарищами общими интересами».

На вечеру он встретил Василия Григорьевича Холодного и Надежду Антоновну Бренько. Они узнали друг друга (прошло только неполных пять лет со дня выпуска), тепло поздоровались. Преподаватели засыпали вопросами: где служишь, чем занимаешься, как семья?.. Юрий Алексеевич коротко рассказал им о себе.

– Летаю. Сейчас в командировке. Вот к вам зашёл, а тут веселье, – улыбнулся Гагарин.

– Ты тоже можешь повеселиться, – улынулась в ответ Надежда Антоновна. – Наверно, не забыл, как сами здесь отплясывали?!

– Этого, наверно, никогда не забудешь, – полувесело-полугрустно сказал Гагарин. – За предложение – спасибо. Стар я уже с девушками танцевать. У меня уж дочь растёт...

– Ну, не записывай себя в старики, – засмеялась Бренько.

– Я не записываю, Надежда Антоновна. Мне бы в литейную заглянуть... Пройдите, товарищ Гагарин, – сказал Холодный, – там вторая смена работает.

В литейной мастерской Юрий Алексеевич увидел ребят, окруживших вагранку с раскалённым металлом. Плавка ещё не шла, но все с нетерпением ждали этого яркого мига – заливки её в формы. Расплавленный металл вырывается из вагранки и струёй устремляется в литейную форму, с шипением и брызгами растекаясь по углублённым местам. И пар! Он поднимается вверх и пропадает где-то под стеклянной крышей.

Гагарин это помнит – не раз видел разливку расплавленного металла. Как бы хотел сейчас принять участие в этом древнем и знакомом процессе. Взглянул на часы и понял: времени в обрез.

Гагарин подошёл к группе литейщиков, увидел старших товарищей, поздоровался с ними. Карпов, сняв защитные очки, взглянул на гостя и радостно закричал:

– Юрка! Гагарин! Какими судьбами!

Они обнялись как старые друзья. Они действительно хорошо знали друг друга по общей работе в этой вот литейной мастерской.

Там находились заместитель директора по производственному обучению С. Н. Романцов, А. И. Ракчеев и К. П. Турецков. Через год они вспомнят эту встречу и с радостью будут обсуждать её.

Кто-то спросил:

– Ну, и кем ты теперь, Юра?

– Лётчик-испытатель...

– У-у!.. – восторженно протянул Ракчеев. – Здорово!..

– Нравится?

– Нравится, – улыбнулся Юрий Алексеевич.

– Понятно... – с оттенком упрёка сказал Анатолий Иванович. – Сменил наш горячий цех на лётную службу.

– У нас тоже бывает ох как жарко! – парировал Гагарин. Огляделся вокруг и неожиданно спросил:

– Владимир Николаевич, а земля всё та же?

Он имел в виду формовочную землю.

– Всё та же, – подтвердил Карпов и шепнул Гагарину: – Надо бы ради встречи... да вот плавку ждём...

– Спасибо, Владимир Николаевич. Я тоже на режиме.

Ещё немного поговорили, и Юрий Алексеевич ушёл на пристань.

Перед легендарным полётом он посетил техникум, как посещают родной дом перед ответственным и опасным делом.

НАШ ГАГАРИН!

Город Саратов я по праву могу считать своей второй родиной, городом моей юности.

Ю. Гагарин

26 марта 1961 года в Саратовском доме культуры трудовых резервов проходило очередное занятие вечернего университета культуры молодого мастера, который посещали учащиеся индустриального техникума – будущие мастера производственного обучения. Тема занятия была: «Человек покоряет космос». Лекцию читал преподаватель техникума Н.И. Москвин.

Такие лекции воспринимались с живейшим интересом: последние успешные запуски космических ракет с животными на борту волновали воображение людей и, естественно, у многих возникал вопрос: «Когда же полетит человек в космос?»

Николай Иванович Москвин был одним из лучших специалистов по вопросам космоса в Саратове. Лекция вызвала большой интерес у учащихся не только своей актуальностью, но и тем, что её читал старейший физик техникума, прекрасный педагог.

Неожиданно разгорелся спор: кто первым полетит в космос – учёный, врач, лётчик, инженер? Пока доказывали, кому отдать приоритет в этом будущем полёте, кто-то в шутку крикнул: «Индустрик!» Все дружно рассмеялись. Потом об этой шутке забыли и, наверное, больше бы и не вспомнили о ней, если бы...

В Первом отряде космонавтов готовились к штурму в космос два «индустрика»: Ю.А. Гагарин – выпускник Саратовского индустриального техникума, и П.Р. Попович – выпускник Магнитогорского индустриального техникума. Оба – из системы трудовых резервов.

Утром 12 апреля 1961 года в актовом зале техникума проходила конференция на тему: «Новые достижения в химии». В президиуме сидели директор техникума С.И. Родионов, преподаватель химии А.Н. Дзякович и несколько ребят-докладчиков. В зале было около трёхсот учащихся, преподавателей. В радиорубке находился учащийся третьего курса Саша Гусинцев – радист на общественных началах.

Конференция уже близилась к завершению, последний докладчик рассказывал о перспективах развития химии в Саратовской области. Саша Гусинцев уже собирался «смаывать удочки». И вдруг марш по радио неожиданно прервался, и раздался взволнованный голос диктора Ю.Б. Левитана: «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаём сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека в космическое пространство...»

Радист тут же включил радиосеть в актовом зале и выглянул в смотровое



*Старший лейтенант
Ю.А. Гагарин. 1961 год*

окно. Что там творилось, трудно описать: все поднялись с мест, полетели вверх конспекты, книги, крики «ура!», аплодисменты. Вдруг Гусинцев заметил, как в его сторону директор грозит пальцем: мол, что ты делаешь, идёт важная конференция, а ты...

– Дорогие товарищи! – сказал своим зычным голосом Сергей Иванович. – Давайте поздравим наших учёных с замечательной победой и пожелаем счастливого полёта Гагарину Юрию Алексеевичу!

Его слова были восприняты ещё восторженней, чем прежде.

– Продолжим конференцию.

Родионов сел, повернув голову к докладчику. Тот начал говорить о развитии химии в Саратовской области. Вдруг встает Н. И. Москвин – он сидел в актовом зале – и, обращаясь к директору, говорит:

– Сергей Иванович, а у нас учился Гагарин Юра! Вот отчества не помню. Может, этот наш?

Зал притих. Родионов встал, хотел, как обычно, отчитать за нарушение порядка, но не посмел: старику шёл 86-й год. Понятно – возраст. И, стараясь смягчить негодование, сказал:

– Дорогой Николай Иванович. Мы Гагарина выпустили недавно, а этот – майор. – И, обращаясь ко всем, строго произнёс: – Товарищи, не мешайте проводить конференцию!

В зале продолжали «слушать» доклад о химии. Возникла странная ситуация: с трибуны об одном говорят, в зале – о другом.

В дверь заглянула секретарь директора Н. И. Виноградова.

Вид у неё был несколько растерянный.

– Ну, что случилось такое?.. – спросил Родионов.

– Москва на проводе. Срочно требуют вас к телефону.

Сергей Иванович взял телефонную трубку.

– Директор Родионов. Вас слушаю...

– Здравствуйте, товарищ директор! С вами говорят из редакции газеты «Правда». Вы уже, наверное, знаете, что это ваш Гагарин?

– Да нет, вроде бы не наш, – волнуясь, ответил Сергей Иванович. – Если бы наш...

– Ваш! Ваш! – перебил его весёлый голос. – Поздравляем вас и весь коллектив техникума с таким воспитанником!

– Спасибо!.. – растерянно сказал Родионов, не веря ещё в правдивость услышанного.

– Наш корреспондент скоро будет у вас, – уже серьёзным голосом известил работник редакции. – Предоставьте ему, пожалуйста, все имеющиеся материалы о Юрии Алексеевиче Гагарине. Имейте в виду, что право первопечатания принадлежит газете «Правда».



*Первый космонавт планеты.
12 апреля 1961 года*

Рассказывает С. И. Родионов:

– Звонков было так много, особенно от его друзей, что мы ещё задолго до официального сообщения уже уверовали: наш Гагарин. Звонили из различных редакций, просили сообщить, как учился Гагарин, чем

занимался?.. А мы, сами понимаете, ещё толком ничего не знаем. Срочно создали оргкомиссию по сбору всех фактов о Гагарине, нашли его личное дело. Стало легче отвечать на вопросы, конкретнее. Никогда ещё в жизни я не был в таком переплёте. Со всех сторон нахлынули корреспонденты, сначала местных газет, потом центральных. И всем нужны «вещественные доказательства»: документы, фотографии... Хлынул поток писем – из нашей страны, из-за рубежа. Ох, и поработали мы тогда!

А вот воспоминания других работников техникума.

Нина Тимофеевна Васильчикова – секретарь учебной части:

– В этот день я сидела в преподавательской. Вдруг звонит сестра из редакции «Заря молодёжи», она там корректором работала. Спрашивает меня:

– Нина, ты слышала, что в космосе Гагарин?

– А как же! Слышала!

– А ты знаешь, кто он?

– Кто?

– Он – ваш выпускник! Но это пока секрет, ещё нет точного подтверждения, так что до поры до времени молчи, никому ни слова.

Не могла я удержаться! Тут же пошла к Сергею Ивановичу Родионову и сказала, что Гагарин – наш бывший учащийся. Я его хорошо помню. Директор рассердился:

– Вы соображаете, что говорите?! Это же космос! Что делать там «индустрику» и как он туда попадёт?

Я сбегала домой, нашла выпускную фотографию и снова к директору.

– Вот Гагарин!

– Ну и что? Однофамилец.

Я ушла в педкабинет и почему-то уверенно стала говорить всем, что это наш Гагарин. Вскоре прибегает Виноградова и просит меня срочно прийти к директору. Прихожу. Он говорит:

– А вы правы! Наш Гагарин! Дайте фотографию хоть какую-нибудь. Уже корреспонденты звонят.

Я опять домой, нашла несколько фотографий и привезла их директору.

– Вы не беспокойтесь, мы их перефотографируем и вернём вам, – заверил меня какой-то корреспондент.

Но, увы, слова своего не сдержал...

В. Г. Филиппов, заместитель директора по учебной части:

– Я в это время был на областном совещании в Доме культуры профтехобразования и там узнал о полёте человека в космос. Что Гагарин выпускник нашего техникума, я не знал. Прихожу в техникум и сразу к директору. Он спрашивает:

– Ты помнишь выпускника Гагарина?

– А как же! Помню. Отличный малый. Я ему ещё давал разрешение на учёбу в аэроклубе.

– Почему ты? А я где был?

– Вы были в отпуске, а я оставался за вас.

Родионов помолчал, потом осторожно сказал:

– Предполагают, что этот космонавт – наш Гагарин.

Я тут же звоню в аэроклуб – уточнить «наш» или «не наш». Но телефон у них занят. Тогда я бегу туда, а они тоже ничего не знают. Пытаются

дозвониться до ЦК ДОСААФ, но безуспешно. Я вернулся в техникум и тут узнал, что Юра Гагарин – наш воспитанник!

Помню, звонили из редакции «Пионерская правда» и просили прислать фото Гагарина. Я послал ребят с фотографией на аэродром, чтобы они отдали лётчикам, улетающим в Москву.

Газета «Пионерская правда»: «Когда мы позвонили в Саратов, в техникуме шла конференция «Новое в химии». Конечно, её прервали. Все студенты и преподаватели собрались у телефона. О настойчивости Юры, вдумчивости, добром отношении к товарищам, волнуясь, говорила Анна Павловна Акулова, его классный руководитель. И о ребятах, которых отличник Юра Гагарин брал «на буксир», помогал им. Нина Васильевна Рузанова обещала найти, прислать в редакцию сочинение Юры.

– Есть ли у вас фотография Юры?

– Есть, – сказал заместитель директора Вадим Георгиевич Филиппов.

– Но как её переправить в Москву?

Студент-технолог второго курса И. Бекагиров (Бектагиров. – В.Р.) быстро переснял дорогой снимок. Его товарищ с первого курса Володя Подлесный завёл мотоцикл. Помчались на аэродром.

Но самолётов на Москву уже не было.

И тогда студент третьего курса Михаил Свиридов бегом бросился к фототелеграфу. Конечно, его пропустили без очереди.

И вот эта фотография перед вами...»



Первые часы после приземления

А.П. Акулова, классный руководитель Юрия Гагарина:

– Я была дома и уже собиралась на урок идти, как вдруг слышу сообщение ТАСС о полёте человека в космос. Сразу и не дошло, что это наш Гагарин. На столе лежала газета, и я быстро написала на ней: «Ура! Человек в космосе!» И, радостная, побежала на работу. Я любила астрономию, фантастическую литературу. Очень много читала. Незадолго до этого прочла книгу Ефремова «Туманность Андромеды». Бегу, а сама повторяю: «Гагарин, Гагарин. У нас ведь тоже учился Гагарин. Юра». Но предположить, что

это наш Гагарин, не могла. Уж очень нереально было: литейщик – и вдруг космонавт. В техникуме ещё никто не знал, что это наш Гагарин. Кто-то взял личное дело Юрия. Просто полюбопытствовать. Потом все стали говорить, что «наш Гагарин», так как сходится фамилия, имя, отчество, да и в аэроклубе учился.

Вскоре звонок из Москвы, вызывают меня. Звонили из редакции «Пионерская правда». Спрашивают меня: «Вам ещё никто не звонил? Пожалуйста, скажите, что мы первые позвонили!» Потом стали расспрашивать о Юрии Алексеевиче: как учился, чем увлекался. Ну, я им об этом рассказала. Помню, фотографию просили, у меня не оказалось, но кто-то нашёл и переслал в редакцию. Ну, а дальше кутерьма была. Уроки сорвались. Все собрались в вестибюле и на все лады обсуждали новость.

Верить – не верить. Родионов не любил шутить. И я поверила...

Когда мы, саратовцы, узнали, что Гагарин приземлился недалеко от нашего города, радости не было конца. «Случилось как в хорошем романе: моё возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолёте», – напишет потом Юрий Алексеевич.

Недалеко от места приземления Первого космонавта жена лесничего Анна Акимовна Тахтарова с шестилетней внучкой Ритой сажала в огороде картошку.

– Глянь, кто-то к нам идёт! – испуганно сказала Рита.

Анна Акимовна испугалась не меньше (человека в скафандре она, понятно, никогда не видела), схватила внучку за руку, и они побежали.

Юрий Алексеевич крикнул им:

– Я свой, русский.

Остановились, но подойти опасаются.

– Я – космонавт. Только что с корабля, – спокойно говорит Гагарин.

«С какого парохода, – подумала Тахтарова, – здесь пароходы не ходят...»

– Есть ли у вас какой-нибудь транспорт? – спрашивает Гагарин.

– Если лошадь умеешь запрягать, то пошли...

– Лошадь – тоже транспорт... Мне надо срочно позвонить.

Они направились к домику лесничего, где во дворе была телега и лошадь. В это время Гагарин увидел, что к ним бегут мужчины. Юрий Алексеевич обрадовался, представился первому (Руденко Ивану Кузьмичу, учётчику бригады трактористов):

– Космонавт Гагарин. – И подал руку.

Руденко не спешит пожать руку.

– Сейчас объявили по радио: он ещё над Африкой летит...

Юрий Алексеевич рассмеялся. Тормозной двигатель действительно включили над Африкой. За 36 минут он приземлился, преодолев спуск 8 тысяч километров.

– Техника теперь какая – космическая! Я уже здесь.

Механизаторы поняли свою оплошность и стали помогать Первому космонавту освобождаться от космических доспехов...



ПАМЯТИ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ ГЛАДЫШЕВОЙ

В марте (11.03.2020) после тяжёлой продолжительной болезни остановилось сердце Ольги Николаевны Гладышевой. В лучший мир ушла одна из самых значительных местных тружениц пера, четыре месяца не дожив до своего восьмидесятичетырёхлетия. Тяжёлую и невосполнимую утрату понесли родные и близкие этого замечательного человека, Саратовское отделение Союза писателей России, наша культура.

Ольга Гладышева родилась в 1936 году в Энгельсе, однако с двухлетнего возраста жила в Саратове. Окончила филологический факультет СГУ. Проявила себя как журналист, писатель, критик. Трудовую деятельность очень успешно начала в качестве тележурналиста в Государственной телерадиокомпании (Саратов). Но вскоре обнаружила, что рамки журналистских жанров для неё тесны – тяга к литературе художественной и интерес к ней привели юную выпускницу классического университета сначала в Приволжское книжное издательство, где она работала редактором и где её талант, доброжелательность и профессионализм пришлись как нельзя кстати и способствовали повышению качества (с точки зрения стиля и точности выражения мысли) ряда писателей Поволжья, активно творивших в те годы. И многие авторы-саратовцы благодарны ей за это. А затем О. Н. Гладышева перешла на работу в редакцию престижного «толстого» журнала «Волга».

Много лет Ольга Николаевна активно сотрудничала с Нижне-Волжской и Самарской студиями кинохроники в качестве текстовика и сценариста.

В 1967 году знания и накопленный опыт позволили ей написать ряд высокопрофессиональных рецензий, а с 1972 года она опубликовала большое количество литературно-критических статей и обзоров – как в ставшей уже родной «Волге», так и в центральных журналах и газетах. Затем написала большой очерк о работе детских парусных клубов и военно-патриотическом воспитании подростков, который позднее стал основой повести «Слушаю ветер». А немного погодя вышел её собственный сборник «Почерки» с подробным, интересным и оригинальным исследованием творческого мастерства советских прозаиков и поэтов.

Удача вдохновила писательницу, добавила ей смелости – и вскоре она опубликовала в журнале «Волга» свой роман

«Праздник с дождями», позднее вышедший отдельной книгой. В 1979 году О. Н. Гладышева стала членом Союза писателей СССР. Затем вышли её книги «Жертв и разрушений нет», «Десятая планета», «Оползень», «Соблазн», «Крест», «Ночь».

Кроме «Волги» печаталась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», в «Литературной России» и других периодических изданиях.

Затем увлеклась историческими темами – и в соавторстве с мужем (писателем Борисом Дедюхиным) выпустила книгу «Юрий II Всеволодович», а после – роман «Иван II Красный». А последней их совместной крупной работой был роман «Граф Воронцов-Дашков».

Одними из первых в Саратове они с Дедюхиным обратились к темам православия. Их связывали дружеские отношения со знаменитым Пименом (Хмелевским) – архиепископом Саратовским и Вольским, часто бывавшим в их доме в Хвалынске. Стремление к строгому анализу художественных текстов коллег, как и обращение к православию для Ольги Николаевны были вовсе не данью «моде» и далеко не случайными. Её отец – выпускник духовной семинарии, позже окончивший два факультета СГУ, профессор. Дочь профессора, Ольга Николаевна и сама воспитала профессора – её сын Андрей Владимирович Гладышев стал учёным.

В 2002 году О. Н. Гладышева стала лауреатом Алексеевской литературной премии (Саратов).

Вечная память и благодарность покинувшему нас хорошему писателю и замечательному человеку!

Скорбим и выражаем глубокое и искреннее соболезнование родным и близким Ольги Николаевны Гладышевой.

Редакция журнала «Волга–XXI век»



*Вадим Руфанов.
Саратовский цирк*

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Художник – Вадим Руфанов.

Подписано в печать 27 апреля 2020 года.

Дата выхода в свет 30 апреля 2020 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 41/27040

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Соборная, 42.

Тел. (факс): (845-2) 28-63-49.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2020.

© «Волга–XXI век», 2020.

РАБОТЫ ХУДОЖНИКА ВАДИМА РУФАНОВА



Церковь «Утоли моя печали»



Театр Очкина



Вадим Руфанов. Дом Кошкиной (Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина)

